

М. В.
АВДЕЕВ

ТАМАРИН



Михаил Васильевич Авдеев

Тамарин

«Весной 184* года я возвратился благополучно в свое родовое Редькино, которое, по домашним обстоятельствам, ездил перезакладывать в Московский опекунский совет. Вечером за самоваром, который был подан часом позже обыкновенного, потому что моя Марья Ивановна рассматривала и примеривала чепцы да уборы, привезенные мной с Кузнецкого моста, я наслаждался семейным счастьем. В саду перед окнами мои четверо мальчишек пересматривали и рвали книжки с картинками, отнимали у сестры куклы, кричали и возились, несмотря на присутствие двух нянек, которые сидели в пяти шагах. Я, куря трубку, любовался ими, допивал третий стакан чаю, пускал колечки из дыму и слушал жену, которая, отобрав от меня нужные сведения о моей московской жизни, рассказывала свои домашние распоряжения, вновь открытые ею мошенничества по имению, меры исправления и, наконец, жизни и приключения наших соседей. Перебрав по косточкам старых знакомых, очередь дошла до новых; я стал внимательнее...»

Содержание

Предисловие автора	0006
Варенька (Рассказ Ивана Васильевича)	0012
I	0012
II	0015
III	0027
IV	0039
V	0049
VI	0058
VII	0067
VIII	0085
IX	0104
X	0116
XI	0137
XII	0148
Тетрадь из записок Тамарина	0167
Иванов	0327
I	0327
II	0342
III	0355
IV	0370
V	0380
VI	0398
VII	0413
VIII	0431
IX	0446

X	0459
XI	0472
XII	0495

**Михаил Васильевич Авдеев
Тамарин**

Предисловие автора

Настоящий роман был напечатан отдельными повестями в «Современнике» 1849, 1850 и 1851 годов. Это раздробление имело свои неудобства: общая идея романа и развитие и изменение характеров, представляясь по частям, не были вполне ясны и не производили цельного впечатления. Издавая ныне этот роман вполне, я считаю нужным сказать несколько слов о цели, с которой он был задуман, и моем взгляде на ее исполнение. Автор разбора сочинений Пушкина (в «Отечественных записках») заметил, что Онегин и Печорин составляют один тип и что характер Печорина есть тот же характер Онегина, изменившийся при последовательном развитии. Это замечание, по моему мнению весьма справедливое, дало мне мысль проследить дальнейшее развитие типа героев своего времени, имевшего еще и в нашем своих представителей. Вот цель, с которой я задумал Тамирина. Характер этот, породивший столько разнородных толков, требует объяснения. Поэтому я обращаюсь к его первообразам.

Евгений Онегин был верный список молодых людей, героев тогдашнего времени, список, сделанный рукой гениального художника, каков был Пушкин. Успех его был огромен, как успех превосходного литературного произведения, но он не имел влияния на действительную жизнь – он не произвел Онегинных или подражателей Онегина в обществе, да и не мог этого сделать, потому что Онегины были и без того, потому что пушкинский Онегин был не оригинал, а только художественно верный портрет действительности. Не таков был Печорин.

Лермонтов в предисловии к своему роману говорит про Печорина: «Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Так задумал Печорина Лермонтов, но, создавая его, он увлекся своим героем и поставил его в... поэтическом полусвете, который... придал ему ложную грандиозность. Критика и позднее здоровомыслящее поколение поняли эту ошибку и свели Печорина с пьедестала, на который поставил его автор; но иначе поняло его большинство его современников. Слепленное яр-

ким эффектом красок и искусной драпировкой героя, это большинство увлеклось им и, вместо того чтобы увидеть в нем образец своих недостатков... стало ему подражать. От этого, в противоположность Онегину Пушкина, который был портретом с действительных Онегиных, Печорин Лермонтова сделался оригиналом, породивших Печориных в обществе. И не близорукая бездарность составляла (теперь уже можно говорить в прошедшем) этот класс действительных Печориных. Люди с умом сильным, с душой, жаждущей деятельности, но не умевшие найти полезного и благородного приложения этой деятельности, увлеклись печоринством. Оно было по ним; оно успокаивало их неутомимое самолюбие, давало пищу их бессильной энергии: оно помогало им обманывать самих себя. С этих-то действительных Печориных писан мой Тамарин — тип замечательный и интересный, имевший свое блистательное время, когда и сам он, и другие верили в его искренность, и доживший в наших глазах до полного и горького разочарования. Описать то и другое, показать обществу и человеку, как они добро-

душно обманывались, и показать разоблачение этого обмана – вот в чем была моя задача; вот отчего упрек в сходстве с Печоринным первым повестям этого романа. Но гораздо менее справедлив другой высказанный мне упрек, что я увлекся моим героем и описывал его с любовью, которой он не заслуживает. Нет, я не увлекся им, потому что разоблачил его из того ложного наряда, в который он эффектно драпировался; я показал ложь этой драпировки ему самому и тем, которые простодушно верили ей, но я описывал его с любовью, как люблю всех добрых лиц моих рассказов. Я не сатирик, который смотрит на все с исключительной точки зрения насмешки, и не оптимист, который видит во всем одну хорошую сторону, я заблуждаюсь там, где постановка лица вводит в заблуждение его окружающих, и разуверяюсь там, где яркий свет обличает в их глазах обман ложной обстановки. Я не ставлю перед читателем сразу моих героев, так как они есть, но показываю их так, как они кажутся. Может быть, от этого мои действующие лица теряют голую и холодную верность своей натуре, но они выигрывают в

живости, теплоте и искренности описания. Я, может быть, ошибаюсь, но это мой личный взгляд.

С этой точки зрения странно было требовать, чтобы простодушный (и как рассказчик, не вполне выдержавший свой характер) Иван Васильич и деревенская девочка Варенька не заблудились в ошибочном понимании Тамарина. Еще было бы страннее, если бы я и самого Тамарина заставил в своих же записках смеяться над собою и рассказывать, как он морочит почтенную публику; тогда как весь его характер состоит именно в том, что он сам в себе обманывается. От этого-то он и заслуживает сожаление и участие, а не насмешку; от этого-то я и говорю, что описывал его с любовью, как люблю всех добрых лиц моих рассказов. Припомните, что Пушкин заставил сказать своему Онегину одну даму:

«Но вы совсем не так опасны, И знали ль вы до сей поры, Что просто очень вы добры».

И таким действительно понимал Пушкин своего Онегина. От этого и Тамарин в конце своих записок является просто добрым человеком, каким он и есть в самом деле.

Что касается до Иванова, то это не противоположность Тамарина, как некоторые думают, а более современный и близкий нам тип, как я его понимаю. Он у меня очерчен настолько, насколько был нужен для Тамарина, и, если характер этот несколько сух и беден поэтической стороной, то тем не менее, я полагаю, верен действительности.

Писатель, издающий в свет свое сочинение, ставится в невыгодное положение, если молча выслушивает толки и суждения о своем произведении и не отвечает на них. Поэтому я счел нужным высказать свой взгляд на предлагаемый роман. Верен ли этот взгляд и каково выполнил я свою задачу, об этом уж не мне судить.

М. Авдеев
С.-Петербург,
26 ноября 1851 года.

Варенька

(Рассказ Ивана Васильевича)

I

Весной 184* года я возвратился благополучно в свое родовое Редькино, которое, по домашним обстоятельствам, ездил перезакладывать в Московский опекунский совет. Вечером за самоваром, который был подан часом позже обыкновенного, потому что моя Марья Ивановна рассматривала и примеривала чепцы да уборы, привезенные мной с Кузнецкого моста, я наслаждался семейным счастьем. В саду перед окнами мои четверо мальчишек пересматривали и рвали книжки с картинками, отнимали у сестры куклы, кричали и во зились, несмотря на присутствие двух нянек, которые сидели в пяти шагах. Я, куря трубку, любовался ими, допивал третий стакан чаю, пускал колечки из дыму и слушал жену, которая, отобрав от меня нужные сведения о моей московской жизни, рассказывала свои домашние распоряжения, вновь открытые ею

мошенничества по имению, меры исправления и, наконец, жизни и приключения наших соседей. Перебрав по косточкам старых знакомых, очередь дошла до новых; я стал внимательнее.

– В Рыбное приехал, – говорила Марья Ивановна, – новый помещик Тамарин, франт, говорят, такой. Я его еще не видела... Ведь ты его знаешь?

– А! Сергей Петрович приехал! Давно пора; ведь уж два года, как умерла покойница Анна Игнатьевна; я с ним познакомился еще зимой в N. по случаю размежовки, и еще тогда говорил, что надо ему побывать в Рыбном. Насилу послушался!

– Как же, так он тебя и послушался! Большая нужда ему, что в деревне обворовывают! Приехал бы он за этим, если б не было Лидии Петровны!

– А! И Лидия Петровна здесь?

– Здесь, уж недели две, как с мужем притащилась; он старик, а ей лет двадцать пять; такая хорошенькая. Нездорова, говорит, нужен сельский воздух. Невидаль – сельский воздух, будто в Петербурге воздуху нет!

– Как же, матушка! Известно, сельский воздух очень здоров, в книгах пишут и все говорят!

– Вздор все говорят: я вот седьмой год живу в деревне, а все больна.

После этого мне о воздухе спорить было нечего: действительно, дня не проходит, чтобы моя Марья Ивановна чем-нибудь не пожаловалась: то бок завалило, то под ложечкой давит, а сама, прости Господи, так и плывет: всякий месяц капоты расставляют. Странная болезнь такая!

– Ну, что? А каков этот Сергей Петрович? Гордец, говорят.

– Э, полно, матушка! Правда, он немного со странностями и сначала как будто горд, – ну, человек нынешнего века, не нашего поля ягоды, – а впрочем, славный мальй! Я у него не раз обеживал: гастроном такой.

– Так тебе, душанчик, надо сделать ему визит, и самим отплатить ему хлебом-солью. Поедешь к нему?

– Поеду, матушка, поеду, только меня что-то сон клонит; чаю я больше не хочу, а велика дать поужинать.

Дня через три я собрался объездить моих соседей. Позавтракав, часу в десятом утра, я велел заложить тарантас, взял в узелок новый коричневый фрак и отправился. Ближе всего от нас Рыбное. Оно принадлежало бригадирше Анне Игнатьевне княгине Кутуказевой, а после нее досталось внуку ее по дочери, отставному поручику Сергею Петровичу Тамирину, к которому я и ехал. Рыбное стоит над озером, в котором водится немного раков и очень много лягушек. Сообразив это, мне показалось странным его название. Я обратился к кучеру:

– Терентий, в Рыбном озере ведь нет рыбы?

– Нет, – сказал он, не оборачиваясь.

– Так отчего же оно названо Рыбным?

– Да на берегу завод, вино курят, – отвечал он, не задумавшись.

Мне показалось это объяснение не совсем понятным: почему озеро названо Рыбным оттого, что на берегу винокуренный завод? Я усомнился даже, действительно ли Терентий

хотел ответить на мой вопрос, или в его курчавой, угловатой голове лениво переворачивалась идея о вине и винокуренном заводе и он на первый вопрос выпустил эту завалившуюся идею. Дальнейшие расспросы я почел излишними и молча доехал до Рыбного. Старый барский дом, в котором жил Тамарин, был выстроен над озером. Деревянный, длинный, серый от старости, грустно глядел он своими мелкими зелеными стеклами с горы на противоположный плоский берег. От дома до озера спускался старинный английский сад с заросшими аллеями из столетних деревьев. Вправо и влево тянулись сперва службы и амбары, а потом крестьянские избы. Сзади каретники, конюшни, гумно и далекое пустое поле, с зеленеющимися озимыми и черным паром. Когда я подъехал к крыльцу, на колокольчик выбежал хорошенький мальчик, в сером куцеме фраке, с белыми гербовыми пуговицами.

– Дома Сергей Петрович?

– Дома, сейчас встали. Как прикажете доложить?

– Скажи из Редькина, мол, Иван Васильич.

Мальчик убежал, а я вошел в большую залу, с низенькими хорами. Посредине стоял бильярд, верно, переставленный по приказанию Сергея Петровича, потому что прежде он стоял в боковой комнате, правда, немного узкой, но в стороне более в ней мебели не было.

Через минуту вошел высокий усатый человек в сером, тоже каком-то куцем не то сюртуке, и то фраке – это был камердинер Сергея Петровича я его видел в городе.

– Сергей Петрович извиняется: они еще не одеты, – сказал он. – А если вы не будете в претензии, то приказали просить.

После этого приема я хотел было воротиться да надеть коричневый фрак, но раздумал. Сергей Петрович – человек хороший, да городской и еще столичный, в деревне извиняется, что не одет, люди во фраках да жилетах, и всего-то двое в доме! Желал бы я посмотреть, как бы он вырядил так двадцать семь человек моих дворовых?

Человек провел меня в среднюю гостиную, из которой дверь вела в сад; у покойницы тут была чайная, а он из нее сделал кабинет. Сергей Петрович встретил меня в дверях. Я ду-

мал, что он и в самом деле не одет или если и прикрыт чем, то чем-нибудь этак в роде она-тюфель, как говорится, а он сидит у себя дома, а сам точно с модной картинки, что жена получает. Черный, странного покроя robe de chambre на малиновом подбое, брюки, которые как-то закрывали ногу вплоть до самого носка, что мог только один немец выдумать, а русскому человеку и в голову не придет, и сверх них крошечные бархатные туфли, которые, по правде сказать, моей Марье Ивановне и на шелковый чулок не взлезут.

– А! Иван Васильич, это вы? А мне сказали, что какой-то Редькин приехал, – сказал Сергей Петрович, протягивая мне свою маленькую руку, которую я всегда боялся дружески пожать, опасаясь сломать ее.

– Нет, Сергей Петрович, это я. Я сказал: доложи, мол, Иван Васильич из Редькина; а мальчик и переврал. Редькин! Какой я Редькин? Я слава Богу, Попов, а не Редькин!

– Не хотите ли чаю? – сказал Сергей Петрович, опустившись в вольтеровское кресло и усадив меня против себя.

– Покорно вас благодарю, я уже позавтра-

кал; а впрочем, от стаканчика с дороги не откажусь.

Мне подали чаю; на столе стояли ветчина, масло, телятина. Сергей Петрович предложил мне их к чаю, уверяя, что это очень хорошо. Но я поблагодарил и, признаюсь, подумал было, что он хочет подшутить надо мной: мне и в голову бы не пришло, что можно есть ветчину с чаем, если бы после не видал своими глазами, как сам Сергей Петрович не раз употреблял ее. Станный человек был этот Сергей Петрович! Я, например, никогда не видел, чтобы он горячился. Староста ли его надует, а он заметит; призовет старосту, скажет, что он дурак, потому что и надуть порядочно не умеет, – и он у него опять старостой; лакей ли нализается до положенья риз, лыка не вяжет, на ногах не стоит, а уверяет и божится, что маковой росинки во рту не бывало, – у меня вчуже сердце надорвется, а Сергей Петрович с ним и не спорит, велит ему лечь спать и на другой день ничего не сделает! Добр был он очень, а уж язычок – не приведи Бог! Смешно сказать: я, например, и турецкую кампанию делал, и в Польше был, пули, бывало, визжат над ухом,

ядра летят над головой – не поклонись, стоишь себе к ничего, только какие-то мурашки по телу ползают; а когда в обществе зайдет речь про меня и Сергей Петрович в разговор вступит – поверите ли? – беспокойно на стуле сидеть и платье как будто узко становится! Думаешь себе: как вздумается ему окрестить тебя так, шутки ради, каким-нибудь словцом, холодно, мимоходом, как он иногда это делает, а огорошит им хуже пули, и насмеется над тобой всякий, и дурак, и умный, и пойдет это словцо, из уст в уста, – ну, опозорит на веки! Да еще так, что и придрасться не к чему. Однако ж Сергей Петрович, спасибо ему, никогда надо мной не смеялся; за это, может, и любил я его.

Да, я его очень любил, хотя, по правде сказать, мне от него не было ни тепло ни холодно. Только сам не знаю отчего, а я всегда чувствовал над собой его превосходство, и это меня нисколько не удивляло и не огорчало, как будто так и следовало быть. А как подумаешь – так точно удивительно, потому что не один я, хотя другие и не признают, и не относительно только себя я видел это превосход-

ство, эту какую-то силу, которая делала то, что когда он бывает в обществе, каком бы то ни было, где даже и важные люди есть, хотя он молчит себе, хоть ничего не делает, а чувствуешь, что первый в этом обществе Сергей Петрович! Ну, что он такое? Отставной поручик, еще и армейский, владетель каких-нибудь трех сотен душ, не князь, не граф, а Тамарин, то же, что наш брат Попов! За что бы, казалось, считать его лучше себя и других? Так нет, подите же, считаешь себе да и только! Разве что умен? Действительно, умен, в этом и враг его сознается. Да что в этом уме? Какую пользу приносит ему этот ум, позвольте вас спросить? Что он, заставит каждого язык прикусить?! Велика важность! Что ж это за ум, с которым он весь век только глупости делает? Напроказничал что-то в Петербурге, историю имел, карьеру испортил и был бы без гроша, как бы не бабушкино наследство! Да это и всякий сумеет сделать! По-моему, такой ум гроша не стоит! Григорий Григорьич, например, вот так ум! Пошел служить писцом во фризовой шинели, а теперь с тысячью душ, и капиталец есть. Вот ум, так ум!

Сергей Петрович был среднего роста, тонок и чрезвычайно строен; ноги и руки крошечные, но мускулистые; черты лица правильные, умные и чрезвычайно спокойные; волосы светлые, мягкие, шелковистые; глаза большие, карие, прекрасные глаза, но странные. Обыкновенно они, как и все лицо его, были очень холодны и покойны; но, казалось, в глубине их таилась какая-то особенная сила. Если он одушевлялся, что, впрочем, бывало довольно редко, то они начинали светиться более и более. Тогда в них одних проявлялось столько воли, твердой и непреклонной, такая сила характера, какую мне никогда не случалось видеть в самых резких и выразительных физиономиях, а в нем и подозревать было нельзя. Вообще он был недурен собой, по-видимому, довольно слабый, бледный, очень грациозный, но медленный в движениях и как будто усталый. Раз я его спросил:

– Отчего это вы всегда как будто утомлены чем-то, Сергей Петрович?

– Жизнью, Иван Васильич, – отвечал он по обыкновению полушутя, полусерьезно, так что не знаешь, высказывает ли он свою

мысль, или говорит, чтобы только сказать что-нибудь.

«Есть отчего устать, – подумал я. – Тяжела твоя жизнь: поутру ногти чистить, а остальное время барыням сказки сказывать».

Итак, сидел я у Сергея Петровича, пил чай и курил из своей дорожной трубки, а он, по обыкновению, курил папиросу да ногти чистил: поутру он вечно насвистывает итальянские арии да ногти чистит, такая уж у него была привычка. Я ему говорил про озими да про запашку, а он мне отвечал, что ничего в них не понимает. Так мы проговорили с час места.

Погода была чудесная, дверь в сад была растворена, чрез нее вид на озеро и за ним на красивую усадьбу барона Б*** был отличный; в воздухе не шелохнется; мы сидели да покуривали, когда вошел мальчик и подал Сергею Петровичу на маленьком серебряном подносе записочку. Ну что опять за мода на серебряном подносе записочки подавать? Ведь вез же ее, чай, фореитор в засаленном полушубке! Не на подносе же вез он ее?

Сергей Петрович лениво пробежал запис-

ку, бросил на стол и велел сказать: «хорошо».

«От кого бы это? – думал я. – Бумажка с гербом и облатка гербовая».

– Что вы улыбаетесь, Иван Васильич? – спросил Сергей Петрович.

– Да ничего, я так улыбнулся!

– Вы думаете о записке?

– Я нескромных вопросов не делаю, – отвечал я.

– Эта записка от баронессы Б***, она зовет меня ехать верхом с ней; видите, тут нет ничего особенного.

– Что тут необыкновенного, что молодая дама к вам записки пишет! Очень обыкновенно.

– Вы находите, может быть, это странным, непозволительным? – сказал Сергей Петрович таким тоном, как будто он спрашивал киргиза: «А что, странно, братец, что я вилкой беру говядину?»

– Нет, – отвечал я, – чего ж тут непозволительного, верхом ездить очень позволительно. – А сам думаю: что ж мне за дело, ведь записка не от Марьи Ивановны, а чужой лоб не мне на голове носить.

Сергей Петрович позвонил.

– Оседлать Джальму! Я взялся за фуражку.

– Подождите, Иван Васильич, куда вы?

– Да я к Мавре Савишне.

– К какой Мавре Савишне?

– В Неразлучное.

– Это по пути к барону?

– По одной дороге: версты три за Лунки-
НЫМ.

– Поедемте вместе!

Сергей Петрович спросил переодеться: надел серенькую жакетку, круглую кожаную фуражку с длинным козырьком, взял хлыстик, – ну, англичанин чистый! – и мы отправились, он верхом, а я в тарантасе. Пока мы ехали вместе, я любовался Джальмой. Что это за конь! Карабаир чистой крови! Сергей Петрович привел его из Оренбурга, где купил на меновом дворе у хивинцев. Тонкий, стройный, весь из жил и кости. А привязан был к Сергею Петровичу как собака. Бросит он его, и стоит Джальма как вкопанный; защелкает Сергей Петрович, свистнет, и Джальма пред ним как лист перед травой. Серый в яблоках; чуть пройдет на нем, и он делался розовый: так тонка

была у него кожа; глаза горят, а смирен как голубь! Сергей Петрович сказывал, что он купил его на пристяжку. В первый раз он пошел удивительно. Во второй только поднесли хомут, а он и задом и передом; кое-как ввели в постромки, он изорвал зубами хомут на себе и коренной и лег – так и отбился от запряжки. Но уж верхового коня я лучше не видывал!

Я и не видел, как мы обогнули озеро и подъехали к Лункину, так засмотрелся я на коня и седока. И седок хорош; сидел как прикованный; отлично ездил Сергей Петрович, и, спасибо, не по-английски, а по-русски... терпеть не могу этой езды вприсядку! Только он вечно сидел в седле опустившись, как будто ему тяжело держаться прямо: видно, привык к мягким креслам.

– Сергей Петрович! – сказал я ему шутя. – Продай коня.

– Не продажный, а заветный, – отвечал он.

– А что завету?

– Да то, чего нет у вас, Иван Васильич: женское чистое сердце! – сказал он, кивнув головою, и повернул в Лункино к барону.

«Экий сердцеед какой! Вишь чего захо-

тел», – подумал я и поехал крупной рысью к Мавре Савишне.

III

Есть лица, в присутствии которых становится как-то тепло на сердце. К числу их принадлежала моя добрая знакомая и соседка Мавра Савишна со своей дочкой Варенькой. Перо мое с любовью останавливается на их портретах.

Мавра Савишна была вдова секунд-майора, добрая русская помещица полтора ста душ; как теперь вижу ее маленькую фигурку с чепцом на голове, очками на носу и вечным чулком в руках. Я не знаю человека, который бы не любил Мавры Савишны. Правду сказать, знаю мало я таких, кого бы она не любила.

Мавра Савишна почти безвыездно после смерти мужа жила в деревне да любовалась своей дочкой Варенькой. Варенька была для нее все, и не на бесплодную почву падала любовь ее: Варенька стоила этой любви.

Не будь я женат и не имей пять человек детей, я бы влюбился в Вареньку... да нет, не

влюбился бы: не посмел бы влюбиться в нее, а любил и люблю ее как родную дочь; и мудреного нет – она выросла на моих глазах.

Будь я живописец и скажи мне кто-нибудь: «Иван Васильич, напиши какого-нибудь вестника радости и мира», – и я бы написал портрет Вареньки.

Ей было осмнадцать лет; она была немного более среднего роста. Не была она полна и не была тонка, но такого грациозного, такого гибкого, так мягко схваченного стана и не придумаешь. И голова была по стану: во всем лице ни одной классически правильной, резкой черты, которая бы бросилась в глаза; но все так чисто, так добры, так сгармонизованы, что казалось, природа с особенной любовью занималась созданием их. Больше всего мне нравились ее глаза: большие, темно-голубые, светло и спокойно смотрели они на Божий мир, как будто в нем не было ни нужды, ни горя, ни потерь, ни заботы, ни длинного ряда заблуждений и обманов, в конце которого часто стоит разочарование и могила.

Я сказал, что Мавра Савишна почти безвыездно жила в деревне, но я ошибся: когда Ва-

ренъке минуло шестнадцать лет, она две зимы сряду ездила с ней в свой губернский город, где у нее были дела.

В эти две зимы Варенька выезжала много, и не одни вечер, далеко за полночь, молча просиживала на балах Мавра Савишна, любуясь на свою дочку.

Но свет не привязал к себе Вареньки своими пестрыми удовольствиями, своими ловкими кавалерами. Весело и покойно смотрела она на офицеров и белогалстучных франтов. Шутя выслушивала она их полушутливые, полусерьезные признания, и ни разу ее девственное сердце не забилося сильнее обыкновенного. Варенька любила всех и потому никого не любила. Смотря на своих подруг, которые часто выбирали ее в поверенные, она большей частью находила их глубокие чувства слишком мелкими, их вечную любовь слишком кратковременной, их постоянных обожателей слишком ветреными; странны и непонятны казались ей увлечения любви, и, раздумывая о себе в долгие вечерние прогулки по темному саду, сознавала она, что не способно ее доброе любящее сердце забиться

этой любовью, что не закипит огнем страсти ее теплая кровь и что благо сделала природа, дав ей много любви и раздробив эту любовь на весь мир.

Вареньку воспитывала гувернантка-швейцарка. В шестнадцать лет Варенька бегло играла на фортепьяно, говорила по-французски как француженка и пела серебряным голоском хоть и без искусства, но с той натуральной прелестью, которую природа дает соловью и иногда хорошенькой девушке. Добрая гувернантка не успела налюбоваться своей питомицей: она умерла в то время, когда та начинала только жить, и оставила Вареньке свой маленький капиталец, скопленный в ее же доме, – так любила она ее!

Но Варенька, оставшись одна, со своей доброй, любящей ее до беспамятства матерью, но которая не имела на нее никакого морального влияния, не была уже ребенок. Спокойно закрылись глаза ее доброй гувернантки, которая знала, что в ее семнадцатилетней Вареньке есть чистая душа, верный и светлый взгляд на жизнь и крепкая твердая воля.

Итак, я ехал в Неразлучное. За полверсты

приветливо взглянул на меня желтенький домик с зелеными ставнями; у подъезда с низким поклоном встретил меня старый слуга Савельич, в длинном синем сюртуке и с зачесанными с затылка наперед волосами; а на террасе, выходящей в сад и крытой холстом от солнца, радушно приняла Мавра Савишна в широких креслах, с очками на носу, тоненьким чулком в руке и собачкой у ног.

– Ба, Иван Васильич! Здравствуйте, батюшка, здравствуйте! Каково в Москву съездили? А мы соскучились без вас. Вчера еще Вареньку спрашиваю: что, мол, это Иван Васильич долго не едет? А она говорит: не знаю, маменька. Ан вот и Иван Васильич! Ну, очень рада... А что Марья Ивановна?

Я подошел к руке, сказал, что Марья Ивановна слава Богу и свидетельствует свое почитание, – ну, и прочее.

Мавра Савишна спросила меня, не хочу ли я закусить, и хоть я и отказался и сказал ей, что сейчас только чай пил и закусывал, и честью уверял, что сыт, но она все-таки велела подать водку и завтрак: такая уж была хлебо-солка!

– А что Варвара Александровна? – спросил я.

– Варенька в саду: Володя Имшин из города приехал и письмо ей привез, так она и спрашивает его про городские новости. Варенька! Варенька! – кричала Мавра Савишна, склоняясь за перила: – Иван Васильич приехал!

– Иду, маман, иду! – отвечал серебряный голосок, и в аллее показалась стройная фигура Вареньки.

Володя Имшин был наш земляк и сосед Мавры Савишны. Лет пять назад отец отвез его в Петербург и, возвратясь домой, умер, как будто ему и делать на свете было нечего. Володя остался сиротой, не доучился в каком-то заведении, прослужил года два в канцелярии и с чином четырнадцатого класса вышел в отставку, чтобы заняться имением, которое досталось ему от отца довольно запутанным. И хорошо сделал Володя, что вышел в отставку: до генералов он бы не дослужился, а имение бы расстроил. Имшин был мальчик лет двадцати с небольшим, румяный, курчавый, хорошенький собой; все его люби-

ли как доброго малого, и губернские барышни, с которыми он вместе вырос, звали его меж себя Володей, а в глаза Вольдемаром.

Через минуту пришла Варенька из сада и за ней Володя. Беленькая, розовая, она протянула мне свою маленькую ручку, и в голубых глазках ее я читал удовольствие.

– Откуда вы? – спросила она меня после первых обычных вопросов.

– Из Рыбного от Сергея Петровича Тамарина.

– А вы знакомы с ним?

– Как же! Имею это удовольствие, – отвечал я.

Мы поговорили о том о сем. Подали закуску; я выпил рюмку травнику, который у Мавры Савишны был отличный. Мавра Савишна вышла куда-то по хозяйству. Мы остались втроем.

Володя закурил папиросу и стал разговаривать с попугаем, который сидел в углу; а мы с Варенькой пошли в сад.

– Так вы знаете Тамарина? – начала Варенька.

– Знаю! – отвечал я. – Хорошо знаю.

– Похож он на демона?

– Господь с вами, Варвара Александровна! С чего вы это взяли? Сергей Петрович – хороший человек. А впрочем, я демона не знаю!

– Вам мой вопрос показался странным; но прочтите, что мне пишет Наденька.

И она вынула из кармана и подала мне тоненькое письмецо на разрисованной бумажке.

Вот что писала Наденька, губернская девушка и львица, задушевный друг Вареньки.

«Вчера вечером Володя был у нас и сказал, что он едет в свою деревню и, конечно, тотчас же увидит тебя, *ma chere Varbe!* Как я позавидовала ему, как я хотела бы обнять тебя, расцеловать и поболтать о многом, о многом! Впрочем, о чем же бы мы стали говорить с тобой? Я все это время не живу, а прозябаю. Молодежь у нас все такая скучная, приторная; веселостей нет, скучно, Варенька! Володя все вздыхает по тебе и ждет случая уехать! Тамарин тоже уехал. Да! Ведь Тамарин в ваших краях, кажется; видела ли ты его? Это лицо очень замечательное, хотя я его терпеть не могу. Он приехал сюда прошедшей весной,

вскоре после твоего отъезда. Молва опередила его, и вскоре он стал у нас героем гостиных; он очень умен, недурен собой, остер и зол на язык; с ним весело поболтать, но такового холодного создания, такового эгоиста я не видывала! Он ухаживал и ухаживает здесь за всеми, от нечего делать, и громко говорит, что не хочет никого обижать невниманием, и потому завел очередь: действительно, у него волокитство продолжается неделю. Для меня он сделал исключение и не ухаживает вовсе, за что я ему очень благодарна. Брат, который с ним воспитывался, писал мне, что в школе они его прозвали демоном. Я иногда, чтобы подразнить его, также называю демоном, в насмешку, и уверяю его, что он вовсе не так опасен. Но он никогда не обижается, и если замечание колко, то огрызнется: правду сказать, за словом в карман не ходит, и мне никогда не удавалось рассердить его. Бог знает, что у этого человека на душе, но на лице никогда ничего не прочтешь. Хоть он и уверяет, что был влюблен семнадцать раз, но мне кажется, что он никогда не любил и не может любить, и если он не опасен как демон, зато

горд и самолюбив как не знаю кто.

Прощай, ma toute cherie! Значит, мне нечего писать тебе, когда я целое письмо проговорила о Тамарине. Когда я перечла его, так мне стало досадно, и я хотела изорвать его, но подумала, что оно тебе, может быть, пригодится, если ты с Тамариным еще не знакома. Если же знакома, то поклонись ему от меня: он всегда со мной был вежлив, – за вежливость вежливостью. Нынче лиф обшивают рюшиком, узеньким-узеньким, а на самом кончике мысочка сажают бантик.

Toute a toi Nadine.

P.S. Здесь пронесся слух, что Тамарин уехал в деревню, потому что в соседство к нему приехала какая-то баронесса Б***, из-за которой он имел историю. Пожалуйста, узнай, правда ли это, и что это была за история, и какова баронесса? Все напиши поподробнее: это меня очень интересуется».

– Что вы об этом думаете? – спросила меня Варенька, когда я прочел письмо.

– Я думаю, во-первых, что Наденька сердита на Тамарина, потому что он за ней не ухаживает, хотя и заинтересована им.

Варенька улыбнулась.

– И потом, я думаю, что дурно знаю Тамарина, считая его только за доброго малого.

– Почему же это?

– А потому, что в школе его прозвали демоном. Школьные названия удивительно верны и всегда чрезвычайно обрисовывают характер.

– В самом деле? Так вы думаете, что Тамарин действительно похож на демона?

– Мне казалось, что нет, а теперь я начинаю этому верить. У нас, например, входит в училище один новичок, а товарищ мой, шкодник страшный, и кричит: «Господа! Барон Брамбеус пришел». Что ж, и вышел второй Брамбеус: остряк был страшный.

– Знаете ли, Иван Васильич, мне бы хотелось увидеть Тамарина.

Мне, не знаю почему, показалось это желание неприятно.

– Полноте, Варвара Александровна! В нем и интересного ничего нет, он и на демона совсем не похож. Какой он демон!

– Вам, кажется, не хочется, чтобы я его видела, – сказала она, улыбаясь. – Уж не боитесь

ли вы за меня? – И она посмотрела на меня так спокойно, так самоуверенно своими голубыми глазками, что я убедился, что никакой демон не вскружит ее голову.

– Хотя и силен демон, да он ангелу ничего не сделает, – сказал я. – Нет, я не боюсь за вас.

– Ба, Иван Васильич, это комплимент, кажется?

– Нет-с, не комплимент, это я так сказал; а вот приезжайте с маменькой в четверг к нам, чай кушать; я и Сергея Петровича позову.

– Хорошо, – сказала она. Я пробыл у Мавры Савишны весь день и поздно вечером возвратился домой.

IV

В четверг, часов в семь вечера, приехала Мавра Савишна с Варенькой, немного погодя Сергей Петрович и с ним вместе барон Б*** с женою. Марья Ивановна с баронессой познакомилась еще до моего приезда, и я тоже был у барона. Барон был человек лет 60, полный, круглый лицом, довольно важный и чрезвычайно довольный собой старичок, жена его, дама лет 23–24, высокая, худенькая, стройная и очень бледная. Лицо у нее было предоброе, но в больших черных глазах было много смелости и цинизма: эта женщина, должно быть, испытала горе, но не поддалась ему. Кто будет глядеть на одно ее лицо, тому будет ее жалко; кто взглянет в глаза – холодно отвернется от нее.

Вечер был чудесный. Мы пили чай на террасе. Потом баронесса сказала, что она хочет посмотреть сад. Сергей Петрович подал ей руку, а мы остались. Разговор шел о цветах. Варенька просила позволения нарвать букет; я было хотел исполнить ее желание, но она сказала мне, чтобы я не беспокоился, и убежа-

ла одна.

Минут через пять она возвратилась с букетом.

– Иван Васильич, посмотрите, какой чудесный георгин я нашла у вас. Я пошел к ней на встречу.

– Мне бы хотелось, чтобы Тамарин бывал у нас, – сказала она, когда я наклонился, чтобы рассмотреть цветок.

Меня удивило это желание. Варенька была горда и никогда ни в ком не искала. Я взглянул на нее вопросительно: щеки ее горели, тихие глаза светились более обыкновенного; видно было, что ее что-то раздосадовало.

– Я скажу ему, что вы этого желаете, – сказал я.

– Как это можно!

– Так как же это сделать?

– Скажите ему от себя, посоветуйте, сделайте, как хотите. – И она это сказала тоном балованного дитя, которое не знает «нет», когда говорит «я хочу».

Я задумался. Новых знакомств без нужды Тамарин не очень любит; советовать ему бы-

ло нелегко: не таков он, чтобы послушал советов. Я был в затруднении.

– Сделаете, Иван Васильич? – сказала Варенька, и в голосе ее была такая настойчивость и просьба, она так мило и уверенно посмотрела на меня, что я ни за что на свете не захотел бы отказать ей.

– Хорошо, будьте покойны, – сказал я. Вскоре возвратились и баронесса с Тамариным.

На дворе стало темно и сыро. Подали свечи, и все перешли в гостиную.

Баронесса взяла шляпу, сделала знак мужу и, извиняясь, что у нее болит голова, уехала. Мы с Тамариным вышли ее провожать; он тоже было взялся за фуражку, но я у него отнял ее.

– Погодите, закусим, – сказал я.

– Да я никогда не ужинаю!

– Ну, уж там как хотите, а без хлеба-соли не отпущу.

Делать было нечего: он возвратился в гостиную. Я взял его за руку и подвел к Мавре Савишне.

– Сергей Петрович Тамарин, внук покойной княгини Анны Игнатьевны, – сказал я.

Тамарин, спасибо ему, не показал виду, что мое неожиданное представление его удивило. Он молча поклонился.

– Очень рада познакомиться, батюшка, очень рада! – говорила Мавра Савишна. – Я с покойной княгиней была очень дружна. Она вас очень любила и часто вспоминала о вас. «Что бы Сереже навестить меня на старости, хоть бы раз его, голубчика, увидеть!» – говорила покойница, дай Бог ей царство небесное; да не исполнилось ее желание. Конечно, не ваша была воля: служба не свой брат.

– Я бабушки не видел с семи лет, – сказал Сергей Петрович, – и, признаюсь, едва ее помню.

– Ну да, конечно, где ж вам помнить ее; а покойница вас очень любила.

Потом разговор перешел к добрым качествам покойницы, о которых распространялась, впрочем, только Мавра Савишна, да изредка жена ей поддакивала; потом разговор сделался общим, потом стали ужинать, а потом наконец и разъехались.

– Милости просим к нам, – сказала Тамарину Мавра Савишна, уезжая. – Мы ведь соседи

и вам всегда будем рады!

– Что вам, Иван Васильич, пришла фантазия представить меня старушке? – уезжая, сказал мне Сергей Петрович, не совсем с довольным видом.

– Она ваша соседка, добрая такая, вам будет у них весело, у нее дочь – невеста, – проворкотал я.

– А мне-то что?

– Как что? Она – девушка с состоянием...

– Хм! Полтора ста душ! – сказал Тамарин.

– Конечно, состояние небольшое, зато хорошенькая!

– На всех хорошеньких не переженишься, – сказал он, садясь в коляску.

«Ну, да ты там что себе ни думай, а желание Вареньки я исполнил, и придется тебе познакомиться с ними», – думал я про себя.

И в самом деле, Тамарин был у них на другой день с визитом и даже обедал, потому что без обеда от Мавры Савишны уехать было нельзя.

А дня через три Варенька отправила письмо в город следующего содержания:

«Я его видела, мой друг, Наденька! Видела

твоего демона, и ему суждено занять в этом письме, конечно, столько же места, сколько и в твоём. Ты нехотя заинтересовала меня им, и мне захотелось его видеть. Третьего дня мое желание исполнилось: я видела Тамарина у Ивана Васильича, и первое впечатление было не в его пользу. Я ожидала увидеть высокую, холодную фигуру, брюнета, с резкими чертами и черными как смоль глазами, и вдруг вижу блондина, среднего роста, стройного, вежливого, веселого, острого. Нет, не таким я воображала демона! Тамарин показался мне очень обыкновенным, но потом, взглядевшись в него, я нашла, что демон под этой личиной гораздо опаснее моего идеала. Действительно, есть что-то странное, загадочное в Тамарине, чего бы, может быть, я и не заметила, если бы не желала разгадать, за что этого молодого человека прозвали демоном. Например, заметила ли ты, когда он весел и смеется? У него смех идет не от души, он как будто смеется только наружно. Потом, эти мягкие темно-карие глаза; мне кажется, он ими может передавать мысли, хотя совсем не прибегает к этим гадким манерам, которые называются „иг-

рать глазами“. Я это заметила вот почему: у Попова была баронесса Б***, с которой Тамарин действительно, кажется, очень короток, хотя за ней совсем не ухаживает. Когда мы отпили чай, Тамарин взглянул на баронессу, холодно, как будто нечаянно; но мне показалось, что в этом взгляде была какая-то воля. И действительно, баронесса тотчас объявила, что она хочет посмотреть сад, и подала Тамарину руку. Но что всего замечательнее в нем, это грациозная медленность его движений, как будто он устал от какой-то внутренней борьбы, как будто ему лень жить на свете. Не удивляйся, та there, что я так подробно разбираю твоего демона: во-первых, он меня заинтересовал своим названием; во-вторых, в деревне всякое лицо интересно, и, в-третьих... я изучаю его, потому что мне с ним предстоит резкая встреча, потому что он меня обидел и я хочу отомстить ему. У меня от тебя нет секретов. Вот как это было: когда Тамарин гулял по саду с баронессой, я пошла нарвать букет. Наклонясь в кустарник, я рвала цветы, как вдруг слышу в аллее за густыми акациями голоса. Говорили баронесса и Тамарин; ни мне

их, ни им меня видеть было нельзя; я невольно слушала.

– Знаешь, демон, меня пригласили сюда для тебя (она говорила ему „ты“ и тоже называла демоном; последнее меня удивило; неужели это название так идет к нему, что и в Петербурге зовут его демоном?).

– Что за идея! – сказал он.

– Да тут нет ничего странного: Попова и муж едва меня знают и, кажется, не очень любят; они хотели, чтобы тебе не было скучно, и пригласили меня; они, вероятно, знают, что я твоя принадлежность, что я тебе нужна для того, чтобы ты менее скучал. – Последние слова баронесса произнесла с какой-то холодной горечью, и мне стало жаль ее.

– Что тебе за охота мучить себя пустыми предположениями! – говорил Тамарин. – Ты знаешь, что я люблю тебя более всех.

– Да, оттого, что ты никого не любишь...

Тамарин молчал.

– Ну, не сердись! Отчего не говорить ясно о своем положении? Тебя, я знаю, оно не обманывает, зачем же мне обманывать себя.

Тамарин все молчал.

– Ты думаешь, что мне досадно это приглашение? Что за вздор! Не все ли мне равно, что думают обо мне Поповы, когда я не дорожу ничьи мнением. Напротив, я очень довольна, что тебя вижу. Мне только неприятно, что сюда привезли Вареньку!..

– Это отчего? – спросил Тамарин.

– Я не знаю, почему-то мне неприятно ее видеть. Я боюсь, чтобы она хотя на минуту не приковала тебя к себе.

– Дитя! Что за ревность! И к кому же? К семнадцатилетней деревенской девочке!..

– А она недурна, – сказала баронесса.

– Да, я люблю этот русский тип: славные русые волосы, глаза с поволокой, темно-голубые, кажется? И потом, румянец прямо деревенский; впрочем, она должна быть девочка с характером: у нее тонкие, круто загнутые брови.

– Когда ты успел так рассмотреть ее? – с досадой спросила баронесса.

– Ты знаешь, что я при первой встрече всегда обращаю внимание на выражение лица; надобно знать человека, с которым встречаешься, в особенности женщину.

– И ты узнал Вареньку?

– Да, у нее, кажется, экзальтированная головка, которую можно вскружить в неделю.

– Фат! Ты это можешь, я тебя знаю.

– К чему! – сказал он.

– Да хоть к тому, чтобы заставить страдать по себе. – Тут она закашлялась.

– Пойдем, Лидия, сыро, тебе вредно, – сказал Тамарин. И они ушли.

– Ты не поверишь, как этот разговор рассердил меня! Я деревенская девочка, с экзальтированной головкой, которую можно вскружить в неделю! Я, которая две зимы не знала, что делать с поклонниками, и ни одного из них не любила! Не слишком ли много вы берете на себя, mr. Тамарин? Посмотрим, кто кому вскружит голову: деревенская ли девочка победоносному демону, или он ей! Возвращаясь в комнаты, у меня явилось ужасное желание отомстить Тамарину: в эту минуту я его ненавидела, как и ты. Я сделала так, что он с нами познакомился и вчера целый день пробыл у нас. У него оригинальный ум и взгляд на вещи; я очень весело провела с ним время и, признаюсь, была с ним любезнее, чем с

кем-нибудь. Ты не поверишь, как мне хочется отомстить ему. Матан взяла с него слово, что он будет бывать у нас.

Володя бывает у нас почти каждый день и по-прежнему вздыхает обо мне. *Toute a toi.*

Barbe».

V

Дни шли за днями, и немного прошло дней, да много изменили они Вареньку. Тамарин чаще начал бывать у них. В тихие, темные июньские вечера долго хаживал он с ней по тенистому саду, и речь их была оживлена и непрерывна, и добрая Мавра Савишна, сидя на террасе с вечным чулком, с любовью смотрела на свою Вареньку. О чем была их речь, не знаю; но говорил и правил ею большею частью Тамарин. Мало-помалу он терял свой официальный, всегда холодно-вежливый характер, он становился разнообразнее, нецеремоннее и натуральнее. Иногда он был весел и оживлен, бойко и резко шел острый разговор, и звонкий смех Вареньки долетал до слуха Мавры Савишны, и Мавра Савишна была тоже весела и довольна. Чаще Тамарин был хо-

лоден и грустен; тихо звучала его спокойная и долгая речь, и Варенька становилась задумчивее и грустнее. Румянец бледнел на ее розовых щечках, и пристально смотрела она своими большими темными глазами в бледное лицо Тамарина, как будто хотела вычитать на нем всю грустную повесть его прошедшей жизни, спуститься в темную глубину души, в которой рождалась и из которой текла эта охлажденная, отравленная горьким опытом речь. И Мавра Савишна была тогда тоже скучна и беспокойна и часто спрашивала:

– Здорова ли ты, моя Варенька?

В этот период Варенька писала своей подруге:

«Какую страшную игру затеяла я, мой добрый друг, Наденька! В какой неравный бой вступила я, как много понадеялась на свои детские силы! Я хотела вскружить голову Тамарину! Я, ребенок, не начинавший жить, я, деревенская девочка, знающая страсти по романам, хотела вскружить эту голову, выдержавшую не одну бурю, хотела играть сердцем, выстрадавшим грустную твердость, горькое право ни отчего не биться!

Нет, Наденька, не знаешь ты этого человека; мое маленькое кокетство, деревенская жизнь, а более желание поближе взглянуть на этот загадочный характер сблизили меня с ним, и я много узнала его, хотя почти совсем его не знаю, — так он разнообразен, так нов, так велик! Нет, Наденька, ты не знаешь Тамарина. Посмотрела бы ты на него, если бы он перед тобой, как передо мною, приподнял свою холодную, равнодушную маску, дал взглянуть на себя так, как он есть!

Мне страшно, Наденька! Я отказалась давно от своей нелепой, самонадеянной идеи, но я узнала Тамарина, я увидела в глаза этого демона, не того тебе знакомого демона гостинной, равнодушного эгоиста, который убивает сарказмом все, в чем есть тень смешного, и который во всем, если захочет, найдет это смешное, — нет, гордого, мощного демона, который ведет страшную борьбу за свое самолюбие и, побежденный, вышел из битвы с полным сознанием своей силы! Вот демон, которого увидела я, который высказался мне в наших частых беседах и которого я боюсь, потому что какая-то обаятельная сила влечет

меня к нему! Теперь я веду другую борьбу: я уже не нападаю, а только защищаюсь... что, если я люблю его? что, если он не полюбит? Он никогда не говорит мне о своей любви! Может быть, он уже не в состоянии любить!

Наденька, что тогда будет со мной?»

День ото дня Варенька становилась грустнее и задумчивее; характер у нее сделался неровный, часто бледненькая вставала она поутру и боялась новой встречи, и рада была, когда приезжал к ним Тамарин.

– Нет ли писем с почты? – утомленная, нетерпеливо спрашивала она, когда посланный возвращался из города, и ждала ответа от своей Наденьки, чтобы в нем почерпнуть новые силы. Но ответа не было. Тамарин тоже наедине с Варенькой (при Мавре Савишне он был всегда одинаков) бывал часто как будто скучен, как будто недоволен. Раз он приехал к ним вечером, бледнее обыкновенного, и на его лице выражалось что-то вроде подавленной грусти. Варенька тотчас заметила это. По обыкновению, Тамарин подал ей руку, и они пошли в сад.

– Что с вами? – спросила Варенька, как

только они остались одни.

– Мне сегодня грустно, – отвечал Тамирин. – Скучаю я много; но грусть давно не испытывал, и она тем больнее, что я отвык уже от нее.

– Отчего же это? Не расстроила ли вас баронесса? – наивно спросила Варенька, не знаю, от участия или с досады.

– Оставьте ее, – сказал он. – Когда-то была она мне дорога, – теперь я ей многим обязан; но она для меня как и все, я только могу быть благодарен ей.

– Благодарным за любовь? Ведь она вас любит! Разве за любовь можно платить благодарностью?

– Что ж мне делать, – сказал он. – Ее любовь не из тех, которые возбуждают взаимность. Может быть, я слишком самолюбив, но я не люблю, когда это чувство уже достается поношенным. Мужчина может любить несколько раз – его любовь не профанируется этим. Женская любовь должна быть чиста и невинна, как сама женщина; она только имеет высокую цену раз в жизни – в первый раз! Оттого-то мне и грустно, что я не испытал

этой любви.

– А независимость, которую вы так любите? Если за эту любовь вам придется заплатить своей независимостью?

– Что это за любовь, которую покупают? – спросил Тамарин. – Разве можно купить истинную любовь и разве может существовать любовь, когда есть обязанность любить? Вам, может быть, покажется смешно, что человек, испытавший жизнь, сохранил еще детскую веру в возможность чистого свободного чувства. Я вас не стану уверять в этом; но сознаюсь, что Бог весть каким случаем во мне еще осталось убеждение в этой возможности, – может быть, оттого, что это была первая самая счастливая мечта моей юности, которая, вероятно, не сбудется, как и все слишком обольстительные мечты. По крайней мере до сих пор она не осуществилась. Меня никто не любил этой любовью, которая не выпрашивается волокитством, не возбуждается насильственно романтическими чувствами, театральными положениями. Подобная любовь приходит сама по себе, не рассуждает, кончится ли она, как в нравственных повестях,

законным браком, не будет ли предосудительна в глазах света. Любовь, которая рассуждает, уже не любовь. Эта любовь дается немногим; этой любовью любят человека со всеми его недостатками, слабостями, пороками, любят его наперекор рассудку, свету, приличиям: отдаются ему, как дитя отдается матери, без мысли, что он может употребить во зло доверенность, думая даже, что зло от него есть уже добро. Вот любовь, о которой я мечтал и в которую верил. Но когда пройдешь полжизни, пройдешь просто куда ведет судьба, не драпируясь ни в какие чувства, не становясь ни на какие ходули, называя в глаза всякую вещь ее именем, и когда на всем пути не встретишь ни одного существа, которое бы всмотрелось в тебя и потом прямо подало руку и сказало: «Я люблю тебя», – тогда рождается горькое убеждение, что не стоишь ты этого чувства, что самолюбие обмануло тебя, что не выходишь ты на палец выше этой дюжины, которая идет вместе с тобою, шныряет по сторонам да выпрашивает и вымаливает так называемую любовь, как татарин с козой и медведем медный грош у русского мужика!

Тамарин остановился и закашлялся: мне кажется, желчь душила его. Он опустил руку Вареньки, сел на скамью, закинул голову назад, прислонив ее к дереву, и рассеянно смотрел на Вареньку. На лице его не было ни грусти, ни злости – это было бледное и спокойное лицо человека, который показывает доктору свою свежую рану и хладнокровно говорит: «Она смертельна». Странное влияние произвели на Вареньку эти слова, в которых было так много грусти и желчи. Ей было жаль Тамарина, грустно и больно за него. Ей казалось, что справедлив был этот ропот на судьбу уязвленного самолюбия, что Тамарин стоит той высокой любви, о которой говорил он. Ей было досадно, что никто не оценил этого человека; она возмутилась за него против судьбы, и сильнее прежнего какая-то неведомая ей сила влекла ее к Тамарину. И добрая Варенька стояла перед ним как добрый дух над умирающим грешником. Страшная борьба совершалась в ней. Все ее детское самолюбие, вся логика чистого ума, вся женская, в первый раз потрясенная гордость восстали, боролись и гнулись под демоническим вли-

нением этого человека. Это была битва на смерть, которая, как в зеркале, отражалась на лице ее. Варенька была то бледна, то румяна; крупные слезы дрожали на длинных ресницах; она стояла молча, без движения, без мысли, как будто ждала, чем кончится эта битва, хотя сама не сознавалась, что так волнует и теснит ее грудь. Не знаю, чем бы кончилась эта немая сцена, если бы Тамарин не заметил наконец положения Вареньки.

– Что с вами? – спросил он ее.

Но Варенька не могла отвечать: при первом звуке его голоса слезы брызнули у нее из глаз, она закрыла лицо обеими руками и убежала.

Тамарин прошел раза два по аллее, зашел на пять минут к Мавре Савишне и уехал очень довольный собою.

VI

Было уже поздно, когда Тамарин, верхом на своем Джальме, возвратился домой. Бросив лошадь у крыльца, он вошел в кабинет, разделся, закурил папиросу и сел в кресла, закинув, по обыкновению, назад свою голову.

В доме была мертвая тишина, дворовые люди все спали, один только камердинер дремал в прихожей. На дворе было так же тихо, как и в доме. Это была теплая, безлунная июньская ночь, с яркими звездами на темном небе, полная тишины, аромата и поэзии.

Дверь в сад была отворена, но огонь не дрожал на свечках: так покоен был воздух. Тамарин сидел и думал. О чем он думал, Бог ведает: это лицо так привыкло не выдавать тайных дум, что и наедине, как в гостиной, оно было, по привычке, холодно, спокойно и безмолвно. Только в больших темных глазах было выражение. Это не было выражение мелочного самодовольства, удовлетворенного самолюбия. Нет, в них было гордое выражение человека, сознавшего собственную силу, что-то похожее на благородное торжество

оскорбленного самолюбия, которому отдали должную справедливость. Светло и гордо смотрели эти темные глаза, и странно было их выражение, полное жизни на холодном, спокойном лице, в пустой, полуосвещенной комнате.

Какие мысли проходили тогда в голове Тамарина, какими существами воображение его наполняло окружающую его пустоту, на кого смотрел он этим гордым светлым взглядом? Рисовалась ли перед ним стройная фигура чистого, девственного существа, которое, забыв и женскую гордость, и оскорбленное самолюбие, рыдая прощается со своей свободой и отдает всю силу первой любви своего непорочного сердца, всю гордую, не знавшую принуждения волю ему, Тамарину, которого Варенька почти не знает, который не выстрадал права на ее любовь, который даже мимоходом не сказал ей, что он ее любит, что он будет любить ее, что он оценит всю великость незаслуженного дара, не употребит во зло своей некупленной власти? Или перед его внутренними очами рисовалась другая картина – картина его прошедшей, неведомой

нам жизни, должно быть, бурной и обильной происшествиями жизни, в которой выработался этот твердый, холодный характер, выдержался мощный ум, – жизни, которая должна была разбить его и из которой он вынес новые силы?

Бог ведает, о чем думал Сергей Петрович! Чужая душа потемки. Долго сидел он так, погруженный в свои думы, и уже докуривал одну за другой третью папироску; свечи нагорели; было около полуночи; вдруг ему послышался шорох. В темной глубине аллеи сквозь растворенную дверь видел он женскую фигуру в белом платье, которая двигалась, поднимаясь в гору, ближе, ближе, и вот она на пороге, и свет ярко обрисовал ее на темном фоне полночного неба.

– Баронесса! – сказал Тамарин, вскочив и подавая ей руку. – Лидия!

Она молча оперлась на его руку, опустилась в оставленное им кресло и, бледная от усталости и волнения, несколько минут сидела молча, с трудом переводя дыхание.

Она была в эту минуту очень хороша. На ней был белый распашной капот, на голове

легонький спальный чепец, из-под которого выбивались небрежно подобранные локоны; лицо было страшно бледно, и от этого еще резче обозначались прозрачные синенькие жилки на висках, ярче горели под длинными ресницами большие черные как смоль глаза. Тамарин молча стоял перед нею, держал в руках ее холодную руку и спокойно ждал упреков.

– Вы несколько дней не были у нас, Тамарин, вы нас забыли, и я пришла проведать вас, здоровы ли вы, – сказала наконец баронесса, подняв глаза на Тамарина. Видно было, что она хотела начать холодным упреком, но в голосе ее была такая болезненная жалоба, упрек был высказан так робко, что он должен был дойти до души человека, у которого только есть душа.

Тамарину стало жаль баронессу. Эта женщина в свое время наделала ему много зла, но она много его любила, и он много простил ей; она так много его любила, что ему наконец нечего уже было прощать ей, и он считал себя ее должником. И вот эта женщина, у которой он не был только несколько дней, кото-

рую он забыл на это время для другой, потому что другая была новее и поэтому более развлекала его скучающий ум, – эта женщина, одна, в полночь, приходит к нему и еще раз рискует бесполезно жертвовать добрым именем, семейным спокойствием для того только, чтобы увидеть его и, может быть, выслушать холодное наставление. Лицо Тамарина изменилось, как будто маска спала с него, – из холодного и спокойного оно сделалось добрым и впечатлительным; он взял с дивана шитую подушку, бросил ее на пол и сел у ног баронессы.

– Мы сегодня будем на «вы», Лидия? – спросил он ее, глядя на нее приветливыми, ласкающими глазами.

Баронесса не выдержала этого взгляда. В нем было чувство, а она не ожидала найти его. Вся ее холодность растаяла от бедной теплоты этого чувства: она заплакала.

– Тамарин! Что ты со мной делаешь? за что ты меня бросаешь для этой девочки? разве ты любишь ее? – спросила она, и Тамарину было слышно, как сердце билось у ней в груди.

– Нет, – сказал он.

– Право? Тамарин задумался.

– Говори, Бога ради, говори!

– Нет, не люблю, – сказал он.

Баронесса вздохнула свободно: вся кровь, которая прилилась и держалась у ее сердца, отступила от него, и легкий румянец заиграл на щеках.

– Не любишь?.. Я тебе верю: ты никогда, никогда не обманываешь! Зачем же ты забыл меня? Ведь ты три дня не был у нас! Ведь ты не можешь представить себе, что я выстрадала в эти дни! Я уже думала, что ты полюбил Вареньку. Теперь я знаю, тебе с ней было веселее: верно, она полюбила тебя или еще боится тебя любить. Все равно, она тебя полюбит: тебя нельзя не любить, если ты этого захочешь; у тебя столько ума, столько странной привлекательности, что я тебя знаю три года, и ты для меня все нов, как тогда, помнишь, как в первый раз ты со своей насмешкой и равнодушием явился между моими поклонниками!

Она наклонилась к Тамарину, одной рукой обняла его шею, а другой играла его мягкими светло-русыми волосами.

– Послушай, ты знаешь, как я люблю тебя: я тебя люблю, несмотря на то, что ты меня не любишь. Бог знает, чем ты умел привязать меня к себе! Нет вещи, которой бы я для тебя не сделала, нет жертвы, которой бы не принесла тебе. За все это ты мне никогда ничего не дал, кроме страданий, и я не ропщу на тебя, ты от меня не слыхал ни одного упрека, да ты и не виноват ни в чем: ты уже так создан. Но теперь, раз, в первый раз в жизни, у меня есть к тебе просьба. Выполнишь ее?

Баронесса еще ближе наклонилась к Тамарину; локоны ее доставали ему до лица; она опрокинула несколько назад его голову и смотрела ему прямо в глаза умоляющими глазами. Тамарин улыбнулся.

– Тебе хочется, чтобы я отказался от Вареньки?

– Да! – сказала баронесса робко.

– Дитя! Не все ли тебе равно, любит ли она меня, или не любит? Я не люблю ее и не буду любить, потому что для этого надо жертвовать тобой, а тобой я не пожертвую ни для кого на свете. Ты это знаешь. Да и вряд ли я уж могу любить. Что ж тебе до Вареньки?

– Нет! Бога ради, оставь ее, я тебя умоляю всем, что тебе дорого! Я умоляю тебя об этом для тебя же. Когда я в первый раз увидела ее, у меня стеснилось сердце от какого-то дурного предчувствия; мне кажется, что она должна обеим нам принести несчастье. Да и что тебе в ее любви? Разве она сможет любить тебя, как я, разве у нее на это достанет сил? Ведь твоя любовь тяжела: ее не всякая выдержит! И потом, она не выстрадала права на эту любовь, она не поймет, как надо любить тебя: она возмутится против твоего деспотизма. И потом, знаешь ли, мне жаль ее. Подумай, что с ней будет! Она горда: у ней, ты сам сказал, много характера. Если она восстанет против тебя, она разобьется о твою железную волю; если она не устоит, я знаю, ты благороден, ты не употребишь во зло ее доверенность... но есть жертвы более материальной жертвы, которую может принести девушка: жертва спокойствием жизни, волей, отречением от всего, что не ты... и это ждет ее. Разве тебе мало одной меня?

Она сказала это слово просто, без упрёка, без жалобы: как будто так и следовало быть

ей его жертвой, как будто так ей и на роду уж было написано! Но много в этих словах было любви и просьбы – и не в одних словах: в ее взгляде, положении, наконец, в ее жарком и прерывистом дыхании, которое чувствовал Тамарин на своем лице.

Тамарин молчал: очевидно было, что какие-то разнородные мысли боролись в его уме. Потом он посмотрел на баронессу и сказал:

– Хорошо, завтра...

Она не дала закончить последние слова и заглушила их поцелуями.

Было уже поздно, так поздно, что становилось рано, когда Тамарин под руку с баронессой спускались под гору по аллее; он пошел проводить ее до дому. На небе еще не начинало светать, но это было то темное утро, которое предшествует рассвету. Она, закутанная в турецкую шаль, шла медленно, прижавшись к руке Тамарина, как будто ей не хотелось расстаться с ним. Он шел тихо, своей ленивой походкой, как человек, который взял все наслаждения сегодня и которого ждет неприятное завтра.

VII

Варенька встала поздно. Бедненькая, она не спала почти всю ночь. Страшно ей было одной мысли – любить Тамарина: она чувствовала, что природа дала ей любви только на один раз и что за то велика должна быть эта единственная любовь. Она недавно еще заметила возможность любви, но ей уже было жаль отдать ее, расстаться с сокровищем, которым только может располагать раз в жизни. Еще страшнее ей было отказаться от любви к Тамарину. Ей казалось, что никогда она не встретит столько же богатой, прекрасной натуры, что никто, кроме него, не будет достоин ее сокровища, что умрет без него ее любовь, как бесполезный дар, как зарытые в землю деньги скупого. И долго совершалась в ней внутренняя борьба. Несколько раз она собирала все силы воли и убеждений рассудка, чтобы защитить себя от рождающейся любви; и несколько раз и воля и убеждения ума раздроблялись об прихоти сердца, которое билось под влиянием Тамарина.

К утру она уснула, но и во сне, как наяву,

ей слышалась тихая обворожительная речь, виделся знакомый милый образ.

Она встала, как я сказал, уже поздно, со всем тем она чувствовала какую-то болезненную томность и вместе приятную теплоту. Никогда она не была так интересна. Щеки ее были бледнее обыкновенного, темно-голубые глаза – томны, усталы, как после борьбы. Но борьбы в них уже не было.

Горничная подала Вареньке письмо, оно было от Наденьки; с любопытством, но без нетерпения Варенька распечатала его и читала:

«Ты ли это писала ко мне, Варенька? Ты ли, гордая, неприступная, боишься человека, который хвастался, что он вскружит тебе голову? Что ж он в самом деле за демон, что успел до такой степени приобрести над тобой влияние? Чем он околдовал тебя? Как ты не видишь, что все в этом человеке ложь? Он со своей баронессой просто хотели посмеяться над тобой, а ты ему веришь. Ты была предупреждена его хвастовством и допускаешь обманывать, себя. Как ты не расхохоталась ему в глаза при первой его сентиментальной фра-

зе! Я знаю, Тамарин мастерски притворяется. У него лицо необыкновенно послушно. Оно или ничего не выражает, или выражает то, что он хочет. Оно будет расстроено, спокойно, бледно, весело – наперекор тому, что он чувствует. Знаешь ли, до какой степени он владеет собою? Здесь были проездом два петербургских актера. Мы были в театре, в бенуаре; он в креслах, возле нашей ложи. Давали „Отелло“ и играли прекрасно: у всех были слезы на глазах – он сидел очень веселый. „Вам не нравится игра?“ – спросила я его в антракте. „Напротив, – отвечал он, – пьеса шла удивительно хорошо для провинциального театра“. „Не заметно, – сказала я, – чтобы она вас расстроила“. Он рассмеялся. После этого давали водевиль. В самой уморительной сцене, когда хохотал весь театр, он, бледный, расстроенный, со слезами на глазах обратился ко мне. „Что с вами?“ – спросила я его. „Я вам хотел доказать, что умею быть чувствительным“, – отвечал он и засмеялся. Вот в чем сила твоего демона, который для самолюбия, из эгоизма готов сделать все на свете. Теперь я спокойна: я уверена, что ты другими глазами взглянешь

на него и сама над ним посмеешься. Насмейся над ним, хорошенько насмейся, как ты можешь смеяться, если бы тебе не мешало твое доброе сердечко. Этого человека не стоит жалеть. Варенька, друг мой, одурачь его хорошенько. Прощай.

Toute a toi. Nadine.

P.S. Володя Имшин опять здесь. Как тебе не жалко этого мальчика? Он тебя истинно любит. Он говорил мне, что ты все занята Тамариным, а на него не обращаешь внимания, и что от этого он уехал. Лучше бы ты сделала, если бы слушала Володю; если он не говорит так хорошо и занимательно, как Тамарин, зато он говорит, что чувствует; а истинное чувство по мне лучше красивых ложных фраз».

Варенька прочла письмо, задумалась и сказала: «Поздно!» Потом она посмотрелась в зеркало, увидела свое бледное и интересное личико, так изменившееся в одну ночь, и грустно улыбнулась. Потом сошла вниз к матери, села под окошко и думала: «За что Наденька не любит моего Тамарина?», а сама смотрела на дорогу и слушала, не раздастся ли топот знакомого коня.

Не знаю, действительно ли Тамарин в этот день приехал позже обыкновенного, или время в первый раз в жизни казалось нестерпимо длинно нетерпеливой Вареньке, только ей казалось, что она уже целый век в раздумье просидела у отворенного окна, когда вдали, верхом на сером Джальме, показался Тамарин. Он ехал медленной рысью; видно было, что он не торопился к своей Вареньке, которая ждала его с таким нетерпением. Да и зачем было ему торопиться? Убить только что зародившуюся первую любовь? Дать горя, может быть, на полжизни, не дав ни одной радости? Оттолкнуть от себя чистую неопытную девочку, в то время когда она с краской на лице, с замирающим сердцем, готова сказать первое «люблю». Он еще успеет это сделать; еще рано, еще до обеда у баронессы Сергею Петровичу остается два часа.

Когда Варенька увидела вдали знакомого ей серого коня, она вспыхнула, отодвинулась от окошка, села за рояль и начала перебирать первые попавшиеся ноты. Вскоре собачка Мавры Савишны залаяла, отворилась дверь, и вошел Сергей Петрович.

Он был как и всегда: одет прекрасно. То же бледное холодное лицо, с большими темными глазами и волнистыми черными усиками, та же насмешливо-веселая улыбка на устах, та же простота и грациозность в ленивой походке и движениях, которые делали его типом *du somme faut*.

Ни тени беспокойства, ни тени думы на спокойном челе, как будто бы он приехал на именинный обед.

Сергей Петрович поклонился Вареньке, сказал ей две-три пустые фразы и перешел в другую комнату, к Мавре Савишне. Мавра Савишна приподняла очки и ласково приветствовала Сергея Петровича. Потом он подсел к ней, спросил о здоровье, а она поблагодарила и спросила, началось ли у него жнитво, и зашел разговор о хозяйстве. Мавра Савишна входила во все подробности и тонкости его; Сергей Петрович отвечал общими местами, но так твердо и уверенно, как будто весь век просидел на запашке. Так прошло с четверть часа. И вдруг между фразой «60 снопов с десятины и умолот сам-сем» зазвучал виртовский рояль, и из другой комнаты послышалась пес-

ня Вареньки. Мавра Савишна не закончила фразы и опустила чулок: она не узнала голоса Вареньки! В нем была такая полнота звуков, такая сила, такой грустный и вырвавшийся из души плач, какого она никогда не слыхала. И странна показалась ей эта перемена в голосе дочери, безотчетно забилося сильнее обыкновенного ее любящее материнское сердце, и опустила она чулок, и не окончила фразы, и задумалась Мавра Савишна, слушая песню своей Вареньки. Заметил эту перемену и Сергей Петрович, но он не задумался, и сердце его не забилося сильнее обыкновенного. Он знал, что для него поется эта песня, и слушал ее с вниманием дилетанта, который после доброго обеда сидит очень комфортно в итальянской опере и знает, что для него поют и Виардо, и Рубини, потому что он заплатил за это 8 рублей серебром. Однако под конец и он как будто задумался: едва заметная морщина темной, отвесной чертой обрисовалась между бровей на бледном лбу; но это продолжалось недолго. Голос смолк, Тамарин встал, встряхнул светлыми кудрями и как будто этим движением сбросил темную думу. Веселый и спо-

койный, он подошел к Вареньке.

– Вы сегодня особенно в голосе, Варвара Александровна: вы пели так хорошо, так хорошо, что мне невольно пришла в голову нескромная догадка.

– Интересно было узнать, что это за догадка? – спросила Варенька.

– Я вас предупредил, что она нескромна.

– Все равно, посмотрим; я любопытна, как мужчина...

– И хотите, чтоб я был болтлив, как женщина.

– Благодарю за комплимент; однако ж ваша догадка?

– Я думаю, что так петь, как вы сегодня пели, может только та, которая любит.

Варенька два раза изменилась в лице.

– Так вы думаете, что я влюблена? – сказала она, смеясь.

– Почти убежден – отвечал Тamarin.

– В кого же, например?

– Да хоть бы в Володю Имшина.

Вместо ответа Варенька улыбнулась насмешливо, выдвинув вперед нижнюю губку.

– Если эта улыбка чистосердечна, так я не

хотел бы быть на месте Имшина, а между тем он не заслужил ее, – сказал Тамарин.

– Давно ли вы к нему так расположены?

– Не столько к нему, сколько к вам.

– Объясните, пожалуйста: это что-то не совсем ясно.

– С удовольствием, но это немного походит на наставление, и крайне неблагодарно платить этим за ваше пение.

– Хотя я и не совсем люблю наставления, но думаю, что мое пение не стоит большой платы; объясните же.

– Вот видите ли, в природе уж так заведено, что по крайней мере раз в жизни, а случается и больше, мы непременно должны любить.

– Почему ж и непременно?

– Да хоть потому, что любовь есть жизнь сердца; а как человек, чтобы жить вполне, должен жить и умом и сердцем, следовательно, он должен любить. Не правда ли, что это ясно?

Варенька вполне была бы убеждена и без силлогизмов, потому что сердце ее сильно билось в груди; она догадывалась, что разговор

идет к какой-то цели, и с тайной надеждой слушала Тамарина; только странен и неприятен казался ей тон его разговора.

– Очень ясно, дело идет об Имшине, – сказала Варенька.

– Да, или, точнее, о вас. Раз в жизни – если вы еще никого не любили, то вам придется любить, и для вашего счастья я желал бы, чтобы вы полюбили Володю.

– Отчего же именно его?

– Оттого, что он простой и добрый малый: от жизни и любви он требует немногого. Я завижусь людям, созданным, как он. Он вас любит и будет любить просто, без претензий, без тяжелых требований. Вы во всем выше его и потому сохраните над ним больше влияния. В любви, как и в дружбе, один непременно раб другого. Поэтому если можно выбирать, так лучше быть господином, чем слугой. Вы его тоже полюбите, потому что его не за что не любить, будете счастливы, женитесь, а меня возьмете в шаферы.

Вареньке было досадно, а между тем она невольно улыбнулась: ей вспомнилось письмо Наденьки, в котором она заступалась за

Володю.

– Знаете ли, мр. Тамарин, что не вы одни хлопчете за Имшина: я недавно получила письмо, в котором мне дают почти такие же советы.

– Не от вашей ли подруги Надежды Васильевны?

– Вы угадали.

– Очень рад, что хоть раз в жизни сошелся с ней во мнениях; но я говорю серьезно, отчего вам не любить Володи?

– Хорошо, и я вам буду отвечать серьезно. Разве можно заставить себя любить кого-нибудь? Да и за что же любить Имшина?

– Любовь – привычка; поверьте, можно любить каждого, нужно только немного доброй воли. За что, вы спрашиваете. За то, что у него доброе, неиспорченное сердце; за то, что он очень недурен собой и любит вас, как только умеет любить.

– Должно сознаться, огромные права! – сказала Варенька с досадой. – Послушайте, я буду с вами говорить откровенно, хотя вы, может быть, этого и не стоите, потому что сейчас высказали обидное мнение обо мне. Неужели

Вы думаете, что я так мало ценю свою любовь, что брошу ее первому влюбленному мальчику за то, что у него розовые щеки да доброе сердце? Вы ошибаетесь, тт. Тамарин, если думаете, что я так низко ценю себя.

Если я полюблю кого-нибудь, так полюблю человека, а не хорошенького мальчика, человека, который бы стоил моей любви и знал ей цену, точно так же, как знал бы цену и себе, — человека, которому бы свет и люди известны были не понаслышке и который бы понимал, что любовь иной деревенской девочки может быть и глубока, и сильна!

Щеки Вареньки покраснелись, голос дрожал, и на глазах готовы были навернуться слезы от грусти и досады. Она была хороша до того, что я бы упал перед ней на колени, а Сергею Петровичу хотелось улыбнуться. Слова Вареньки хоть не были согласны с его желанием, но они ему тайно льстили: в них он уже видел свое влияние, а в последнем намеке прочел более любви и досады, чем правды. Но вместо улыбки лицо его сделалось грустнее.

— Вы меня не поняли, Варвара Алексан-

дровна, и нашли обидный смысл в словах, которые были высказаны из желания добра, из искреннего желания добра. Кто вам говорит, что вы не стоите человека и с глубоким умом, и с высокой душою, – человека, который и жил, и страдал, и, как вы говорите, знал бы цену себе? Я не сомневаюсь, вы достойны такого человека и сумели бы любить его. Но знаете ли, каков этот человек? Он с умом, с душой и знает себе цену, а следовательно, он уже горд, самолюбив; видел свет и людей не в одних романах: этого слишком достаточно, чтобы быть эгоистом; жил и страдал – значит, много, много утратил и живых сил, и теплых верований, и светлых надежд. Нет, Варвара Александровна, верьте мне, не ищите подобных людей: они далеко выходят из дюжины и посредственности; раз сойдясь с ними, вам Имшины покажутся мелки и ничтожны; но тяжела встреч; подобными людьми! Для них созданы женщины светские, которые любят по мерке, владеют и своей мыслью и своими чувствами, или другие женщины, как они же, выстрадавшие опытность, закаленные в горе, для которых не ново никакое страдание, кото-

рые не разобьются ни от какого столкновения. Любовь этих людей – тирания; требования невыносимы: они не дадут вам ничего, кроме страданий. Верьте мне, Варвара Александровна, умейте довольствоваться немногим, и вы будете счастливы; если же вы встретите подобного человека, отвернитесь от него, пока есть время, и трижды отрекитесь от всякого к нему чувства!

Трудно передать, что в это время было с Варенькой; она чувствовала, что в словах Тамарина много правды, но не они пугали ее; ее пугала цель этих слов; она смутно догадывалась, что Тамарин готовится ее к чему-то недоброму; мучительное сомнение тяготило ее; она решила скорее выйти из него – к чему бы то ни было и обратилась к Тамарину.

– Послушайте, – сказала она, – в ваших словах много правды, но они ничего не доказывают: одна любовь мало требует и мало дает, другая требует много, зато и дает много. Скажите же прямо, к чему вы мне говорили все это?

И Варенька пристально смотрела в глаза Тамарина, как будто в них хотела вычитать

его тайную мысль; но глаза его ничего не высказывали.

– Я желаю вам добра и счастья и хотел только предупредить вас, – сказал он.

– В любви, я думаю, есть одно самое страшное несчастье – когда ее не разделяют, – сказала Варенька не подумавши. – Если бы я встретила человека, выходящего из толпы, – человека, который и жил и страдал и уже устал от этой жизни, как вы думаете, мог ли бы он полюбить меня?

Варенька старалась высказать этот вопрос шутя, как ничего не значащую фразу; губы ее улыбались, но они были бледны; она рассеянно смотрела на Тамарина, но, сделав вопрос, сама испугалась его. Ей до сих пор не приходило на мысль, что Тамарин может не любить ее. Ей казалось, что Тамарин искал ее любви, он давно уверял ее, что не любит баронессу, что никого не любит, она ему верила и боялась только своей любви, а никак не его равнодушия. Но предыдущий разговор смутил ее; сомнение уже запало в ее душу, и вдруг ее поразила мысль: что, если Тамарин откажется почему-либо от ее любви? Что, ес-

ли он скажет, что не любит ее, что не может ее любить? И Варенька, как приговоренная, ждала ответа, а между тем бледное личико ее улыбалось и рука рассеянно перебирала клавиши.

Неприятно было положение и Сергея Петровича: что ни говорите, а отказаться от любви молоденькой, хорошенькой девочки, особенно в то время, когда никем не занят, зная, что этим разобьешь ее первые мечты, принесешь много, много горя, должно быть невесело. Впрочем, не знаю! Со мной подобных вещей не бывало. Но думаю невесело, потому что и Сергей Петрович задумался; в другое время он бы отделался какой-нибудь двусмысленной фразой или обиняком, но тут другое дело: он дал слово баронессе отказаться от Вареньки и должен был сдержать его. Впрочем, Сергей Петрович думал недолго; это было не его характере.

– Если бы вы встретили подобного человека, – сказал Тамарин, – он бы вас не полюбил.

– Отчего же это? – робко спросила Варенька. В это время дверь отворилась, и ваш почтеннейший слуга своим приездом нечаянно

прервал их разговор.

По утру мне вздумалось побывать у Сергея Петровича; его я не застал дома и проехал к Мавре Савишне. Я еще тогда ничего не знал, что творится вокруг меня, и в невинности души не дума; что приехал не вовремя. Но, видно, мне было на роду написано играть роль в этой грустной комедии. У меня Варенька видела в первый раз Тамирина, я познакомил его с ними, и я должен был еще раз олицетворить собою тот случай, который всегда является неожиданно в пятом акте драмы, для развязки.

Я поздоровался с Варенькой, но ее бледное, взволнованное личико поразило меня.

– Что с вами, Варвара Александровна? – спросил я. – Вы сегодня ужасно бледны.

– У меня с утра болит голова, – отвечала она, – ничего, это пройдет.

Я догадался, что творится что-то недоброе для моей Вареньки, и с невольным упреком посмотрел на Сергея Петровича. Он в это время закуривал папироску и с обыкновенной флегмой протянул мне свою маленькую руку.

– Здравствуйте, Иван Васильич! Откуда

ВЫ?

– Я был у вас сейчас.

– Жалею, что сделали напрасный визит.

– Не совсем напрасный! – отвечал я. – При мне привезли вам письмо из Лункина, и я взялся его доставить.

При этом я вынул из кармана письмо и отдал его Сергею Петровичу.

Письмо было от баронессы: я узнал его по почерку и облатке и нарочно взял с собой, чтобы отдать при Вареньке: мне казалось, что Тамарин обманывал ее, скрывая свои сношения с баронессой, и я хотел его вывести на свежую воду. Но письмо произвело эффект только на Вареньку: она вспыхнула как румяная заря; а Сергей Петрович посмотрел на адрес, попросил позволения прочесть и отошел в сторону...

Я смекнул, что дело не обойдется без объяснений, и ушел поскорее к Мавре Савишне.

VIII

Сергей Петрович распечатал конверт и вынул два почтовых листа, кругом исписанные; он нашел не простую записку, как он мог думать, а огромное письмо. А это ему, кажется, не понравилось, потому что на его гладком лбу пробежала отвесная морщина — единственный признак неудовольствия или думы. При шелесте развернутой бумаги Варенька невольно взглянула на письмо: оно было исписано вдоль и поперек, как пишут только женщины; почерк тонкий, бумага как батист, которая может разорваться от одного прикосновения мужского пера. Она сообразила все это в мгновение и не могла остаться дольше в комнате; ей стало душно. Она отворила дверь на террасу и вышла в сад. Тамарин читал:

«Мои предчувствия сбылись: любовь этой девочки принесла мне несчастье. Я погибла, Тамарин, погибла, потому что расстаюсь с тобой, быть может навсегда! Муж мой узнал все; он везет меня. Вокруг меня увязывают вещи, готовят экипаж люди не понимают при-

чины отъезда и ходят как растерянные; барон бранит их. Но какое мне до них дело! Я сказала, что лягу спать, заперлась на ключ и пишу к тебе. Голова моя кружится, а мне надо сказать тебе многое, многое; это, быть может, мое последнее письмо; Бог знает, увидимся ли мы еще!

Тяжело припоминать то, что лежит пятном на совести, что хотелось бы забыть навек: но я все, все припомню пред долгой, а может быть, и вечной разлукой. Не знаю, анализировал ли ты себя, следил ли за странным переворотом, который совершился в тебе, или тебе было лень заняться собою и ты к себе охладел, как и к другим? Но я, я знаю тебя, я знаю тебя лучше, чем ты сам. Любовь дала мне то двойное зрение, которым читают всю внутреннюю жизнь человека; ею я поняла твое прошлое так же, как настоящее, с ужасом уразумела ту роль, которую когда-то играла в твоей жизни, и с грустью поняла то, чем я стала теперь для тебя.

Помнишь, когда сошлись мы в первый раз? Я была невестой, с громким именем и хорошеньким личиком; ты был только что вы-

пущен в офицеры. Тебя тогда уже товарищи называли демоном; они не знали, сколько было верного в этом имени, а дали тебе его потому, что видели твой ум, везде, во всем одни только ум; но они не видели твоего сердца, а у тебя было чудное сердце, нежное и раздражительное до болезненности. Я сама тогда не знала и не понимала его. Ты полюбил меня — за что, не знаю, — но ты меня полюбил так, как никогда не любил прежде и как теперь не в состоянии больше любить. После, гораздо после, в долгие дни разлуки с тобой, я поняла эту любовь. Ты мне нравился, мне нравилось твое спокойное, благородное лицо, невольно обвороживала страстная, увлекательная речь, которая составляет твою главную прелесть; но я любила той ветреной любовью, которая ни к чему не обязывает и у женщин начинается за мазуркой, а кончается вместе с зимою, а у мужчин называется волокитством. В это время барон сделал мне предложение; он был богат, у моих родных не было ничего, кроме долгов и громкого имени; он был стар, но мне улыбалась молодость, свобода и весь заманчивый блеск света. Я вышла за него. Это

была первая рана, которую я нанесла твоему самолюбивому, болезненно-раздражительно-му сердцу. Отчего это? Чем оскорбил твое самолюбие этот брак? Ты на мне жениться не думал, ты знал, что вдвоем, почти без содействия, с нашими привычками, мы были бы несчастливы. Отчего же этот брак так ударил в твое сердце? Или тебе было бессознательно досадно, что другому достается за богатство то, на что тебе давала права любовь? Говорят, мужчины всегда завидуют, когда хорошенькая девочка выходит замуж. Если так, то мое замужество должно было тебе быть больно. Но рассудок говори тебе, что этот брак по необходимости, что не я предпочла тебе другого, а мои родные обвенчали меня с чужим богатством. И ты продолжал любить меня; но любовь твоя сделалась притязательнее, капризнее, лихорадочнее. Мне это не понравилось. Вокруг меня вилась веселая, красивая молодежь, которая любила так легко, так мило, так нетребовательно. Особенно в обществе, на балах, твоя любовь была тяжела; она дурно шла к лядовской кадрили и кружевам и тяготила меня.

Тогда я променяла тебя...

Простишь ли ты мне, Тамарин, это слово? Мне кажется одного его, одного напоминания достаточно для твоего самолюбия, чтобы снова восстановить тебя на несколько лет. Что я тогда сделала с тобой, мой добрый друг, мой злой демон! Какое оскорбление я нанесла твоему страшному самолюбию! Как беспощадно попала твое мягкое, детское сердце! Клянусь тебе, я не знала, я не понимала, не могла еще понять тебя тогда. Впрочем, к чему уверения? Ты сам это знаешь и все-таки не переменишься. Поздно! Поздно!

Несколько месяцев тебя нигде не было видно... Что ты пережил в эти месяцы? Потом, когда я тебя встретила в свете, для меня ты был неузнаваем. Ты был и весел, и мил, и чудно увлекателен; ты имел все достоинства светского человека и облек ими свою прежнюю мощную, высокую натуру. Но ты страшно облек себя светскими условиями и приличиями. Из-за них не прорывалось ни одно свободное чувство, ни один сильный порыв, который бы не подходил под устав света; ты стал типом умного, высокого *du comte il*

faut – как это слово странно звучит с твоей прежней смелой, свободной натурой! И вот, изменившись, преобразясь, ты снова стал в толпе моих поклонников. Зачем ты это сделал? С досады, из любви или мщения? Тогда я увидела разницу между тобой и другими: ты головой был выше всех. Я прозрела, я любила. Но было уже поздно! Тогда я только узнала любовь, и чем более я тебя знала, тем более любила; я тебе отдалась вся, вся... Теперь я удивляюсь, как ты не оттолкнул меня тогда! Как ты на слова любви не ответил мне укором и презрением! Но ты отомстил хуже.

Ты от меня взял все и ничего мне не дал. Тогда, как и теперь, твоя чудная двойственная натура, заманчивая странным столкновением противоположностей, влекла к себе, невольно обещала что-то высокое, прекрасное – и давала только холодную, мертвую любовь. Боже мой, что я с тех пор вынесла! Но я не ропщу, я не виню тебя: я, одна я всему причиной. Это я все сделала. Мне только хочется припомнить все, что пережили мы вместе.

Потом эта последняя вспышка твоей прежней природы. Бездушный, о котором я думала,

что любила, похвастался перед тобой моей любовью и назвал тебя своим преемником. О! Клянусь тебе, Тамарин, он никогда не был для меня тем, чем ты стал для меня, – моим идеалом, моим добрым гением, моим черным демоном! Но он во многом был прав. Отчего ты это сделал? Счел ли ты его слова за клевету, не зная, что я так низко упала, или в тебе пробудился остаток прежней любви и не вынесла твоя гордая натура поругания имени, которое она носила, может быть, еще глубоко, глубоко, где-нибудь на дне сердца? Или просто это был порыв оскорбленного самолюбия, при мысли, что не ты был первым?..

И мы расстались. Я помню это прощание: я плакала, я не понимала себя... стыд, угрызения совести, любовь, жгучая любовь. Ты был скучен, зол и равнодушен, а между тем ты хотел быть ласков! Твой последний поцелуй был холоден, как первый поцелуй нашего свидания. Без тебя я хлопотала о твоём прощении... не для тебя, нет. Собственно для себя. Мне было сладко быть чем-нибудь в твоей жизни, больно и отрадно произносить вслух твое имя. Все думали, что я хочу загладить

свое прежнее поведение, поправить репутацию... что мне в ней!

И вот мы опять свиделись, чтобы снова расстаться, и, может быть, уже навсегда. Ты мало изменился, только еще более охладел, изленился жить и чувствовать.

Было ли это следствием прошлого, или и другие, как я, дали тебе, мой бедный друг, еще горький урок, еще тягостное убеждение, что жить и чувствовать значит страдать, что тяжело жить тому, кто наказан понимающей себя высокой натурой и имеет право быть страшно самолюбивым. Я тебя не спрашивала об этом: я боялась пробудить прошедшее.

Боже мой, стучатся. Пора! Пора! А мне хотелось еще так много сказать тебе. Что ждет меня? Впрочем, я рада, что муж все знает.

Будет мне его обманывать. Мне легче, что я перед ним, как и перед светом, могу сбросить тяжелую маску.

Только теперь он будет вечной преградой между нами. Я для тебя буду ничто, ничто, как заживо умершая! Это ужасно! Только иногда разве ты невольно вспомнишь обо мне, но как обо мне ты вспомнишь? Бога ради, не

поминай меня дурно! Неужели я еще не выкупила своей вины? Да я не виновата: я была тогда другая, я была тогда для тебя тем черным насланием судьбы, которым ты был для меня во всю жизнь и чем будешь для других. Для других-то за что? Я хотела просить тебя, да нет, не нужно. Вчера я также приходила просить, но это было гибельно для меня. Верно, так уж надо, чтобы все так шло.

Люби Вареньку, если можешь любить, позволь и ей любить себя.

Быть может, она даст твоему сердцу ту жизнь, которую отняла я у него. Тогда я первая благословлю ее. Если же нет, что же? Ведь надобно ей когда-нибудь страдать. Ведь страдали же и ты и я!

Опять стучатся! Это голос барона... проси прости, прости твою Лидию.

Лошади поданы, мы сейчас едем; шесть часов утра. Ты еще спишь теперь, Тамарин, я тебя не увижу!»

Пока Тамарин читал письмо баронессы, Варенька ходила по саду. Что пережила она, бедненькая, в эти два часа с приезда Тамарина!

В жизни чувств, как в жизни растений, есть не уловимое мгновение, в которое они, как пунцовый цветок, прорвавший зеленую почку, вдруг являются на Божий свет, и все тайно вскормленное и бессознательно выношенное в сердце становится очевидностью. Этот фазис поутру в тот день пережила Варенька.

Еще накануне она легла в томительном незнании, еще ночью, как неясные грезы, неясны были ей чувства. Она проснулась, открыла глаза, взглянула на светлый день – и увидела, что она любит. Она не могла дать себе отчет, когда, давно ли полюбила Тамарина. Ей было ясно одно – что она его любит.

Еще поутру, сидя под окном, склонив на маленькую ручку свою хорошенькую головку и поджидая Тамарина, она раздумывала о своей любви.

Мысли и мечты ее были тихи и чисты, как ее любовь. Она не испугалась ее. Она не знала, что есть на свете ревность, неразделенная любовь, разлука, забвение, предпочтение другой и еще целая бездна этих фурий, которые по пятам ходят за любовью и готовы вместе с

ней ворваться в сердце, чтобы истерзать и изгрызть всю его внутренность. Она ничего этого не знала. Она думала, что можно весь век пролюбить милого, поджидая его с уверенностью, что он сейчас приедет, или просиживая с ним целые дни да слушая его лихую заколдованную речь.

А между тем Тамарин ехал медленною рысью и вез ей много новых ощущений, которых дай бы Бог и во век не перечувствовать. Прошло часа два с его приезда, и они не были тайной для Вареньки. Много пережила она в эти часы. Сначала ей было досадно, что Сергей Петрович прошел почти не останавливаясь мимо нее и уселся с Маврой Савишной; потом этот странный загадочный разговор с ним! И только что в конце разговора, как змея, уколола ее в сердце мысль, что Тамарин не любит ее, отнимает у нее даже надежду на свою любовь, в это время ему подают женское письмо, письмо из Лункина, значит, от баронессы, от женщины, которая его любит и которую, может быть, и он любит тайно!

Варенька несколько раз прошлась бессознательно по аллеям. Она не знала, где она,

что с нею, только чувствовала, что любовь ее вдруг выросла целыми годами. Мысли неясно проходили в голове, но ни на одной из них она не останавливалась: в груди что-то жало и давило ее; ей как будто хотелось плакать, но плакать она не могла; только две слезы выступили и повисли на длинных ресницах, те слезы, которые выжимаются из глаз физической болью и нисколько не облегчают страданий. Тамарин нашел ее в самом темном углу сада, сидящую на скамейке; вокруг нее на земле лежали листочки оборванной георгины, в руке она держала оципанный стебелек.

– Вы здесь! – сказал он, подходя к Вареньке. – Насилу-то я нашел вас.

Варенька оправилась.

– Я нарочно ушла сюда: там жарко, а у меня нестерпимо болит голова.

И она приложила к бледному горячему лбу свою холодную ручку.

– От кого вы это получили письмо? – спросила она, стараясь как можно равнодушнее сделать вопрос.

– От баронессы, – отвечал Тамарин.

У Вареньки еще больше сжалось сердце:

она знала чье это письмо, но не ожидала, что Тамарин назовет баронессу.

– А! Вы с ней в переписке! – сказала она холодно.

– Да; я с баронессой так давно и хорошо знаком, что она считает себя вправе, откинув церемонию, если встретится надобность, обращаться прямо ко мне.

– Письмами, на двух листах! – заметила Варенька.

– Я редко пользуюсь этой честью, – сказал Тамарин. – Сегодняшнее письмо – исключение. Баронесса уехала, я не знал о ее отъезде и потому не успел быть у нее: она хотела на прощание сказать мне несколько слов и объяснить свой отъезд.

Варенька встрепенулась как птичка.

– Баронесса уехала! – сказала она. – Как, куда это? Да так нечаянно!

– Она уехала в Петербург, – отвечал Тамарин. – Барон скрутил отъезд. Вчера с вечера они еще и не думали о нем. Но сегодня ночью ему представилась какая-то крайняя надобность. Вероятно, он получил эстафету, и в шесть часов они уехали.

– Баронесса уехала? – повторила Варенька. – И надолго?

– Не знаю, – отвечал Тамарин, – может быть, до следующего лета, вероятнее навсегда. Что она вас так интересуется?

Вареньку действительно интересовала баронесса, хотя они почти не виделись. Есть тайная связь между женщинами, которые любят или любили одного и того же мужчину. Каждая из них желает выведать его мнение о другой, инстинктивно понимая, что в подобных обстоятельствах с нею могут поступить, как поступили с тою.

– Мне страшно, – сказала Варенька, – что вы так равнодушно говорите о ее отъезде; неужели вы не жалеете о нем?

– Напротив, очень жалею! – отвечал Тамарин. – Да что же делать? Ей надобно ехать в Петербург – мне оставаться здесь. У всякого свои обязанности, свои интересы. Случай свел нас, случай развел. Я немного фаталист: думаю, что все делается потому, что надо, чтобы все так делалось. И потом, Боже мой! Сколько бы горя и тоски прибавили мы себе, если бы допускал себя живо принимать к

сердцу разлуку или потерю всего, к чему привыкаем. А к чему не привыкаем мы?

Вареньке было грустно слушать эти слова, от которых так и веяло душевным холодом, и вместе отрадно: они усыпили ее ревность к баронессе. Варенька верила Тамарину и по влиянию, которое он имел на нее, и потому, что ей хотелось ему верить. Она не думала больше о баронессе, а думала только о себе: о том, что все-таки он и ее не любит.

– Вы странный человек! – сказала Варенька. – Я вас совсем не понимаю. Мне говорили о вас как о человеке без сердца.

– Добрая Надежда Васильевна! – заметил Тамарин.

Варенька улыбнулась и продолжала:

– Но это неправда. Во-первых, вы добры.

– Вы говорите колкости, Варвара Александровна! – сказал Тамарин.

– Ничуть. Все окружающие вас любят: это общий голос тех, кто вас знает на деле. Вы злы только на словах. Во-вторых, вы благородны; и потом, я не верю, чтобы мог существовать человек без сердца. Это что-то уродливое, неестественное. Отчего же эта все-

гдашняя холодность ко всему, в чем есть жизнь и чувство? Отчего это редко, редко и то как будто нечаянно, когда мы вдвоем, у вас вырвется задушевное слово, теплое чувство? За что вы наложили на себя такой тяжелый крест! Зачем стараться так холодно, так издали смотреть на все! Неужели вам не скучно так жить? Как будто для вас и солнце не светит! – сказала грустно Варенька, вздохнула и опустила голову.

Тамарин как-то добродушно посмотрел на нее. Во-первых, как человек самолюбивый, он очень любил, когда говорили о нем; во-вторых, его, кажется, затронула эта любовь, это детское участие Вареньки, которой она ничего не доказала, кроме бесстрастного внимания.

– Скучно, невыносимо скучно! – сказал Тамарин. – Да что же делать! Я не всегда был таков; я верил много, но все, во что я ни верил, меня обмануло: и чем сильнее я верил, тем горше было разуверение. Я странно создан – сердце у меня страшно привязчиво. От этого я всегда всей силой воли держу его от увлечений; не всякому достается на долю встретить

В самом начале жизни чистое, не испорченное светом существо, которое, раз полюбив, любит навек, и любит не понемногу, не столько, насколько позволено любить приличиями, а любит всеми силами души. И потом, встретив такую женщину, надобно редкое счастье обратить именно на себя эту любовь. Мне не выпал этот жребий, да и вряд ли уже и выпадет. А между тем все надеешься, все ждешь чего-то, а без этого не стоило бы и жить. Вы любили когда-нибудь? – спросил Тamarin, вдруг обратясь к Вареньке.

Варенька побледнела, как утренний месяц. Она так много выстрадала в эти часы, что сердце ее начало осваиваться со страданием, и вдруг что-то отрадное, что-то похожее на надежду мелькнуло перед нею; но она боялась верить ей; ей послышались опять эти холодные мертвящие слова: «Если вы встретите подобного человека, он вас не полюбит».

– Что вам до меня! – сказала она и с грустью, и с горечью. – Для меня хорошенькие мальчики с розовыми щеками и маленькими страстями: я не для людей с глубокими чувствами и высокой душой, как вы, например. –

И Варенька постаралась насмешливо улыбнуться. – И они не для меня, вы сами это сказали!..

– Я говорил не о себе, – сказал Тамарин, – я о себе совсем невысокого мнения, и притом вы меня не дослушали: Иван Васильич помещал. Люди, о которых я вам говорил, не полюбили бы вас потому, что не узнали и побоялись бы отдать вашему детскому постоянству бедный, последний остаток своей веры... А между тем, Боже мой, сколько счастья тому, на кого падет ваша первая любовь! Сколько бы новых сил, сколько бы утраченных убеждений возвратила она!..

Тамарин задумался; он долго смотрел на Вареньку, потом тихо взял ее руку.

– Любите меня! – сказал он почти шепотом.

Варенька была как в огне – ей казалось, что кровь жгла ее.

Такой резкий переход от ревности и безнадежности к полному счастью отуманил ее. Она не знала, что отвечать, что делать. Прежде ее девственная застенчивость не допускала мысли сказать «люблю» молодому человеку. Теперь вся подавленная любовь

еще сильнее, еще своевольнее просилась вырваться наружу. Голова ее горела; она не отнимала руки и молчала.

– Любите меня хоть немного! – сказал Тamarin. Голос его был чудно нежен; он смотрел на нее, и в его глазах был какой-то тихий, ясный свет.

Варенька смело приподняла головку, щеки ее горели, рука была горяча. Она взглянула прямо в лицо Тамарину своими светлыми темно-голубыми глазами и, как наивный ребенок, с любовью отвечала:

– Разве вы не хотите, чтоб я вас много любила?

IX

Вскоре после этого мне как-то вздумалось побывать у Володи Имшина; он был у меня несколько раз, и мне надо было заплатить ему визит: деревня деревней, а и в ней есть визиты. Его именице было недалеко за Неразлучным Мавры Савишны. Он жил в небольшом флигеле. Старый дедовский дом стоял с закрытыми ставнями и заколоченными дверями и, разрушаясь, ждал, пока его сломают.

Взглянув на этот дом, мне стало грустно: я вспомнил, когда бывал в нем еще мальчиком у дедушки Володи. Он жил барски, на большую ногу, и проживало в нем полторы тысячи душ. Тогда этот дом кипел жизнью и был сборным местом всех окружных помещиков. Теперь он угрюмо, как будто нахмурясь, стоял посреди большего двора и, казалось, с презрением смотрел сквозь закрытые ставни на маленький флигель. Мне кажется, если бы встал из гроба его старый барин, точно так же бы взглянул он в лицо своего внука, на молодое тщедушное поколение, которое живет при-

жавшись и сегодняшним займом прикрывает вчерашние прорехи, забыв, старый кутила, что он сам же этому причиной.

Володю я застал одного: он лежал на постели и читал в июле одну из первых книг какого-то русского журнала. Володя незадолго перед тем возвратился из города, то есть из губернского города, в который он ездил часто, но ненадолго. Эти лихорадочные поездки лучше всего обрисовывали его характер. Он был из тех, которые не в состоянии ни примириться с неприятным положением, ни идти против него. Володя уезжал в город, потому что Варенька скучала с ним и отдавала видимое преимущество Тамарину, и вскоре возвращался назад, потому что в городе ему было скучно и ему хотелось опять увидеть Вареньку. Володя, должно быть, ужасно скучал; он мне обрадовался, принял меня весьма радушно и, кажется, был очень доволен моим посещением; но он не умел принимать. Домом управляла его старая нянька. В хозяйстве у него была смесь женатой домовитости с бездомностью холостяка; оно, как и сам Володя, не принадлежало веку: не было у него ни раз-

машистого, нерасчетливого обилия, ни уютного комфорта. Я приехал к нему после обеда. Он показал мне свою небольшую псарню и бедный конский завод, разрушившиеся и умаленные дедовские заведения. Уходясь, мы возвратились в комнаты, и нам подали чай. Чай и трубка располагают к откровенности; разговор от гнедо-карих жеребят и половых щенков перешел к предметам более интересным и, как говорят, животрепещущим. Речь шла о соседках.

Володя сначала жался, но потом стал откровеннее: видно, ему давно хотелось высказаться, но не было кому; за неимением другого, он был откровенен со мной.

– Давно вы были у Мавры Савишны? – спросил он меня.

– Давно не был: недели две. А вы?..

– Я был недавно, но ненадолго; впрочем, я ныне к ним редко езжу.

– Отчего же это? Прежде, кажется, было не так?..

– Прежде было не то! – грустно отвечал Володя. – Прежде там была Варенька; теперь она стала Варвара Александровна, из ребенка она

стала девицей, у нее и привычки переменялись, и вкус стал другой. Теперь ей не нравятся те, которые играли с ней в куклы и росли вместе. Ей надобно новое, оригинальное. Где ж нам быть оригинальными! – сказал Володя с горькой усмешкой.

Видно было, что он досадовал и в последнем слове крепко проявлялось желание зло состричь насчет Тамарина. Да не его это было дело: он был рожден просто добрым мальчиком. Мне невольно пришло в голову, что, если бы на его месте был Сергей Петрович, уж отделал бы он кого захотел.

– А что, Иван Васильич! – продолжал он. – Как вы думаете, любит Варенька Тамарина?

– Любит, – отвечал я, – очень любит! Да и за что ж ей не любить его: она же такая добрая.

– Нет... не то: я хотел спросить, любит ли она, то есть влюблена ли она в него?..

– Ну, этого не думаю, – сказал я. – Варвара Александровна – девица тихая, милая, любящая, но не пылкая. Не думаю, чтобы она увлеклась кем бы то ни было.

Володе хотелось верить моим словам, как

и мне самому, может быть; но действительность плохо оправдывала их.

– Нет, Иван Васильич, нет! Кажется, вскружил он ей голову! А жаль ее, право жаль! И что она нашла в нем? (Володя, видимо, избегал произносить фамилию Тамарина, как будто это имя кололо его.) Что он? Эгоист страшный, смеется надо всем, – и над ней будет смеяться после. Вы думаете, он ее любит? Нисколько не любит! Он так только, чтобы время убить. А она ему верит... У него и намерений благородных нет. Он на ней не женится, право, не женится, – вот, вспомните меня... Если бы можно было, я бы его... Да мне и придаться к нему нельзя: всегда такой вежливый; впрочем, его и не запугаешь: он уж обстрелянный гусь! А жаль, право, жаль, да нечего делать! – сказал он, вздохнув.

И мне было жаль Вареньку, потому что много правды было в словах Володи; но еще более мне было жаль самого его. Видно было, что многое шевелилось в душе его, и многое хотел бы он высказать, да не мог.

Есть же такие бедные натуры, которым природа отказала в возможности проявлять

наружу свои чувства, вероятно, найдя этот дар бесполезною для них роскошью, как будто предугадывая, что свет немного потеряет, если останутся для него тайной эти мелкие чувства и ощущениеца.

Я недолго пробыл у Володи. Солнце начало садиться, я велел подавать лошадей. Когда я сел в тарантас, Володя спросил меня, скоро ли я буду у Мавры Савишны. Я отвечал: вероятно, скоро.

– А вы? – спросил я его.

– Я... не знаю, – сказал он, – что мне там делать! Поехал бы в город, да здесь уборка задерживает, это скучно... Да и в городе, впрочем, скучно! – прибавил он, как будто про себя.

Он остановился, хотел, казалось, еще что-то сказать, замялся – и не сказал ничего. Я подождал немного, пожал ему руку и сказал: «Пошел!» Мне было жаль Володю.

Было уже поздно, когда я подъезжал к Неразлучному. Солнце садилось; свежий ветерок отраднo пахнул в лицо после жаркого дня. Вечер был чудесный; бойко катился мой тарантас по тройной колее узкого проселка. Я

въехал в рощу. Вдруг, сзади меня, с боковой дороги, я слышал топот, обернулся и ахнул от удивления. В черной амазонке и мужской соломенной фуражке, на сером Джальме скакала Варенька. Рядом с нею, на черном как смоль коне, ехал Сергей Петрович, а сзади, на длинноногой старой рыжей лошади, в армяке, ехал кучер, – как говорится, на случай. Поравнявшись со мной, Варенька узнала меня и ловко осадилась на лошади. От этого толчка тоненькая талия ее погнулась, и она покачнулась на седле как цветок на стебле.

– А! Иван Васильич! Откуда вы?

– От Имшина, – сказал я.

– Поедьте к нам, чай пить.

– Не поздно ли? – Жена будет сердиться.

– Ничего, поедьте, татап будет вам очень рада. Да? Мы вас будем ждать!.. Посмотрите, хорошо я езжу?

Она толкнула лошадь и понеслась; вслед за нею, кивнув мне головою, понесся и Тамарин. Кучер отстал от них, а они мчались. Неясно, как в сновидении, виднелась и колебалась передо мною в густом тумане стройная фигура Вареньки. Рядом с нею, на черном

как смоль коне, летел Тамарин. Даль слила промежутки, который разделял их; серый Джальма был почти не виден, пыль густым облаком стлалась в ногах; и вот, сквозь вечерний туман, в тесной раме двух рядов вековых зеленых сосен, мне казалось, я видел картину из немецкой баллады, читанной в детстве. Далеко впереди, черный всадник на черном коне как демон мчался по воздуху, и возле него стройная женская фигура неслась и колебалась, как будто он держал ее невидимыми руками, как будто он уносил ее куда-то с собою. Я вспомнил прозвание, данное еще в школе Тамарину, цену, которую шутя назначил он за своего Джальму, и сердце грустно сжалось во мне: я не знаю, почему мне стало жаль бедную Вареньку.

Подъезжая к Неразлучному, моя пристяжная оборвала постромку; это задержало меня несколько минут, притом же я и ехал несгорро. Поэтому, когда я вошел в чайную Мавры Савишны, я нашел всех уже вокруг стола за самоваром. Группа была чудесная.

Мавра Савишиа, в чепце, из-под которого выбивались седые волосы, со своим добро-

душным, спокойным лицом, как патриарх семейного кружка, сидела в сафьянных вольтеровских креслах. Возле нее на столе лежали очки и чулок – ее неразлучные атрибуты; у нее на коленях собачка терпеливо дожидалась своей доли сдобных домашних булочек. Справа у нее возле дивана стройная Варенька стояла перед самоваром и делала чай. Она успела переменить туалет, и, вероятно, чтобы не терять времени на переделку прически, на ее русой головке был легонький чепчик. С разгоревшимся от езды личиком, в этом чепце, она походила на молоденькую даму, только что вышедшую замуж. Прямо против нее, немного боком к столу, а лицом к Мавре Савишне, сидел Тамарин. По праву сельской свободы он остался в своем верховом костюме и курил папироску. В этой картине семейного круга лицо молодого мужчины было необходимо; но если бы я составлял ее, я бы не выбрал Тамарина. Его бледное с тонкими чертами лицо, его веселая и вечно немного насмешливая улыбка, его всегдашняя грациозная, ленивая поза и, наконец, свежий петербургский покррой платья – все это за дере-

венским самоваром, среди добродушных русских лиц, от которых веяло откровенностью и здоровьем, было чрезвычайно эффектно; но оно не шло к ним.

Странна как-то была фигура Тамарина в этой обстановке. Она как будто была вынута из другой картины, картины иного общества, иного круга, и гармонировала не по единству с другими лицами, а только по контрасту. Все это пришло мне в голову, пока я, усевшись на четвертом крае стола, пил чай со сдобными домашними булочками и слушал Мавру Савишну. Мавра Савишна говорила, что Сергей Петрович балует ее Вареньку, что она никак не могла отговориться от позволения подарить Джальму Вареньке, когда Сергей Петрович узнал, что она не ездит верхом оттого, что у нее нет лошади, что она наконец вынуждена была принять подарок, но согласилась на это с одним условием, что Сергей Петрович возьмет от нее рыжую тирольскую корову, которая доит ведро в день. Сергей Петрович отвечал, что Джальма для него слишком кроток, что он не мог попасть в более хорошенькие руки, что рыжая корова гораздо

полезнее Сергею Петровичу, потому что он очень любит по утрам кофе со сливками, и что он ничего не потеряет в мене, потому что уже назвал ее m-lle Кардовиль.

Варенька слушала и улыбалась. Она, казалось, была совершенно счастлива; слух ее с удовольствием ловил каждое слово Тамарина, голубые глаза часто останавливались на его лице и с любовью следили за всем движением. Казалось, и на Тамарина эта любовь произвела доброе влияние, Он сделался не так холоден, веселость его была добродушнее, он более примирился с жизнью. Я просидел недолго у Мавры Савишны и уехал с приятным впечатлением. Воображение мое обещало впереди много хорошего моей Вареньке. Я видел Тамарина освеженного безыскусственной деревенской жизнью, обновленного столкновением с этими добрыми и чудесными существами, каковы Мавра Савишна и ее дочка. Я воображал Вареньку с розовым веселым личиком, с чепцом на голове, как ее только что видел, счастливою женою Тамарина, которого она любит и перерождением которого гордится, как делом собственного вли-

нения. Так ехал я от Мавры Савишны и в сорок лет строил воздушные замки. Тихая ночь была тепла, воздух душист, месяц светил на светлом небе. Покойно катился тарантас мой по гладкой дороге. Все располагало к сладкой мечте, и мудрено ли, что мечта моя, как бабочка на любимый цветок, полетела к Вареньке и наобещала ей много счастья. Только много стоило труда моему воображению совладать с непокорным холодным лицом Тамарина, наградить его лицо деревенским румянцем, наделить брюшком его аристократическую фигуру и вместо модного платья английского покроя нарядить его в деревенский костюм нашего помещика.

Х

Была поздняя осень. Жена моя уехала в деревню к своей матери погостить на месяц, а я остался один и скучал порядочно; на дворе то дожди, то заморозки, на охоту ездить было нельзя. Поэтому я ужасно обрадовался, когда однажды ранним утром Мирон, камердинер, он же и стремянный, пришел мне сказать, что на дворе хорошо и можно выехать потравить по последнему черностопу.

Я велел седлать лошадей, напился чаю, хватил на дорогу чарку травнику и отправился.

Поле было удачно и потому заманчиво; переезжая от острова к острову, я заехал довольно далеко и не видал, как шло время; а между тем небо нахмурилось, пошел целый осенний дождь, который имеет дурную привычку пробивать до костей; пустой желудок, как недремлющий брежет, хоть и не звонил обед, но напоминал о нем какими-то странными звуками, подобными отдаленному раскату грома; пора было убираться до дому, а до дому было не близко. По счастью, дорога шла через

Рыбное Сергея Петровича, и я вздумал захватить к нему; кстати же и давно я у него не бывал. Я пустил лошадь крупною рысью, оставил далеко позади охоту и через полчаса въехал на барский двор. Слезая с лошади, я увидел недалеко от крыльца хорошенький дорожный фаэтон, видимо петербургской работы, весь в грязи и пыли от дальнего пути. «Кто бы это?» – подумал я и, войдя в переднюю, поспешил удовлетворить свое любопытство.

– У вас гости? – спросил я у Якова, камердинера Сергея Петровича.

– Точно так-с, князь Островский, – отвечал он.

– А кто такой, братец, этот князь? – продолжал я, не удовлетворенный лаконизмом Якова.

– Из Петербурга-с. Они служили вместе с Сергеем Петровичем.

Более нечего было ожидать от него, и, стряхнув грязь с охотничьего платья, я пошел далее.

Я нашел Сергея Петровича в кабинете одного. Князь Островский был в другой комна-

те, вероятно для поправления дорожного туалета, потому что он вошел через пять минут хорошеньким, как Адонис. Ему было, как я после узнал, лет под тридцать, хотя казалось на взгляд двадцать пять. Он был небольшого роста, но крепко и прекрасно сложен, лицо выразительное, острое и очень красивое, густые черные, назад зачесанные волосы вились от природы и были подстрижены у шеи; вообще он был самой выгодной наружности и пользовался репутацией ловеласа. Сергей Петрович представил нас друг другу. Разговор князя был весел, остер и не отзывался строгостью правил. Он сделал честь закуске, поданной в ожидании обеда, водке и хересу, с аппетитом и жаждою, не уступающими уездному чиновнику или землемеру. Вскоре подали и обед, нарочно пораньше для дорожного гостя. Обед у Сергея Петровича всегда был отличный. Вино от Рауля. Князь узнал это по первой рюмке мадеры. Впрочем, судя по количеству им выпитого вина, он должен был быть знатоком в нем. Он пил систематически, т. е. мадеру после супа, портер за говядиной и т. д. Сергей Петрович тоже пил хорошо, и вино на

него никогда не имело действия. Но он дошел до шато д'Икем, своего любимого вина, и остановился на нем. Князь продолжал до шампанского и ему отдал преимущество. Я было потянулся за ними, но у меня вскоре начала кружиться голова, и язык, без видимой причины, очень странно останавливался на каждом «ш» и «ч», а они встали из-за стола как ни в чем не бывало, только князь был еще веселее и острее, а Тамарин злее на язык. Я было хотел отправиться домой, но Сергей Петрович уговорил меня отдохнуть у него. Вследствие чего я лег на диване, выкурил трубку, выпил чашку кофе и погрузился в то приятное и ленивое полубдение, которое следует после хорошего обеда с добрым вином. Мысли в голове были неясны и легки и приятны, как мечты, глаза не смыкались, но лениво смотрели из-за полуопущенных век и нежились полусветом комнаты. Погода была на дворе серая. Смеркалось. Мелкий дождь бил в окна, а в комнате было тепло и отрадно. Свечей не было, но в углу топился камин и грел и освещал розовым переливающимся светом; два светских приятеля сидели перед ним, погрузясь в

мягкую двухспинную козетку. Ноги их лежали на канвовых подушках, между ними на маленьком столике стояли две бутылки: одна с замороженным шампанским, другая с холодным шато д'Икемом. Они курили, попивали и разговаривали. Эта легкая, острая беседа долетала до меня и приятно нежила мой провинциальный слух, перебирая звучные знакомые мне понаслышке имена. Вся она осталась у меня в памяти.

– Ну, что Саша подделывает? – спросил Тamarin.

– Растволстел ужасно, а все первый мазурист.

– Ну а К.? Урод по-прежнему?

– Еще хуже, он сходил с ума прошедшей весной, и у него остался вид помешанного... уморителен!

– А брат его Василий? Этот, надеюсь не сошел: ему не с чего.

– Напротив, душа моя! Представь странность: этот нашел на ум.

– На чей же это? Разве занял у кого-нибудь: ему ведь не привыкать делать долги.

– Нет, ему Москва дала ум напрокат! Вот

как это было: приезжаю я в Москву нынешней зимой, вообрази мое удивление, меня все спрашивают: «Что Базиль К***? знаете вы Базиля К***? вот умный молодой человек! вот злой язык!» Я отвечаю, что знаю одного, да полно, про него ли вы спрашиваете? «Базиль К***, которого сестра за Иваном В***». – «Точно так. Только его мы знаем за дурака; разве поумнел в отпуску». Все мне возражают: какой он дурак! Помилуйте, он был здесь проездом и на балу у В*** очень зло сострил над одним известным дураком. Что ж оказывается? Он повторил *bon-mot*, которое было сказано о нем же несколько лет назад тобой, или мной, или кем-то из умных людей. И вот как делается репутация! Стоит ли после этого быть умным!

– Мой милый, давно известно, что дуракам счастье. Кстати о дураках: что барон? Ты его видел в Петербурге?

– Как же, дня за три до отъезда я его встретил на вечере у N. Там я узнал, что ты живешь здесь.

– А! Разве еще обо мне говорят в Петербурге?

– Очень мало. Разве иногда вспоминают твои *bons-mots*, анекдоты, или последнюю твою историю, которая наделала много шуму. Именно о тебе и вспомнили по случаю возвращения баронессы. Говорят, что она сюда нарочно приезжала для тебя и что у вас снова что-то вышло. Правда?

– Вздор! Мы с ней встретились нечаянно. А ее ты видел?

– На этом же самом вечере. Она была чрезвычайно интересна, но холодна как мрамор. Верно, тебе мы этим обязаны. В доброе старое время наша любовь жгла, Тамарин, а теперь, видно, только морозит.

– В таком случае оставайся верным шампанскому, тогда твоя любовь будет очень хорошо пристроена.

– Как твоя у Вареньки... так кажется?

Это имя было так неожиданно брошено в разговор, что сон, который начинал было клонить меня, мигом прошел; я думаю, что даже я повернулся на диване, потому что Сергей Петрович оборотился и посмотрел на меня; но я закрыл глаза и притворился спящим. Князь тоже взглянул на меня.

– Qui est ce butor? – спросил он вполголоса.

Я тогда не понял этого слова и только после в лексиконе у детей нашел его не совсем выгодное значение.

– C'est notre voisin, – отвечал Тамарин, – un bon-homme accompli; он спит, – прибавил он.

– Я думал, не родственник ли он твоей Вареньки.

– Нет, но он друг дома.

– То есть в связи со старухой?

– Помилуй: ей шестьдесят лет.

– Что ж, душа моя, всяко бывает, Ninon например...

– Ну, она не Ninon, а Мавра Савишна; однако скажи, пожалуйста, Островский, кто тебе говорил о Вареньке?

– Ага! Верно, я попал прямо в цель. Ты, который вечно восставал против друзей, говори же теперь, что они эгоисты и заняты только собою!

– Да, если нельзя сделать сплетни или распустить клевету на чей-нибудь счет.

– Тамарин, ты неисправим!

– Я это говорю не на твой счет, душа моя: ты еще никому не успел рассказать про меня;

но я бы желал знать того друга, который тебе рассказывал?

– Мне говорила баронесса. Она тебе велела кланяться и пожелать успеха у Вареньки. Больше я не успел и расспросить. Скажи же, пожалуйста, она замужняя или вдовушка?

– Ни то, ни другое: она еще девочка.

– Девочка! – воскликнул Островский с ужасом. – Это до такой степени непростительно, что я налагаю на тебя бутылку шампанского штрафа.

Сергей Петрович позвонил, велел взять пустую бутылку и подать новую. Когда бутылка была переменена и лакей вышел, князь выпил стакан и продолжал.

– Так ты хочешь жениться? – сказал он с особенным сожалением.

– Откуда тебе приходит в голову такой вздор, Островский? Ну, гожусь ли я для семейной жизни? Если бы мне наконец и пришла эта дикая фантазия, то стоило бы только взглянуть на тебя, и она наверное бы прошла.

– Что ж, ты меня считаешь опасным? – спросил князь самодовольно.

– Да; как и всех рогатых.

– Смейся, смейся, mon cher, – отвечал он очень серьезно, – а дай Бог всякому быть так счастливым, как я!

– Спасибо!

– Я прожил с женою три года душа в душу, на четвертом мы друг другу надоели и разъехались; теперь мы живем еще счастливее и не беспокоим один другого. Что ж тут дурного?

– А что, она все такая же хорошенькая?

– Очень хороша: в последний ее приезд в Петербург я было чуть не влюбился в нее и начал волочиться, но она меня приняла очень сухо и послала к актрисам и вдове Клико; к счастью, она скоро уехала; я послушался ее совета и утешился. И волочился за ней нынешним летом в Баден-Бадене и говорит, что она еще похорошела. Ты ведь за ней тоже ухаживал?

– По обязанности твоего друга, – не больше. Впрочем, я был несчастлив.

– Полно, так ли? Ты что-то все жалуешься на неудачи. Это моя старая метода; пожалуй, ты скажешь, что был несчастлив и у баронессы, и у Вареньки. Кстати, что тебе за идея

пришла волочиться за девушкой? Ведь ты в нее не влюблен.

– Полно, братец, кто ж в наши лета влюбляется.

– Ну, лета бы еще ничего, да сердца-то в нас поизносились. Ста тысяч годового дохода у нее нет?

– Нет.

– Следовательно, ты на ней не женишься: ты ею не воспользуешься, потому что слишком благороден. Зачем же ты ей кружишь голову? Будь это в столице, в большом кругу, я это понимаю: о вас стали бы говорить: ее жалеть, а тебя бранить на чем свет стоит, называть человеком без сердца и прочее. Это очень лестно. Но здесь, в глуши, волочиться по страсти к волокитству, кружить голову сопатоме, доставлять другой счастье и несчастье, а себе оставлять скуку – этого я решительно не понимаю.

Князь пожал выразительно плечами, закурил новую сигару, долил стакан и погрузился в молчание.

– Ты ни на палец не стоишь выше обыкновенного волокиты, – отвечал Сергей Петро-

вич. – Твоя репутация ловеласа фальшива, как волосы Ивана Васильича. – При этом злодей Тамарин показал на мою накладку, которой без этого князь бы, может быть, и не заметил. – Ты материалист, все твое наслаждение состоит в обладании женщиной.

– А ты в нем небось не находишь наслаждения? – проворчал Островский.

– Для меня есть наслаждение гораздо выше: это моральное обладание женщиной. Представь себе хорошенькую, только что сформировавшуюся девочку; ты ей не брат, не друг: ты ей человек совершенно посторонний; судьба или случай сводит вас. Потому ли, что она тебе нравится, или просто, из каприза, ты отмечаешь ее в своей памяти и говоришь: «Она будет моя»! И вот, силой ума или воли, ты, человек чужой, ты, мимо которого она бы прошла, не взглянув даже на тебя, – ты становишься для нее всем: ты ее кумир, идол. Она смотрит на вещи твоими глазами, мыслит твоим умом – для нее нет ничего на свете, кроме тебя... ты бросил ее, уехал, умер, а она все твоя; она тебя будет благословлять или проклинать, а все твой образ

невольню будет носиться перед нею, и сквозь всю жизнь пронесет она печать, которую ты наложил на нее; и умрет она, отмеченная этой печатью! Вот мое обладание, вот истинное наслаждение. И что ж мне больше делать на свете? Я ничего не пишу, кроме официальных писем. Службе я не дался, наука – мне не далась. Слава от меня так же далека, как я от филантропического общества. Да и с какой стати мне хлопотать о том, что станут говорить про меня твои внуки! А между тем невольню хочется быть чем-нибудь хоть для немногих. О мужчинах я не хлопочу: для них и без меня многое есть на свете. Я выбрал несколько хорошеньких женщин и посвятил себя им. И я твердо убежден, что это было мое назначение, что они для меня только были и созданы, потому что я не могу себе представить, что бы без меня стали эти женщины делать на свете: я думаю, не будь меня, и их бы не было!

Сергей Петрович задумался, как будто и в самом деле его занимала мысль: что бы стали делать без него те женщины, с которыми судьба близко сводила его. Князь пристально

и серьезно посмотрел на него, стряхнул пепел с сигары, отхлебнул из стакана и начал:

– Все, что ты мне говорил, должно быть, очень хорошо, потому что ты человек умный. Может быть, даже и справедливо. Я тебе верю на слово, но я плохо тебя понял, потому что для этого надо думать, а думать после обеда я не могу. Ясно мне только одно: тебе надобно непременно уехать отсюда.

– Это зачем?

– А затем, что ты здесь пропадешь ни за грош. Ты завлечешься идеалами морального обладания, и кончится тем, что и твоя душа, и твои оставшиеся души попадут под очень грязное физическое обладание деревенской барышни, – короче, тебя женят! Со мной было тоже самое. Я был юнкером; наш эскадрон стоял близ деревни моей тещи. Я без всяких отвлеченных и положительных идей волочился за ее дочкой. Кончилось тем, что на другой день моего совершеннолетия я женился; следовательно, ранее меня этого никто не делал. Хорошо, что я попал на ангела, и мы, как я тебе сказывал, живем очень хорошо. Но не всякому же такое счастье! Ты, например,

не способен для него. Решительно, тебе надобно ехать!

– Вот вздор какой! Я от женщин не бегал. Не беспокойся: меня не женят.

– Не говори, душа моя! Скука, одиночество удивительно изменяют идеи. И потом, деревенская жизнь чрезвычайно располагает к тучности и женитьбе. Первое над тобой начинает сбываться, на мои глаза ты уже толстешь; смотри, чтобы не сбылось и последнее.

– Неужели ты находишь, что я потолстел? – сказал Тамарин с беспокойством.

– Немного еще, но уже есть расположение. Цвет лица у тебя стал гораздо лучше. Посмотри на себя: ты скоро будешь румян, как твой Иван Васильич!

Тамарин подошел к зеркалу, и, от действия ли света или от жару только, действительно, лицо его не было бледно как всегда.

– Послушай, Островский, ты меня пугаешь, – сказал Тамарин. – Неужели я в самом деле растолстею. Это будет непозволительно смешно!

– И очень ново: Тамарин смешон! Тамарин, который никому не прощает тени смеш-

ного и беспощадно казнит его своим языком! Это восхитительно! Если мои надежды сбудутся, я приезжаю к тебе года через два и снимаю с тебя портрет, или, лучше сказать, списываю семейную картину. Она будет представлять, положим, хоть эту комнату, после жирного обеда (обед у тебя непременно будет жирный); ты сидишь в бухарском халате и делаешь кейф. Глаза твои немного отекли и полузакрыты, как у жирного кота, которому почесывают шейку; тебе хочется спать. Перед тобой здоровая кормилица держит полугодовалого ребенка; он ревет, а кормилица уговаривает его: «Не плачь, душенька, тятенька баюшки хочет». Возле тебя сидит твоя супруга, белая и румяная, как говорится, кровь с молоком; она в распашном капоте, отдувшемся спереди, потому что находится в том же почтенном положении, из которого вышла полгода назад. Она смотрит на тебя с любовью, треплет белой рукой твою пухленькую щеку и говорит тоненьким голоском: «Ты бы прилег отдохнуть, и я тоже прилягу!»

– Надо тебе отдать справедливость, Островский: у тебя чудесное воображение. Но отчего

ты не велишь нарисовать себе другую картину, например...

– Не трудись, душа моя, моя жизнь и в оригинале неинтересна, не только в копиях; а я знаю что ты не любишь оставаться в долгу.

– Да, в этом случае я на тебя не похож.

– И дурно делаешь! Меня учили в политической экономии, что долги есть признаки богатства. Но скука с ними: мне каждое утро напоминают о них. Поговорим лучше о тебе. Что ж, ты едешь?

– Куда? В Петербург нельзя, за границу не с чем, да я уж по ней и потаскался. Губернские города похожи один на другого как две капли воды и все ужасно скучны.

– Поедем со мной в N; мы его преобразуем. Мне надо в нем жить, чтоб устроить дела.

– То есть чтобы заложить имение.

– Нет, оно уж заложено. Но, видишь ли, в Петербурге жить адски дорого. Надо годика два отдохнуть в провинции. Поедем в N, там вдвоем нам будет веселее. К тому же баллотировка зимой. Мы, как помещики, должны же быть на ней. У меня нанята уж и квартира.

– Ну об этом хлопотать нечего, у меня там

свой дом; достался от бабушки.

– Я уважаю твою бабушку! Она как будто предчувствовала, что ее внуку нужно будет жить в Н. Удивительно, как эти старые люди предусмотрительны! Например, мой отец, как будто знал, что для меня нет ничего несноснее управления имением, и потому он заживо прожил все, что успел. Итак, мы едем?

Сергей Петрович задумался. У меня в эту минуту сердце билось, как голубь под ястребом. Я хотел вскочить и вмешаться в разговор, но остановился только потому, что этим бы изменил себе. Если бы Сергей Петрович сказал, что остается, мне кажется, я бы расцеловал его.

– Скука за скуку, – отвечал он. – Действительно, в деревне делать нечего. Едем!

Злость взяла меня. Мне кажется, слезы выступили у меня от досады. Скука за скуку! В деревне ему делать нечего! А Варенька, которую он влюбил в себя! Варенька, которая с улыбкой просыпается каждое утро, потому только, что она днем надеется увидеть его. Как же это он не подумал о Вареньке! Как же

это он не подумал, что с нею будет без него? Боже мой! Из чего созданы эти люди, которые все думают о себе, только об одном себе!

– И прекрасно, мы поедем вместе, – сказал Островский. – Завтра пораньше.

«Как же это завтра, – подумал я, – ведь надо же ему хоть проститься».

Сергей Петрович позвонил, – вошел его Яков.

– Мы завтра утром поедем в N, – сказал он, – на всю зиму. Возьми с собой все, что нужно. Лишнее отправить в обозе после нас.

– Слушаю-с, – отвечал Яков. Я не вытерпел, сделал вид, что проснулся, потянулся, зевнул и вскочил.

– Хорошо ли выспались, Иван Васильич? – спросил Сергей Петрович.

– Хорошо, очень хорошо, – отвечал я. – Что это вы говорили про обоз?

– Я еду в N, – отвечал он.

– Когда же?

– Завтра утром.

– А к соседям разве не поедете прощаться?

– К кому же? С вами мы простимся сегодня. Перед Маврой Савишной вы меня извините.

Скажите ей, что я не мог быть сам, потому что еду с князем, а он спешит отъездом.

Я взялся за фуражку.

– Куда же вы? – спросил Сергей Петрович.

– Домой; целый день не был, нужно на детей взглянуть. Прощайте!

Он посмотрел на меня как будто с удивлением, потом протянул руку и сказал: «Ну, если так то прощайте, Иван Васильич. Будете в N, за езжайте прямо ко мне, я буду вам очень рад». Я подал ему руку и вышел, не поклонясь князю: мне противен. Сергей Петрович провожал меня до передней. Взявшись за ручку двери, я остановился: мне все не верилось, что человек может так равнодушно отказываться от тех, с кем он жил, кто его так много любит.

– Когда же вы к нам воротитесь? – спросил я его.

– Не знаю, – отвечал он. – Может быть, весной, может быть, никогда. Я не рассчитываю на будущее.

– Как же это? Так Мавре Савишне так и сказать?

– Да, Иван Васильич! Потрудитесь поблаго-

дарить ее за гостеприимство.

– Да ведь вы их, может быть, уж никогда больше не увидите, Сергей Петрович!

– Что же делать, Иван Васильич! Впрочем, гора с горой только не сходятся. Может быть, меня судьба опять забросит сюда; может быть, они приедут в N; как знать, что будет!

Я растворил дверь, но не утерпел и на пороге опять остановился.

– А Варвара Александровна спросит? Ей что сказать?

– Скажите ей, – отвечал Сергей Петрович медленно, – скажите, что я ей желаю много счастья!

Тут он мне дружески кивнул головою; сердце сжалось у меня с досады; я хлопнул дверью, вскочил на лошадь и под дождем, темной ночью, поскакал домой как бешеный, поскакал так, как не скакал уже лет двадцать!

На другой день мне предстояла очень неприятная обязанность объявить Вареньке об отъезде Тамарина. Я не знал, как мне приняться за это. Мне хотелось рассказать ей все как было: вырвать разом из ее сердца любовь к человеку, который ее не стоит, который уехал от скуки, бросил ее из каприза. Это была бы целительная, но крайняя мера: после нее Варенька должна была или выздороветь, или изнемочь; я боялся ее; я лучше Тамарина узнал, как глубоко падает в душу Вареньки всякое чувство; и мне больно было передать на словах то, что он, не задумавшись, решился сделать. С другой стороны, смягчить поступок Тамарина, дать его отъезду какой-нибудь благовидный предлог значило оставить Вареньку под влиянием этого человека и, щадя ее в настоящем, готовить, может быть, много, много зла в будущем. И – сказать ли правду? – я бы рад был оправдать Тамарина в собственных глазах. Мне не хотелось в нем разочаровываться: я любил его; любил его за его злой язык и доб-

рое сердце, за аристократическую изящность манер, за ту моральную силу, которою природа щедро наградила его и которую он носил так свободно и так не гордо; любил я его больше за то, что его любила Варенька.

В нерешимости, с досадой и злостью на Тамирина, под влиянием самых дурных впечатлений я выехал часу в двенадцатом утра, с тем чтобы навестить Мавру Савишну. Но прежде я велел заехать к Сергею Петровичу: я думал, не удастся ли мне застать еще его и переговорить с ним; одно время я даже был убежден, что он просто не уедет, что ночью он одумается; что невозможно, чтобы он не увидел, как странен и предосудителен его поступок, на который он решился не подумавши; наконец, мне казалось просто невероятным, чтобы человек ни с того ни с сего мог бросить девицу, которая ему нравится, которую он завлекал, которая любит его, — бросить, не стараясь даже оправдать себя в ее мнении, не проститься с нею, оставить ее, как мы оставляем дома бумажник, когда в нем нет уже денег. Смешно сказать: когда я подъезжал к крыльцу Тамирина, сердце во мне би-

лось, как в тот день, когда я шел к покойному тестю, чтобы просить у него руки Марьи Ивановны. На дворе никого не было; дверь в дом была отворена; я вошел в переднюю. На пороге меня встретила баба с лоханью и чуть не облила помоями; другая, в сарафане, с заткнутым за пояс подолом, в платке, сбившемся набекрень, с раскрасневшимся лицом, с которого пот катил градом, стояла в том положении, которое обыкновенно принимают бабы, когда моют полы. На вопрос мой, дома ли Сергей Петрович, она, не приподнимаясь, повернула голову и закричала так, что едва не оглушила меня:

– Дома нет; с час места, как в город уехали.

– Совсем уехал?

– Совсем, и Яков Григорьич с ними (камердинер Тамарина).

После этого она обмакнула мочалку в кипяток, бросила ее на пол и, размахнувшись обеими руками, так сильно пустила струю воды по некрашеному полу, что я едва успел отскочить, чтобы не замочить ног.

Более мне делать было нечего; я сел в тарантас и со стесненным сердцем поехал к

Мавре Савишне.

Варенька меня встретила в зале; она была такая розовенькая, свежая, веселенькая. По обыкновению, она протянула мне свою ручку.

– Здравствуйте, Иван Васильич! Вы нас совсем забыли... Что, Марья Ивановна не возвратилась?

– Нет еще, – отвечал я, – но она в письме поручает вам кланяться.

– Вы из дому?

– Из дому: заезжал только к Сергею Петровичу. Я к вам приехал по его просьбе.

– По какой это? – спросила Варенька, с любопытством посмотрев на меня и покраснев, не знаю отчего.

– Вы не знаете: он уехал в N, – сказал я как мог веселее.

– В N! Это зачем?

– Не знаю. Вот видите ли: вчера я заехал к Сергею Петровичу. У него был князь Островский, из Петербурга, его бывший сослуживец, который едет тоже в N. Мы отобедали. После обеда я лег вздремнуть, а Сергей Петрович с князем долго о чем-то разговаривали. Когда я

проснулся, мне Сергей Петрович и говорит: я еду, Иван Васильич, в N; зачем это, спрашиваю я. Нужно, говорит; вы, говорит, потрудитесь съездить к Мавре Савишне и извинить меня перед ней и Варварой Александровной, что не могу сам к ним заехать проститься. Я, говорит, еду завтра рано утром с Островским. Заезжаю я сегодня, а уж их и след простыл.

Варенька слушала меня с неподвижно поднятыми на меня голубенькими глазами. Она вся побледнела, бедненькая, и хотела, казалось, о чем-то спросить. Но в это время послышался из другой комнаты голос Мавры Савишны:

– Что это вы там рассказываете, Иван Васильич? Подите-ка сюда!

Я вошел к Мавре Савишне, подошел, по старинному обыкновению, к ее ручке и повторил слово в слово свой рассказ.

– Что бы это значило? – спросила она, приподняв на лоб очки и опустив чулок, что было знаком величайшего внимания. – Уж не случилось ли чего с Сергей Петровичем, Господь с ним?

Мне это участие было досадно: я очень хо-

рошо знал причину отъезда, и мне невольно захотелось охолодить Мавру Савишну.

– Напрасно вы беспокоитесь, – сказал я. – С Сергеем Петровичем, кажется, ничего не случилось особенного. Просто приехал к нему его старый знакомый, друг его, такой же, как и он, подговорил его с собой ехать, он и поехал.

– Что это вы, Иван Васильич, говорите? – сказала Мавра Савишна с сердцем. – Ну, ста- точное ли это дело! Человек живет полгода в деревне, и хорошо ему, всего у него вдоволь, и об ласкан всеми – и вдруг ни с того ни с сего взял да и уехал! Ну, сами вы рассудите: уедет оттого, что его подговорил какой-нибудь про- езжий приятель, да еще и не простившись со знакомыми, у которых он бывал почти каж- дый день! Варенька, Варенька, слышишь, что Иван Васильич выдумал. Ну, как ты думаешь, ну возможное ли это дело?

Варенька была в это время в другой комна- те стояла лицом к окошку, не знаю, что она у него делала. Я с нетерпением ждал ее ответа: мне был обидно недоверие Мавры Савишны, и я надеялся, что Варенька оправдает меня.

Она вошла бледная, задумчивая и рассеянно ответила:

– Не знаю, тамап.

– Ну, да чего тут не знать! Уж конечно, коли уехал так, не простившись, так, значит, важное дело! Как вы думаете, Иван Васильич, уж не поссорился ли он с этим, как бишь его, князем-то?

– Помилуйте, они встретились друзьями и пили вместе: какая тут ссора!

– Ну, да вы знаете, какой нынче век: пьют, пьют, а потом вдруг за пистолеты, да и на дуэль. Вы не думайте, что коли встретились хорошо, так и друзья. У Сергея Петровича что есть на душе знает только Бог да он. По лицу у него немного узнаешь; в Петербурге, говорит, двоих уложил, посмотрите-ка на него: цыпленка режут при нем, а он побледнеет и отвернется. Сердце-то у него предоброе, да голова горячая. Так вы думаете, что они не стреляться поехали?

Эти вопросы начинали наконец меня бесить. В первый раз в жизни я был сердит на Мавру Савишну. Хотелось мне ей сказать, что их Сергей Петрович просто с жиру взбесился,

как летом любимая закормленная собака; да жаль было Вареньку, и притом, сознаться ли, я был убежден, что мне бы не поверили и, пожалуй, еще подумали бы, что я клевету на Тамарина. Однако я не утерпел, встал со стула и сказал:

– Мавра Савишна! Я выполнил поручение Сергея Петровича и сказал вам свое мнение; вы можете мне верить или не верить, как вам угодно. Может быть, у него в самом деле были какие-нибудь важные причины: может, нужно с приятелем стреляться, или дядя умер, или какая-нибудь барыня свидание ему назначила, – все может быть; но я больше ничего не знаю. Да и почему мне знать? Я не друг ему, не петербургский приятель; он и со мной простился так, как и с вами. За сим имею честь кланяться.

Я взял фуражку, поклонился и вышел.

– Куда вы, Иван Васильич? Что с вами? А обедать-то!

Но я ничего не слушал и шел в переднюю. «Экий сумасшедший!» – долетел до меня возглас Мавры Савишны, когда она увидела, что я не внемлю словам ее.

Пока я надевал шинель и велел подавать лошадей, из залы дверь отворилась и на пороге показалась Варенька.

– Вы сердитесь, Иван Васильич! Ну, полно-те, останьтесь! Куда вы? – И грустная, бледная, она улыбнулась и весело, сквозь слезы, смотрела на меня, как светит иногда летнее солнышко сквозь крупный дождь.

Но я устоял.

– Нужно домой, Варвара Александровна, – отвечал я, – жены нет, дети одни!

– Так проститесь по крайней мере, – сказа; она, протягивая мне ручку.

Я взял ее и слегка пожал по нынешней моде.

– Послушайте, – тихо сказала она, не отнимая руки, – вы, может, не хотите огорчить маменьку и сказать правду, и хорошо делаете; но со мной вы можете говорить откровенно.

Мне опять стало досадно.

– Я вам сказал все, что знаю, – отвечал я. – Мое мнение: Тамарин уехал отсюда просто потому, что здесь ему было скучно.

Варенька сделала какое-то нетерпеливое движение головкой и как будто хотела ска-

зять этим: вы ничего не знаете, ему не могло быть здесь скучно.

– Оставим это, – сказала она. – Ну, а еще он вам ничего не поручал сказать?

Злость взяла меня. В эту минуту я был сердит на Вареньку за ее слабость более, чем на Тамарина за его поступок с нею. Мне даже несколько не было жаль ее, и я очень равнодушно отвечал:

– Виноват, Варвара Александровна: Тамарин еще поручил мне передать, что он желает вам много счастья.

Яркий румянец вспыхнул на лице Вареньки; она выпрямила свой тонкий, стройный стан, гордо приподняла головку, и – да простит ей Бог! – с ее сжатых уст едва не сорвалось оскорбительное «вы лжете».

Я ей почтительно поклонился, она молча отвернулась и вышла, а я уехал.

Так я исполнил поручение Сергея Петровича. Оно было причиной моей единственной размолвки с соседями, с которыми я душа в душу прожил пятнадцать лет, и едва не подарило меня названием лжеца от девочки, которую я нянчил еще в пеленках и любил как

дочь. По здравому рассуждению, оно так и должно было случиться. Ведь не мог же быть виноват Сергей Петрович, когда его любят! Да и в самом деле, в чем же он виноват? А надо было кому-нибудь да быть виноватым! Отчего же не быть виноватым мне, степному помещику, который вздумал рассказывать голую правду про светского человека, про человека нынешнего века, да еще вдобавок и демона, в котором прозаическая существенность имеет поэтическую прелесть, и всякий, по-нашему не совсем чистый, поступок вытекает прямо из благородной натуры. Да и вольно же было мне, имея пять человек детей, сделаться вестником грустной разлуки между любящими сердцами.

XII

С месяц я не виделся с моими соседями. Кучер их, проезжая за почтой, раза два заезжал ко мне, по поручению барыни, проведать меня и спросить, что, дескать, Ивана Васильича не видно; но я велел отвечать ему, что я не совсем здоров. А между тем, сказать правду, я скучал порядочно. На беду, жена моя не возвращалась, и я должен был возиться с ребятишками. И осень прошла, наступила зима. Вместо охоты по черноstopу я охотился по пороше; наконец снег выпал так глyбоко, что я лишился и этого развлечения. Скука был; ужасная, но к соседям я не ехал: такой уж у меня характер. Наконец раз вечером подают мне записку: гляжу – рука Вареньки. Смешно сказать, сердце забилося во мне, как будто я получил любовную записку. Варенька выговаривала мне, что я совсем их забыл, и, по поручению матери, просила приехать к ним на другой день пораньше утром, потому что они едут на зиму в город, и что перед отъездом Мавре Савишне нужно со мной повидаться. Прочитав записку, мне стало грустно

и досадно на Мавру Савишну: зачем несет ее в N? Ведь жилось же ей до сих пор очень хорошо в Неразлучном; к тому же перспектива деревенской жизни одному, без соседей, к которым я так привык и которых любил, вовсе не нравилась мне. Ночь я провел очень дурно, или, попросту сказать, мне не спалось, а если и случалось забываться, то такая чепуха грезилась, что я был рад, когда просыпался. Я встал вместе с солнышком и часу в десятом отправился к Мавре Савишне. Утро было морозное, ясное; свежий снег хрустел под санями, и добрый бегун в четверть часа примчал меня в Неразлучное. Две зимние повозки были придвинуты к крыльцу. В первой стоял седой Савельич в одном сюртуке. Ветер раздул его заиндевевшие, зачесанные с затылка волосы и обнажил тщательно скрываемую лысину. Савельич сам ничего не укладывал, а только распоряжался лакеями и горничными, которые выносили узелки и ящики.

— А ты бы, братец ты мой, вот этот сундучок поставил набок... вот так... да сенца, да сенца, так оно и не будет тереть. А это с чем? — спрашивал он.

– Ну, с чем? С чепчиками, – отвечал звонкий голос горничной.

– С чепчиками? Ну, так его сюда в передок: тут чепчикам и хорошо... вот так. – И при этом он щипнул черноглазую горничную за щеку.

– Полно вам, Тихон Савельич, не до вас, шут старый...

– Старый, а тебе бы, небось, все молоденьких? А знаешь ли, дурочка, что стар пескарь, да уха сладка! Давай-ка сюда узелок-то... Это с индейками? Ну, так к чепчикам их, к чепчикам... тут, поближе.

Так распорядился старый дворецкий, мешая дело с прибаутками. Другая повозка грузилась дворней без особенного порядка. У каретника кучера надевали хомуты на лошадей, на крыльце набросано было сено, из дверей беспрестанно и все бегом выносили узелки и картонки. В прихожей, прижавшись в угол, между дорожными вещами, стоял чернобородый староста и равнодушно посматривал на суетившуюся дворню, в ожидании барских приказаний.

В зале, несмотря на раннее утро, накрыт

уже был завтрак; но Мавру Савишну я нашел в третьей комнате у чайного стола. Она была одета по дорожному, и вместо чулка на ее коленях покоилась одна раскормленная собачка. Едва заслышав мои шаги, Мавра Савишна начала меня приветствовать:

– А поди-ка ты сюда, ветреник негодный! И не стыдно тебе месяц целый глаз не казать? Рассказывай-ка, что ты делал в это время? Без Марьи Ивановны только с собаками возился да, чай, волочился за бабами, а старых знакомых и навестить не хотел! – и т. п.

Мавра Савишна в патетические минуты жизни, как и в этом случае, говорила мне «ты». Я подошел к ее руке, пробормотал какое-то извинение, она взяла меня за ухо, посадила возле себя, и мы по прежнему стали друзьями.

– Что это вам вздумалось, Мавра Савишна, в город ехать, да и еще спозаранку, едва зима началась? – спросил я.

– Что делать, Иван Васильич, что делать, родной! Пока можно было оставаться, так и оставалась, а пришлось ехать, так и поедем! У меня там дела есть кой-какие, да и надо Ва-

реньке повеселиться... Что ей в деревне делать?

Мавра Савишна оглянулась и, удостоверившись, что мы одни, продолжала, понизив голос:

– Ведь ей у меня осмнадцать лет, а о Покрове и девятнадцать будет! Конечно, какие же это еще лета, да все надо и о будущем подумать; оно, разумеется, судьбы своей не минуешь, но в деревне кто же ее узнает; ну а в городе иное дело!

– Да уж не устраивается ли у вас что-нибудь? – спросил я, думая, что в мое отсутствие могло что-либо и случиться.

– Нет, ничего нет такого, Иван Васильич; да чему же и быть? Володя еще мальчик, а Сергей Петрович... Ну, конечно, Сергей Петрович – человек хороший, да ведь не нам за ним гоняться! Свет не клином сошелся! Для моей Вареньки и не такие найдутся. Впрочем, власть Господня, а в город ехать надобно, хоть и тяжелый год: гречихи, сами знаете, совсем не родилось. Не хотите ли чайку с дороги? Я было и забыла совсем. Варенька! Варенька! Позовите Вареньку.

Через несколько минут пришла и Варвара Александровна. Она была в дорожном чепчике, который удивительно шел к ее хорошенькой головке. Мне показалось сначала, что она несколько не изменилась, только как будто побледнела немножко да не так была детски весела, как прежде. Но, всмотревшись, я заметил в ее лице перемену гораздо серьезнее: все черты его приняли более оконченное выражение, как будто зрелая мысль прошла по этому лицу и углубила все не ясные черты детства. А впрочем, она была хороша по-прежнему, если не стала еще лучше. Тихая душа светилась в темно-голубых с поволокою глазах, уста приветливо улыбались, и две ямки на щечках смягчали серьезность лица. Она встретила меня, как прежде встречала, – улыбкой и протянутой ручкой. С ее приходом Мавра Савишна встала.

– Варенька! Беглец воротился; напои его чаем да пожури хорошенько, а мне нужно еще поговорить со старостой. – И с этим она вышла, оста вив нас одних.

Варенька налила мне стакан чаю, поставила его передо мной, сама налила в него сли-

вок, села, подперши рукою головку, и с улыбкой смотрела на меня.

– Ну, скажите, отчего ж вы нас забыли? Как вам не грех! Маман ужасно по вам соскучилась, и я также. Что случилось с вами?

– Я думал, что вы на меня сердитесь, – отвечал я, – и боялся, что мое посещение...

– Как вам не стыдно! – прервала она. – Впрочем, всему я виновата; признаюсь, я вам тогда не поверила. Простите меня и будем друзьями по-прежнему.

И она мне подала ручку, я поцеловал ее.

– А теперь как вы убедились? – спросил я.

– Я об этом много думала, – отвечала она. – Вы ни в чем не виноваты, вы не так поняли его или, лучше сказать, вы его совсем не поняли. И он не виноват: у него была какая-нибудь причина к отъезду, причина, вздорная для других, но важная для него.

«Как же, – подумал я, – важная была причина! Он испугался, что потолстеет и женится на чудеснейшей девочке».

– Вы его не знаете, – продолжала Варенька. – Иногда какая-нибудь ничтожная вещь имеет на него страшное влияние, а иногда

действительно что-либо важное не заставит его пошевелинуться; впрочем, он скрытен, и не вы одни в нем ошибаетесь. Имшин тоже вздумал обвинять его, но...

– Но что же?

– Я ему сказала без церемонии, что он ничего не понимает, и потому лучше, если не будет судить о Тамарине.

– А часто бывает у вас Володя?

– Почти каждый день, – отвечала Варенька рассеянно.

– И влюблен по-прежнему?

– Мне его жалко! – сказала она и, задумавшись, подошла к окошку.

Окошко это выходило в сад. Длинные аллеи тянулись перед глазами. Стройно и неподвижно стояли голые деревья, холодно блистая инеем. Дорожки были покрыты свежим пушистым снегом, и ни одного следа не было на нем. Все было тихо и мертво. Куртины, скамейки, беседки – все, что хранило какое-нибудь воспоминание, все, на чем лежал след прошедшего, было схоронено под густым слоем снега; как верный и ревнивый сторож, глубоко таил этот снег под собою все, что было

ему отдано, и его девственная поверхность ручалась за нетронутость береженого. Долго Варенька смотрела на свой любимый сад, прильнув к стеклу горячим личиком; когда она отвернулась, две слезы дрожали на ее ресницах, и она не старалась скрывать их от меня.

– Что с вами? – спросил я ее с непритворным участием.

Она немного задумалась, потом отвечала:

– С вами, Иван Васильич, я буду откровенна: я знаю, вы меня любите и ничего не истолкуете в дурную сторону. Мы едем в N по моему желанию. Я намекнула об этом маменьке, и она приняла мою мысль как свою собственную; вы знаете, как она меня балует.

Из N я не имела никаких известий: Наденьки там нет; неизвестность томила меня; я не могла так оставаться и была совершенно счастлива, когда узнала об отъезде. Но теперь, когда остается только сесть да ехать, и когда мне приходится проститься с Неразлучным, мне так грустно, что я готова бы, кажется, остаться здесь. Предчувствие ли это чего-нибудь дурного, или мне просто жаль рас-

статься с родным местом, не знаю; но мне ужасно хочется плакать. И в самом деле, здесь я выросла, каждый уголок в этом доме, каждый куст в этом саду дают мне какое-нибудь теплое, прекрасное воспоминание! Здесь все так любят меня; я была здесь так счастлива, так счастлива, как никогда уже не буду. А между тем я добровольно еду отсюда, еду в город, где мне все почти чужие, к веселостям, которые меня нисколько не занимают. Бог знает, Иван Васильич, что ждет впереди вашу Вареньку...

Она опустила голову на руку, и слезы полились ручьем из ее темненьких глаз.

– Полноте, Варвара Александровна, Бог милостив! Все будет хорошо, и город вам так понравится, что и назад не захотите. Зиму повеселитесь, а будущей весной опять к нам воротитесь.

– Бог знает! – грустно отвечала она. – Если я и возвращусь, то такова ли возвращусь, как уезжаю; может быть, вы и не узнаете меня, Иван Васильич.

– Конечно, может быть, вы и изменитесь, – отвечал я шутя, хотя у меня кошки скребли

на сердце, – и воротитесь к нам молоденькой дамою, с молодым супругом; но я вас все таки узнаю.

– Нет, – говорила она, – вы меня не поняли. Я думала о том, сколько своей веселости, сколько прежней беспечности, может быть, оставлю я в городе и сколько нового горя вывезу с собою! Мне что-то плохо верится в счастье. Невольная грусть начала овладевать мною.

– Да зачем же вы едете, – спросил я ее, – если пророчите себе так много дурного?

Варенька быстро подняла голову, отерла слезы с бледного личика, глаза ее были уже сухи, и она с удивлением посмотрела на меня.

– Как зачем? – спросила она, потом как будто одумалась и отвечала: – Что же делать, Иван Васильич! Ведь не оставаться же здесь! И скажу вам по правде, мне теперь и здесь скучно: все как-то пусто, во всем как будто нет жизни...

Варенька опустила голову, грустно задумалась и тихо продолжала, как будто говоря сама с собою:

– Как же это я останусь здесь одна, совер-

шенно но одна, даже без известия о том, что делается! Да если бы я и решилась на это, то у меня и достанет воли. Нет у меня ее! Да и какая же может быть у меня воля, когда я живу чужой жизнью, когда у меня нет ни одной моей мысли. Посмотрите на это облако и спросите его: отчего оно не остается спокойно розовым пятном на синем небе? Зачем оно гонится за темной тучей, которая, может быть, поглотит его и рассылет его по земле белыми хлопьями?.. Зачем? – спросила Варенька и грустно замолчала.

Она была в каком-то лихорадочном состоянии. Я смотрел на ее разгоревшееся личико, боялся за ее здоровье; слезы скоплялись у меня на сердце, и я не знал, как прервать молчание. Но из другой комнаты раздался голос Мавры Савишны:

– Варенька! Лошади готовы. Пойдем закупить. Иван Васильич! Милости просим с нами дорожного хлеба-соли откусать!

Варенька встрепенулась, личико ее опять прояснилось: она как будто пришла в себя из забвения.

– Слава Богу, наконец мы едем! – сказала

она.

Потом ей как будто стало меня совестно, она обернулась ко мне и сказала:

– Я вам, думаю, кажусь странна, Иван Васильич! Не обвиняйте меня: я, право, ни в чем не виновата. Бог знает, увидимся ли мы с вами и как увидимся! Ради Бога, не судите строго и не забывайте вашей Вареньки!

Она мне протянула руку, я молча поцеловал ее – я не мог сказать ни слова. Мы пошли к завтраку.

В зале на столе было наставлено, наварено и напечено столько, что и десяток пленных французов были бы сыты. Мы уселись втроем; Варенька была спокойна, она взяла яйцо всмятку, разбила его и занималась им во время завтрака. Мне кусок в горло не шел, но при Мавре Савишне нельзя было не есть: она меня запотчевала; я поприневолился и наелся на порядках; она тоже попробовала того и другого понемногу. Мы ели молча. Только по временам раздавался голос Мавры Савишны:

– Матрена! Не забыла ли взять квасу на дорогу? Иван Васильич, ветчинки с горошком!.. Староста, не забудь же послать в Анкудимов-

ку гречихи приторговать: там, слышь, много ее. Что нужно будет, так во всем относиться к Ивану Васильичу... Иван Васильич! Уж вы не оставьте, родной, приглядите за всем и, где нужно, и пугните их. Так-таки и пугните, как своих собственных. Слышишь, Дементьич!

– Слушаю, матушка! – отвечал голос старосты.

– Да сказать обозу, чтобы выезжал вместе с нами, непременно! А то они останутся на полсутки да еще перепьются. Иван Васильич, телятинки с мочеными яблоками, – и т. д.

Наконец завтрак кончился, и мы встали из-за стола. Лошади давно были заложены, пристяжные рыли снег от нетерпения и мороза, колокольчик вздрагивал под дугой при каждом движении коренной лошади и напоминал об отъезде. Беготня дворни становилась менее и менее и наконец затихла. Все дворовые в почтительном молчании столпились у дверей прихожей и коридора. Мавра Савишна начала одеваться в дорогу: надела теплые чулки, башмаки на меху и валенки, потом тулупчик, шаль и салоп, на голову меховую шапочку и шерстяную косынку, нако-

нец, сверху обвязала шею пуховым шарфом и таким образом, закутанная, покрасневшись от жару и усталости, испустила тяжелое «уф!» и опустилась в переднем углу в кресло.

Варенька тоже оделась по-дорожному; мы все уселись, посидели, помолчали, встали, помолились Богу и начали прощаться. Я подошел к руке Мавры Савишны, причем она меня перекрестила, как малолетнего, потом к Варваре Александровне, а за мной наперерыв пустилась прощаться вся дворня. Простясь со всеми, от мала до велика, Варенька грустно окинула взглядом покидаемый дом, потом обратилась ко мне и сказала:

– У меня есть к вам просьба, Иван Васильич. Пожалуйста, без меня не велите никому трогать моего Джальму. Бедный, он соскучится! Кто его будет кормить теперь каждый день хлебом?

– Пожалуй, с удовольствием, – отвечал я, – только как же это сделать... ведь он может застояться.

– Велите проводить его или гонять на корде, сделайте как знаете, только, пожалуйста, чтобы на нем никто не ездил; я не хочу, что-

бы кроме меня кто-нибудь ездил на моем Джальме!

Я обещал ей, а между тем, пока мы говорили, Мавра Савишна с помощью двух лакеев была усажена в дорожную повозку и уже звала оттуда Вареньку. Варвара Александровна тоже уселась; их окутали одеялами; лакеи взмоглись на козлы, кучер подобрал вожжи и только хотел тронуть, как в ворота, весь в пене, влетел иноходец, и Володя Имшин впопыхах выскочил из саней.

– Как, вы уже совсем! – сказал он, подходя к повозке.

– Совсем, батюшка; да чего ж нам было ждать? Вольно же вам опаздывать! – отвечала Мавра Савишна, которая не любила, когда ее задерживали у подъезда.

– Представьте, Мавра Савишна, – говорил Имшин, – какое несчастье! Я целую ночь, не знаю отчего, спал очень дурно, или, лучше сказать, почти совсем не спал, а к утру забылся да и проспал! Хорошо еще что застал вас!

– Ну, очень рада! Прощайте же, батюшка, прощайте! – сказала Мавра Савишна.

Володя почти влез в повозку и приложил-

ся к руке Мавры Савишны, которой стоило большого труда высвободить ее из-под салопа и одеял. Потом он зашел с другого бока, чтобы проститься с Варенькой.

– Так вы едете, Варвара Александровна? – спросил он грустно, как будто не веря еще, что она уезжает.

– Как видите, – отвечала Варенька. – Мы, вероятно, расстаемся ненадолго: вы, конечно, на зиму тоже в город?

– Я? Нет! – отвечал Володя с горечью. – Зачем мне в город? Мне и здесь хорошо!

– Полноте! Что вам делать зимой в деревне! Так до свиданья?

Варенька протянула ему ручку, Володя взял и отвечал неясно:

– Не знаю!., я думаю... что нет... а впрочем...

Он держал еще ее руку и, казалось, боялся опустить ее, но Мавра Савишна перекрестилась, простилась с нами и сказала: «С Богом!»

Лошади тронулись, я посмотрел им в подковы, – примета, чтобы отъезжающие благополучно возвратились; в это время Варенька выглянула из повозки и закричала мне:

— Иван Васильич, так не забудьте же Джальму.

Потом она поглядела на дом и сад, еще раз обернулась к нам, кивнула головкой и скрылась. За ними тронулась другая повозка, с горничными и перинами, и обе помчались по деревне. В то же время из ворот заднего двора, длинной вереницей, скрипя по мерзлому снегу, потянулся обоз с тяжелой кладью и провизией, сопровождаемый бабами и ребятишками.

Мы с Володей вышли на улицу и долго смотрели по дороге за уезжающими.

Повозки скрылись за деревенскими избами, потом опять показались из-за них и готовы были снова скрыться, а мы все смотрели. Володя даже забыл надеть фуражку, которую снял при прощании. Его темно-русые длинные и курчавые волосы заиндевели от мороза; свежее, красивенькое лицо еще более зарумянилось; на глазах, может от пристального гляденья, навернулись слезы, а он все смотрел вслед. Наконец одна слеза скатилась на его розовую щеку, он поспешно отер ее и обратился ко мне.

– Сильно морозит! – сказал он.

– Да, морозит! – отвечал я. Повозок не было уже видно. Один обоз длинной вереницей тянулся вдали. Мы молча пожали друг другу руки и шагом поехали к домам разными дорогами.

Тут кончается повесть моего старого и доброго знакомого Ивана Васильича. Она мне досталась случайно, вместе с несколькими тетрадями записок Тамарина. В одной из тетрадей я встретился с лицами, действующими в этом рассказе. Представляю ее читателям.

Тетрадь из записок Тамарина

Умереть со скуки – выражение чисто гиперболическое. Мне кажется, я начал скучать с тех пор, как в первый раз чихнул при рождении, – однако, слава Богу, живу до сих пор. И в самом деле, я не помню, когда бы я не скучал: скучал я на школьной скамейке, скучал на петербургских балах, скучал в походной палатке в киргизских степях, а более всего на званых обедах. Правда, было время – время первых эполет и первых надежд, – самая юная, самая счастливая пора! Но когда оно прошло, скука взяла свое, и еще с жидовскими процентами! И я привык к ней: я ее сознал и с ней освоился. Для меня жить и скучать – два слова, почти однозначные. Скука своего рода препровождение времени: она для меня то же, что костыль для безногого, – это не живой член, но вещь, которая его отчасти заменяет.

Конечно, есть несколько избранных, у которых деятельность ума имеет широкое поле

и идет рядом с деятельностью жизни. Есть, и много есть, других счастливых, у которых смиренный ум живет помаленьку, довольствуется хорошей погодой и теплым местечком и ограничивает свои требования четвертым партнером для грошовой игры. Но велика и наша семья праздношатающихся умников, которые не умеют примирить деятельность души с деятельностью жизни, которые во весь век не сделают ни одного дельного дела и расходуют свой ум по мелочи, на острые слова да злые эпиграммы, и то для развлечения чужой, а не собственной скуки.

Вот уже с месяц, как мы с Островским в один прескверный осенний день приехали в N. Он нанял лучшую квартиру в Дворянской улице, а я поселился в бабушкином наследии. Островский предлагал мне жить вместе, но я не люблю стеснять себя и отказался, приведя поговорку, что два медведя в одной берлоге не уживутся, хотя он и доказывал, что эта поговорка не относится ко львам.

Дом, доставшийся мне от бабушки, стоит на крутом берегу Волги. Зимой его заносит снегом, потому что по пустой набережной по-

что никто не ездит; но летом вид из окон чудесный. Широкая Волга лениво катится под горою, а по ту сторону небо да далекий поемный луг, испещренный деревеньками. Все удивляются, зачем я поселился в этой глуши, а я ею очень доволен. Мне надоел торопливый и заботливый шум столицы, а мелкая суматоха провинции еще несноснее. Впрочем, провинциальная жизнь имеет свою хорошую сторону: здесь все живут открыто, потому что нет возможности скрыть что-нибудь. Выедешь из дому и знаешь, что на улице встретишь непременно Семена Семеныча, и откуда идет Семен Семеныч, и как он при встрече приятно улыбнется. Увидишь Петра Петровича и ждешь, что он, здороваясь и прощаясь, скажет непременно «всякого», и знаешь, что это значит «всякого вам благополучия»; слышишь, что Сережа рассказывает с жаром и клянется и уверен уже, что он прибавляет. А поутру заедет Иван Иваныч, узнать, что новенького, и непременно сам расскажет все новости. А барыни! барышни! Что лицо, то тип, и всех знаешь, и все тебя знают. Нет, много хорошего в провинции! Досадно толь-

ко, что провинциалы не примиряются с этой жизнью, что они отрицают ее, сплетничают и бранят сплетни, — знают друг про друга всю подноготную, а маскируются; друг друга часто терпеть не могут, а жмут руки до излома костей и вечно хотят казаться непременно не тем, что они есть. Старая, всемирная песня!

Прожив здесь неделю, я сделал визиты всем знакомым дамам и очень немногим мужчинам. Я не могу жить без женского общества, будь оно и с грешком пополам, будь в нем даже грешка более, чем наполовину. Такова уже привычка моей обобщившейся натуры! Все меня спрашивали с какой-то улыбочкой про баронессу и многие про Вареньку. Я всем отвечал как мог любезно и из вежливости почел долгом спросить у каждой из них (у кого таковой есть) о здоровье ее возлюбленного. А одна почтенная барыня, мать трех взрослых дочерей, которая все уверяет, что любит меня как сына, потому что часто игрывала в бостон с покойной бабушкой, шепотом спросила, может ли она меня поздравить. Я отвечал ей, что кроме вчерашнего проигрыша в клубе меня поздравить не с чем, и тогда

она объявила, что здесь носятся слухи о моей помолвке с Варенькой Домашневой, но что, впрочем, она этому не верит, потому что Варенька хоть и милая девочка, но мне не пара, жила в деревне, не имеет светских манер обращения (причем она невольно взглянула на трех дочек, навтыяжку сидевших на стульях), и прибавила, что, вероятно, я бы не сделал подобного шага, не посоветовавшись с добрыми знакомыми, которые любят меня как сына. Я успокоил ее, уверив в несправедливости слуха и высказав твердое намерение никогда не жениться, против которого, впрочем, она горячо спорила.

Из всего этого я удостоверился, что здесь догадываются о том, как я провел лето в деревне с моими соседками, но я твердо убежден, что никто не знает чего-либо положительно: для большинства достаточно было слуха о соседстве, и из этого вывели заключения. Таков свет! Он все толкует в дурную сторону. А между тем в слухах обо мне есть часть истины. Неужели прав он со своим черным взглядом на вещи? Неужели дурное – общее правило, а хорошее – только исключение. Ес-

ли так, то это грустно! Впрочем, где ж тут дурное? И виноват ли я, что свет вороновым взглядом прочуял дурное и каркает о нем? Я был скромн, как могила: это мой порок!

Сказать по правде, мне жаль, что здесь нет моей хорошенькой соседки. В последнее время я очень привык к Вареньке; я любил видеть ее довольной, счастливой, веселой при встрече со мною; я любил задумчивый, любящий взгляд ее темно-голубых глаз, когда, по праву сельской свободы, сидя вдвоем в саду, в теплый осенний вечер, я передавал ей свои убеждения или рассказывал пеструю повесть моей прошедшей жизни; а она слушала, пристально смотря на меня хорошенькими глазами, и, казалось, хотела спросить ими: неужели ты все это пережил и перечувствовал? и нет морщин на твоем челе! и нет в кудрях седого волоса! и весело можешь ты смотреть на вседневную жизнь! И слышно мне было неровное биение пульса в ее белой руке; и тешило меня ее детское удивление, и радовала ее первая любовь! Много, может быть, дней похоронил бы я еще в деревне, с моей соседкой! Много, быть может, хороших

дней утратил я со своим отъездом! А всему виноват Островский: он своей насмешкой разбил мою иллюзию, и я ему много благодарен. И в самом деле, не смешон ли был я, герой в романе деревенской девочки?

Смешное, смешное! Вот бич, от которого бледнеет наше поколение, вот слово, которое убивает хуже чумы! От него одного кровь бросается мне в голову, и сожмется сердце со всеми тепленькими чувствами, холодно взглянет разнежившийся глаз и насмешливая улыбка ляжет на уста, лепетавшие нежный вздор!

А все таки жаль, что здесь нет моей хорошенькой соседки Вареньки!

На днях как-то у меня поутру собралось несколько человек знакомых. В это время мне доложили, что кто-то меня спрашивает. Я вышел в прихожую и увидел знакомое лицо Савельича; он низко поклонился и, пригладив рукою реденькие волосы с затылка на лысину, проговорил, как по выученному:

– Мавра Савишна приказали кланяться и приказали узнать о здоровье.

– Разве здесь Мавра Савишна? – спросил я.

– Вчерашнего числа изволили приехать, – отвечал Савельич, – располагают прожить здесь всю зиму и остановились на Казанской, в доме Мордасова.

Я велел ему благодарить Мавру Савишну и сказать, что я сам скоро буду. Возвратясь к гостям, я услышал громкий смех. Мой приятель Островский, узнав о послании Мавры Савишной, уверял, что мы с ней в очень коротких отношениях, что Мавра Савишна влюблена в меня без памяти и что я не ношу других чулков, кроме ее вязанья, которые она мне дарит на память. Всех рассмешила шутка Островского, но другие стали делать намеки гораздо справедливее. А один бывший тут местный остряк заметил, что не хочет ли Мавра Савишна навязать мне что-нибудь и на шею. Чтобы прекратить этот разговор, я объявил им, что Мавра Савишна – моя добрая соседка, у которой я бывал очень часто в деревне, что она поступила очень любезно, дав мне знать о своем приезде, и в заключение прочитал им девиз английского герба, напечатанного золотом в моей шляпе. Догадливые тотчас же взяли за свои, и через час я был у Мавры Са-

ВИШНЫ.

Я нашел Мавру Савишну в хлопотах: она расставляла мебель и устраивала квартиру. Знаменитый чулок ее еще не был вынут из дорожного ридикюля. У нее сидела какая-то старушка, вся в черном, что-то вроде приживалки, и, как кажется, вводила ее в курс городских новостей. Мавра Савишна встретила меня радушными русскими приветствиями и с особенной заботливостью и даже беспокойством расспрашивала о причине моего отъезда. Я поблагодарил ее за участие и поспешил ответить какой-то очень неопределенной отговоркой, потому что заметил в другой комнате Вареньку.

Варенька сидела на диване; возле нее был ее друг и наперсница Надежда П*, известная просто под именем Наденьки. Они сидели рядом, положив руку в руку, как прилично двум девицам, долго не выдавшимися и верующим во взаимную дружбу. Наденька эта недурна собою, но не в моем вкусе; она с большими претензиями, но более обещает с первого раза, чем дает впоследствии, потому что все в ней ложно, начиная с чувств и до косы вклю-

чительно. За это, может быть, и не люблю ее, потому что она мне ровно ничего не сделала ни хорошего, ни дурного; вероятно, по закону сродства душ и она меня терпеть не может.

При моем входе Варенька немного покраснела. Видно было, что она обрадовалась, но не хотела показать этого: я думаю, что Наденька не совсем выгодно объяснила ей мой отъезд и постаралась, сколько могла, восстановить ее против меня, потому что с видимым любопытством наблюдала за нами. Но я уверен, что на моем лице она ничего не прочла: дорого и трудно мне досталось это искусство управлять его выражением; но теперь я им доволен: оно, как хороший актер, играет все роли. Я, со своей стороны, наблюдал за Варенькой, потому что первая встреча – вещь в высшей степени любопытная: тут можно сразу прочесть все прошедшее и разгадать много будущего.

Встреча Вареньки имела претензию на холодность: она постаралась равнодушно кивнуть головкой и не подала мне руки. Но голос, которым была сказана ее первая незначащая фраза, выдал ее: он дрожал и имел осо-

бенный, свойственный внутреннему волнению звук. Услышав его, я бы имел уже право взглянуть торжествующим взглядом на Наденьку, если бы позволял себе подобные глупости. Пока мы менялись обычными пустыми фразами, я сел против Вареньки и всматривался в ее лицо: оно почти не изменилось, только немного похудело, но черты его приняли более серьезное выражение и обещали бы мне более трудную борьбу, если бы борьба могла иметь место. Варенька, вероятно, тоже старалась сыскать во мне перемену, как это обыкновенно делается при встречах; потому что после минутного молчания, внимательно посмотрев на меня, она сказала:

– А вы нисколько не изменились.

– Я никогда не изменяюсь, – отвечал я, – это мой недостаток.

– Хорошо, если бы все ваши недостатки подходили на него, – сказала Наденька.

– А вы заметили и другие? – спросил я.

– И очень много! Иначе вы были бы совершенством, потому что недостаток, который вы признаете, очень похож на добродетель, и оттого я в него не верю.

– Из ваших слов, – отвечал я, – я вывожу два заключения: во-первых, что вы видите во мне много недостатков, во-вторых, ни одной добродетели.

– Словом, настоящего демона! – заметила Наденька с насмешливой миной, намекая на данное мне еще в пансионе прозвище.

– Вы мне льстите, – отвечал я, – и я буду неблагодарен, если не скажу вам, что вы сегодня столько же напоминаете доброго духа, сколько я злого.

Наденька бросила на меня взгляд, который – да простит ей Бог! – имел явное намерение убить меня; но благодаря моей живучей натуре убийство не свершилось. Вследствие этой неудачи Наденька встала и вышла в другую комнату, оставив меня с Варенькой; а мне только этого и хотелось.

Минута была самая интересная. Варенька любила меня. Несколько месяцев назад я вырвал у ее девической стыдливости это признание, ни слова не говоря ей о своей любви; положение мое было прекрасное и давало мне огромное превосходство. Часто во время уединенной прогулки по темным аллеям де-

ревенского сада, когда ее неопытный язык не мог удержать слов первой любви, которая так сильно ворвалась в ее еще новое сердце, Варенька останавливалась, горячая беленькая ручка ее сжимала мою руку и хорошенькие, полные любви, темно-голубые глаза вопросительно смотрели на меня и ждали страстного признания. В эти минуты покорной любви я любил, горячо любил Вареньку, но я никогда не отвечал ей словами; мой взгляд, мои ласки высказывали ей мою любовь, и она верила в нее; но мои уста упорно молчали. Я говорил ей про себя, про нее, но никогда про мою любовь, и, может быть, это-то несознание, эта-то недосказанность любви еще более заставляли любить меня. И вдруг я ускакал из деревни, не простясь с Варенькой, ничем не оправдывая, ничем не извиняя моего отъезда! Я поступил с нею как фат, которому надоела женская любовь, а между тем я вовсе не до такой степени пресыщен и избалован любовью, чтобы мог от нее бегать: напротив, я бежал только от смешного, от одной тени смешного. И вот мы свиделись с Варенькой и сидим друг против друга, и каждый желает разгадать

мысли другого. Положение Вареньки было неприятно, но я молчал с умыслом: мне хотелось видеть, как она из него вывернется. Я боялся, что она не сладит со своей любовью и начнет чем-нибудь вроде косвенных упреков или жалобы: тогда бы она много потеряла в моем мнении. Но вышло не так: Вареньке, вероятно, пришла мысль, что я забавляюсь ее положением, потому что вдруг щеки ее вспыхнули, выражение задумчивости слетело с лица, она взглянула на меня несколько прищурясь и быстро проговорила:

– Вы так скоро уехали из деревни, что, кажется, забыли взять свою любезность, потому что мы минут пять как молчим.

– Кто много чувствует, тот не теряет слов, – сказал я.

– А! Это ново! Давно ли вы начали чувствовать?

– С тех пор, – отвечал я, – как узнал вас.

Ответ мой был бы пошл, если бы его нельзя было принять за насмешку; подумав, я бы не сказал его, но увлекся репликой, и мне было крайне досадно на себя, потому что он глубоко оскорбил Вареньку.

– Жалею, что я вас узнала! – с горечью отвечала она.

Я был благодарен Вареньке за этот ответ, потому что он был вполне заслужен. Я был кругом виноват и готов бы был просить у нее прощения, если б я когда-либо сознавался в своей вине. Но это было бы не в моей натуре, и я хотел по крайней мере оправдать себя.

– Вы имеете полное право сказать это, – отвечал я с видом глубокого огорчения, – потому что наружность и истолкование Надежды Васильевны против меня; но вы несправедливы. Вам не поправилось мое молчание, потому что вы его не так поняли. Я слишком горд, чтобы оправдываться, и слишком самолюбив, чтобы напрашиваться на то расположение, которого, может быть, считают меня недостойным. Я был даже довольно деликатен, чтобы не напоминать о нем. Затем отдаюсь вполне на ваш суд, и, как бы ни был он для меня невыгоден, я никогда не обвиню вас.

Варенька слушала меня с удовольствием, потому что ей самой хотелось, чтобы я оправдался; может быть, она бы желала, чтобы оправдания мои были несколько яснее и

определеннее, но за неимением лучших удовольствовалась и этими: хорошо иметь дело с судьей, у которого подкуплено сердце. Взгляд Вареньки прояснился и развеселился, хотя черные брови из упрямства были еще несколько сдвинуты.

– Кто ж обвиняет вас! – сказала она. – Но я думала, что вы по крайней мере объясните ваш внезапный отъезд.

Я сделал мину по обстоятельствам и отвечал, пожав плечами:

– Что ж делать, так было надо!

Я люблю подобного рода ответы: они привлекательны своей неизвестностью и притом имеют то преимущество, что всякий может недосказанное истолковать по своему желанию. Впрочем, действительно, мне надо было уехать из деревни, Островский нарисовал мне такую уморительную картину моей будущности, что, сбудься она хоть в десятой доле, я был бы непростительно смешон. А куда я не убегу от смешного!

Нельзя сказать, чтобы мой ответ был весьма удовлетворителен, но Варенька знала меня: ей оставалось или примириться с моим

деспотизмом, или отвергнуть меня. Она вздохнула и задумалась. Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы на самом интересном месте ее не вошла Мавра Савишна с Наденькой. Разговор пошел по другой колее: говорили о предметах серьезных – урожае, погоде, нарядах. Я был не в духе болтать вздор и через несколько минут начал делать гигантские усилия, чтобы не зевнуть перед Маврой Савишной, которая считала это верхом неприличия. К счастью, приехал один чиновник, который кланялся с особенным почтением и поэтому слыл за прекрасного человека. Отличительная черта его поклона заключалась в том, что он каждому кланялся поодиночке и делал из спины совершенное полукружие, причем закрывал глаза, что и придавало ему вид особенной почтительности. Когда очередь дошла до меня, я воспользовался минутой молчания, встал, поклонился и вышел, предоставляя чиновнику удивляться моей невежливости, когда он, медленно приподняв голову, откроет глаза и увидит перед собой пустое место.

Вообще я остался очень доволен этой пер-

вой встречей с Варенькой. Теперь наши взаимные отношения такого рода, что от них так же близко к короткости, как и к совершенному разрыву. Я чрезвычайно люблю подобную неопределенность и жалею, что не начал службы по дипломатическому корпусу: я, верно, не был бы поручиком в отставке. К тому же эта неопределенность мне необходима, потому что я не решил еще, что мне делать с Варенькой. Наша деревенская короткость очень интересна, но ее станет ненадолго.

Мы скоро дойдем до той точки, на которой порядочные люди или разрывают, или женятся. Разрыв тогда будет труднее, чем теперь, а жениться я не намерен... Другой аргумент: мне порядочно скучно. Если я не буду занят Варенькой, мне будет еще скучнее; к тому же Варенька меня любит, и разрыв со мною очень огорчит ее. Спрашивается: благоразумно ли будет обрекать себя на скуку, а Вареньку на печаль из одной боязни будущего?.. Это сцепление обстоятельств так запутано, что я решаюсь посоветоваться с Федором Федорычем.

Федор Федорыч – мой приятель, он со мной

одних лет, имеет маленькое состояние и независимую должность. По этому последнему обстоятельству он никому не кланяется; к чести Федора Федорыча, думаю, что если бы он от кого либо и зависел, то, вероятно, тоже не кланялся; но не знаю, служил ли бы он тогда. Федор Федорыч очень умен и потому часто позволяет себе говорить вздор; он очень дурен собой, и любимый предмет его – женщины; у него предоброе сердце и презлой язык; в характере его много мечтательности и увлечений, и, несмотря на это, он ужасный скептик и материалист. Кроме страшной лени, он не имеет ни одного качества, которое бы бросалось в глаза, а между тем я бы не хотел его иметь своим соперником. Мы не были с ним друзьями, потому что не верили в дружбу, но были большими приятелями, потому что уважали друг друга. И то сказать: мы шли с ним всегда по разным дорогам, но если бы сошлись на одной, то, наверное, были бы смертельными врагами!

Вчера, возвратясь домой со званого обеда, я нашел у себя Федора Федорыча. Были сумерки; снег большими хлопьями тихо падал на

землю. Федорыч сидел у окна в кресле, положив на стул ноги. Когда я вошел, он протянул мне руку и принял меня как хозяин нецеремонного гостя.

– Давно вы здесь? – спросил я его.

– С час, – отвечал он.

– Что ж вы делаете?

– А вот люблюсь на вид.

– Да за снегом ничего не видно!

– Что ж делать! Зато весной отсюда вид чудесный.

– Хотите сигару?

– Благодарствуйте! Ваши, что для гостей, очень слабы, а собственно ваших я не хочу курить, потому что их держат только для себя.

– И для добрых приятелей, – отвечал я, подавая свою сигарочницу.

– Приятель приятелем, а сигара сигарой, – отвечал он. – Очень хорошо, если то и другое доброе: в таком случае их все таки надо беречь для себя, потому что для всех доброго не наберешься. Но я возьму вашу, потому что мне лень достать свою.

Затем он очень вяло протянул руку, взял

сигару, попросил человека подать ему свечку, которая стояла сзади его на столе, и, закурив, стал смотреть на снег. С полчаса просидел он так, не говоря ни слова, лениво куря сигару и пристально смотря на снег.

Бог ведает, какие мысли ходили в это время в его умной, прислоненной к косяку голове. Воображение ли взяло свое и рисовало ему какую-нибудь желанную, любимую картину его доброго и мягкого сердца; перевесили положительный и насмешливый ум и перебирал в карикатуре его друзей или рассчитывал приход с расходом, — не знаю. Верно только то, что он бы никогда не сознался в мечтательности и на вопрос, о чем он думает, назвал бы, во всяком случае, самый прозаический предмет. Я знал его слабость прятать сердце за ум, поэзию за существенность; мне даже нравилась в нем эта застенчивость всего душевного, и потому я никогда его не допрашивал. Между тем я велел затопить камин и придвинул к нему два покойных кресла. Когда огонь вспыхнул, Федор Федорыч оглянулся, увидел меня, комфортно курящего у камина, с любовью посмотрел на пригото-

ленное для него место, улыбнулся, зевнул, потянулся и лениво перетащил через комнату свою длинную фигуру.

– Вы умеете жить, – сказал он, опустившись в кресло и положив ноги на подушку.

– Не совсем, – отвечал я, – надо спросить вина, тем более что сегодня за обедом было прескверное, и я почти ничего не пил.

– Я бы похвалил вас за выдумку, если бы Пушкин раньше вас не усадил точно так же своего Онегина с Ленским. Вы умеете понимать поэзию, – сказал Федор Федорыч.

– Ну, мы с вами, кажется, не похожи на пушкинских героев.

– Что ж, они сами по себе, мы сами по себе. Опиши нас Пушкин, и мы были бы герои хоть куда.

– Я с вами согласен, – отвечал я. – Привести Чайлд-Гарольда, Онегина или Печорина, нарядить их в платье работы здешних портных, Водопьянова или Милоглазкина, и представить под другими именами, хоть той даме, которая бредит ими, и, поверьте, прожив год в одном с ними городе, она бы обратила на них внимания менее, чем на нас с вами.

– И была бы совершенно справедлива, – заметил Федор Федорыч, – потому что мы бы действительно стояли выше их, всем превосходством наших петербургских портных перед здешними.

Посвятив себя в герои, мы успокоились и несколько минут молча попивали раулевское вино.

– Где вы сегодня вечером? – спросил я.

– В клубе. А вы?

– У Домашневых, я думаю; я еще не был у них вечером. Вы их знаете?

– Как же! Я помню Вареньку, когда она еще играла в куклы, а теперь и сама она готова в игрушки, – сказал, вздохнув, Федор Федорыч.

– Вам жаль ее? – спросил я.

– Очень! Потому что она будет забавлять вас, а не меня.

– Почему же меня?

– Да потому, что вы прежде явились. А у вас ее не вырвешь.

– Послушайте, Федор Федорыч, – сказал я, – я очень рад, что речь зашла про Вареньку: давно хотел с вами посоветоваться.

– Напрасно! – прервал меня Федор Федо-

рыч. – Я никогда не даю советов, потому что не люблю принимать на себя чужую вину впоследствии. Впрочем, вам советовать можно: вы человек умный и потому, наверное, сделаете по-своему; я слушаю.

– Я с вами буду говорить прямо, – продолжал я, – потому что обиняками вас не обманешь, и к тому же вы такой человек, что если вам скажут что-нибудь и по секрету, так вы и тут никому пересказывать не будете. Вот видите ли, я с Варенькой в таком положении, от которого весьма близко к короткости и разрыву.

– То есть она в вас влюблена, а вы в ожидании будущего отдалили ее от себя; я договариваю за вас, потому что вы хотели говорить прямо.

– Положим, что так, – отвечал я. – Сойтись мне с ней легко, но это ни к чему не поведет, потому что я на ней жениться не намерен; с другой стороны, я имею самолюбие думать, что разрыв со мной много опечалит ее; теперь вот в чем вопрос: должно ли жертвовать ею в настоящем из опасения худшего будущего?

Федор Федорыч расхохотался.

– Вы сделали этот вопрос таким гуманным, как будто представляете его филантропическому обществу, – сказал он. – Мне вы могли сказать просто: если я теперь расстанусь с Варенькой, мне будет ужасно скучно. Если я буду ее завлекать для своей забавы, то могу впоследствии попасться в хлопоты. И потому следует ли скучать теперь из опасения большей скуки в будущем? На это я вам, пожалуй, отвечу, только скажите наперед откровенно: зачем вы меня спрашиваете?

– Вы несносны, Федор Федорыч! – отвечал я. – С вами непременно надо называть всякую вещь ее именем, иначе вы сами назовете. Делать нечего, принимаю ваше условие. Я спрашиваю вашего совета совсем не для того, чтобы ему последовать, потому что в делах чувств очень часто не слушаешь даже самого себя; но вопрос, который я вам предлагаю, очень любопытен. И в вас, и во мне, и в других из нашей братии, два человека. Первое: человек просто честный, то есть человек в абсолютном значении этого слова; второе: человек честный светский. Первый должен бы ид-

ти прямой дорогой к цели. Второй идет по тому же направлению, стараясь сколько можно спокойнее для себя совершить путешествие, и потому иногда вынужден позволять себе маленькие отклонения. Завлекать молоденькую девочку ради собственного удовольствия, говоря откровенно, дело не совсем чистое; а между тем покойный Печорин, не смотря на то, что скомпрометировал княжну Мэри, был весьма порядочный человек. Вы мне не будете отвечать как педант, и потому мне ваше мнение будет интересно, как мнение светского и умного человека. Повторяю: я спрашиваю вашего совета чисто из любопытства.

После этого монолога я с удовольствием отдышался, закурил сигару, налил вина и приготовился слушать. Между тем Федор Федорыч обдумался и, преодолев обычную лень, отвечал:

– Вы меня ставите в весьма неприятное положение говорить то, что думаешь, и, что еще хуже, думать о том, что бы я впоследствии мог сам сделать не подумавши; охота же вам выводить на суд самого себя? Ведь здешние служащие вашему примеру не последуют.

Чтобы ответить вам что-нибудь, я скажу, что, разложив каждого из нашей братии на два человека, вы много облегчили мою логику, тем более что сами же уничтожили одну половину и потому привели всех к одному знаменателю. Как человек просто честный, то есть не такой, каков я есть, я вам скажу, что завлекать девочку, хоть она будь и не княжна, а просто Варвара Александровна, вещь весьма безнравственная. Вы это и без меня знаете, потому тут и распространяться нечего. Светское мнение будет двояко: старухи, у которых десятки засидевшихся дочерей, старые девы – словом, все, что составляет грозный ареопаг, который неумолимо судит и рядит всякое слово, или, попросту сказать, сплетничает, вас беспощадно осудит, – осудит не по сознанию, а по привычке все осуждать. Эта каста до такой степени ложна и пристрастна в причинах, которые побуждают ее строго судить обо всех, что одного этого осуждения, будь оно даже совершенно справедливо, уже достаточно, чтобы извинить вас в глазах всего молодого, бойко живущего поколения. И это поколение, наша братия, наши

близнецы, вскормленные и вспоенные одним с нами духом и началами, оправдает вас и будет искренно в своем приговоре. Каждый из них не бросит в вас камня, оттого что побоится попасть им в себя. Да и что ж, в самом деле? Вы дали Вареньке несколько слез, ту боль сердца, которая называется страданиями. Да ведь это страдания моральные, и относительные! Они зависят от раздражительности нервов и чувствительности сердца: какие это страдания! Это не кусок черствого хлеба, не жесткая скамья да продранное платье! Вот страдания, так страдания! Зато знаете ли, что вы делаете этим? Вы ее избавите от скуки. Боже, как это много! Вы ей доставите право говорить своим подругам и вам впоследствии, что вы разбили ее жизнь, что вы отравили ее лучшие верования, и прочее и прочее. Великое для девицы право! И, браня вас, подруги ее будут тайно думать: счастливица эта Варенька! И подруги ее будут правы, потому что вы ей дадите жизнь; и сама Варенька с наслаждением вспомнит пережитое время! А вы гордо будете скучать своим успехом, смеясь над мнением старух вместе с молодежью, ко-

торая вам будет завидовать, и смиренно вынося колкие замечания дам, которые сами тайно пожелают быть вами обманутыми. Впрочем, все это вы сами знаете очень хорошо и прекрасно сделаете, если сделаете так, как сделаете, потому что, во всяком случае, вы будете правы, стоит только взглянуть на себя и заставить глядеть других с выгодной точки зрения; а это самая легкая вещь на свете.

– И это ваше мнение? – спросил я.

– Нет! – отвечал Федор Федорыч. – Мое мнение собственно то, что мы толкуем по пустякам, потому что все наши рассуждения ни на волос не изменяют того, что будет, и что не следует терять времени на вздор, когда в клубе ждет партия виста.

Федор Федорыч встал, пожал мне руку и, захватив мимоходом мою фуражку вместо своей, потому что она первая попалась ему под руку, ушел, кажется, в дурном расположении духа, лениво шаркая ногами. А между тем Федор Федорыч не любил карт и играл от нечего делать, всегда весьма равнодушно и неохотно, хотя громко проповедовал, что луч-

ше их нет занятия в мире.

С его уходом я остался один у догорающего огня и с пустым стаканом. Кажется, Федор Федорыч вместо моей фуражки оставил мне свое дурное расположение духа. Долго еще просидел я у камина, лениво переворачивая тлеющие головешки, и неприятные мысли сменялись в голове моей. Мне было досадно на свет, на наш людской, а не на Божий свет, за то, что добро в нем ходит об руку со злом, так что и не различишь их одно от другого; за то, что создал этот свет свои правила, над которыми сам же смеется; за то, что все в нем двулично, и стоит только переменить место, чтобы белое называлось черным, а черное белым. Мне было досадно и на себя, за то, что, понимая этот свет, у меня недостает энергии вырваться из его колеи и гордо пройти жизнь прямой дорогой, не огибая предрассудков, над которыми смеюсь и которым покоряюсь; мне было еще досаднее, что я в этом и нужды даже никакой не вижу. Мне было до того досадно на свет и на себя, что стало грустно. Я спросил одеваться и поехал к Домашневым.

Был час десятый, когда я приехал к Мавре

Савишне. Она сидела на диване с тою же добродушной улыбкой; она встретила меня тем же гостеприимным приветом, как и в деревне; на ней были и те же очки в серебряной оправе. Но городская жизнь уже коснулась ее своим воздухом: белый чепец ее был с пестрыми лентами, и вместо патриархального чулка она держала в руках роковые тринадцать карт.

Мавра Савишна играла вчетвером в бостон, по копейке фишку; председатель Уголовной палаты, совестный судья и еще кто то, служащий тоже по выборам, – все люди немолодые, небогатые и очень хорошие, разделяли ее удовольствие. Была тут еще какая-то барыня, одетая с большой претензией, которая при моем появлении встала и, несмотря на приглашение поужинать или хотя просто закусить, уехала, сказав, что пора уж на боковую, а не добрых людей беспокоить, причем, кланяясь, искоса посмотрела на меня. Я узнал ее: это была одна из того грозного ареопага неумолимых судей, про которых говорил Федор Федорыч. Страсть ее была в том, чтобы отпускать тонкие колкости и намеки. К несча-

стью, эти намеки большей частью были до того тонки, что их бы никто и не заметил, если бы она сама же их потом не рассказывала. Она меня ненавидела, особенно за то, что я не обращал внимания на ее замечания: я ее презирал как злую, но бессильную болтуню. Я был уверен, что она уехала только для того, чтобы намекнуть на мой поздний приезд и на другой день рассказать по этому случаю, какой я безнравственный человек и как она таки не утерпела и отделала меня. А я обрадовался ее отъезду потому, что мог сидеть с Варенькой, не подвергая ее пустым пересудам.

Варенька сидела в угловой комнате на диване и читала. Я пошел ей поклониться и сел с нею. Разговор начался с романа и продолжался городскими новостями. Он так же мало занимал ее, как и меня, потому что у из нас был в уме другой разговор, в сущности, быть может, еще более пустой, но гораздо более интересный. Мы дошли наконец до него, потому что бросили старую тему. Но никто не хотел начать другого, и мы оба замолчали: она – потому, что ей нельзя было начать, я – потому, что не хотел начинать.

Комната, в которой мы сидели, была только что отделана: просто, свежо и с большим вкусом. В разрезе одного угла стоял виртовый рояль, в другом – угольный комфортный диван, на котором мы сидели, обставленный цветами; решетки из густого плюща окружали его с обеих сторон, и на арке, обвитой зеленью, с которой соединялись эти решетки, висел цветной фонарик. В раме из цветов и зелени, в розовом темном полусвете, молча сидела Варенька и была очень хороша в эту минуту; бледная рука ее нервически вертела повисшую ветку; уста были сжаты, как будто она боялась, чтобы из них не вырвалось невольное слово; черные брови немного сдвинуты, и холоден, бесстрастен был взгляд ее голубых глаз. Долго и с невольной грустью смотрел я на Вареньку: я решил оставить ее и мысленно расставался с нею, и, сознаюсь, мне было больно и жалко оставить ее. От магнетического ли влияния глаз, или нечаянно, она взглянула на меня, сначала мельком, потом продолжительно; наконец, взгляд ее остановился на мне и не отрывался. Грусть или невольное сознание вины читала она на лице

моем, или разгадала она на нем тяжелую печать пустой, бесцельно и бесплодно убиваемой молодости, и прежнее участие сильнее заговорило в ней, только кровь бросилась ей в голову, щеки вспыхнули, глаза блеснули, смутились. Я не выдержал, протянул ей руку, и взгляд мой глубоко и искренно просил прощения. Румянец ее вспыхнул ярче, глазки опустились; она с минуту колебалась, потом сжатые уста раскрылись.

– Вы очень злы, – тихо прошептала она, и рука ее упала в мою руку.

Я припал к этой руке и горячо целовал ее. Мне было досадно на себя, больно за Вареньку! Какая-то неопределенная забытая боль стеснила долго, долго дремавшее сердце и пахнула на меня первой молодостью. В эту минуту я много перечувствовал; но, Бог весть, была ли любовь между этими чувствами...

Я уехал от Мавры Савишны после ужина и был в таком добром расположении духа, что не отказался даже от грибков в сметане, которые у нее прекрасно сохранялись во всю зиму. Когда я проезжал мимо клуба, в нем еще были огни. Я зашел на минуту, чтобы посмот-

реть Федора Федорыча; но его там не было. Островский сказал мне, что он ушел рано и был во весь вечер зол и скупен. За это известие он взял у меня сто рублей, сказав, что забыл бумажник, потому что в нем не было ни гроша, и сел проигрывать мои деньги, а я поехал домой.

Лежа на постели, я разбирал пережитой день и остался крайне недоволен собой. Конечно, я очень мало сделал нового: я только возобновил с Варенькой те отношения, которые существовали в деревне. Но то было в деревне! Там мы были одни, там каждый наш шаг, каждую нашу встречу не следил неусыпный свет и не рассказывал встречному и поперечному в своих непечатных стоустых ведомостях.

А между тем, осуждая себя чуть не в слух, я должен сознаться, что у меня было так весело и тепло на душе, как давно не было; и я заснул сладко и спокойно, как должен спать младенец на груди матери. Странное создание человек!

По всем соображениям, я счастлив, совершенно счастлив и сознаюсь в этом, что боль-

шая редкость. Обыкновенно, мы ясно понимаем свое положение, когда выходим из него, и, только обратясь назад и обняв взглядом все пережитое, говорим: а славное тогда было время, я тогда был счастлив! Но редко бывает, чтобы человек сознавал настоящее и отдавал ему справедливость; это происходит оттого, мне кажется, что всякое происшествие рисуется нам памятью, как картина, списанная с натуры талантливым пером: нет тех маленьких физических неприятностей, которые отравляют ее; они забываются, сглаживаются и представляются воображением в каком-то неясном поэтическом свете.

Я привык строго следить за собой и беспрестанно анализировать свое положение. В самом деле, чего недостает мне теперь? Я люблю прехорошенькой девочкой и люблю ее, сколько могу любить; встречи наши не стеснены и, при малейшей склонности к обыкновенному порядку вещей, я даже могу увенчать любовь свою законным браком. Если к этому прибавить, что все догадываются о том, что я люблю, что мне намекают об этом, что меня бранят за это и мне завидуют; что, кро-

ме того, у меня теплый дом, хороший повар, доброе вино, очень мало долгу и трезвый камердинер, – сообразив все это, надо быть особенно взыскательным, чтобы не сознаться в совершенном счастье. Неужели, в самом деле, это счастье? Если так, то, Боже мой, какая скука быть совершенно счастливым!

Я скоро пережил весь маленький репертуар наслаждений девственной любви. Условные встречи, рукопожатия, тихое «ты», сказанное при сотне глаз, в ответ на почтительный поклон, и изредка безгрешный поцелуй, сорванный полунасильно, полусвободно с девственных уст, трепещущих, чтобы не подметил его чей-нибудь нескромный взгляд, – вот и все! Можно бы было увеличить его маленькой перепиской, да иногда скучно писать поздно вечером, когда хочется спать, и беречь письма в целости, для того чтобы возвратить их после разрыва. А впрочем, ведь это для меня только повторение задов. Я все знал наперед: вольно же мне было завести любовь с девочкой, да еще такой, у которой, кроме меня, есть другой и, к несчастью, глупый поклонник!

Должен сознаться, что вся моя выходка против счастья вообще и моего в особенности происходит оттого, что я сегодня провел прескучный вечер. Сюда приехал Володя Имшин. Ему с небольшим двадцать лет; года два назад он с честью окончил служебное поприще, выйдя в отставку с чином коллежского регистратора; он очень недурен собой и глуп, как и следует быть хорошенькому мальчику, потому что природа не дает всего вдруг, а каждому понемногу. По праву соседства, дружбы детских лет и юношеской любви он почти каждый день бывает у Домашневых и страшно надоедает и мне, и Вареньке. Нет ничего неприятнее, как быть с предметом любви, когда через два стула от вас целый вечер сидит глупенькое лицо, очень недовольное собой и вами, искоса поглядывает, вздыхает да еще корчит разочарованного и позволяет себе делать пошлые замечания. Захочется ли сказать теплое слово, согреться живым участием, снять на минуту холодную, бесчувственную маску, он тут как тут – немой, непризванный свидетель! Может быть и то, что без него бы мы надоели друг другу, что мы бы расста-

лись недовольные собой и еще более охлажденные к жизни или, что еще хуже, что мы бы целый вечер были глупы, как он: находят же иногда и такие минуты! Да все-таки ему-то до нас дела нет, и порядочный человек не должен мешать другому. Решительно, при Володе я не остаюсь ни минуты с Варенькой. Варенька часто бывает грустна; она даже похудела немного, и розовые ее щечки побледнели. Бедная Варенька! Я знаю, отчего грустна она! Прошло и для нее время первого увлечения, прошло это детское и прекрасное время, когда нужны только присутствие милого, ласковый взгляд да тихое рукопожатие. Жаль мне тебя, моя Варенька! Этого времени уже не воротишь, этот медовый месяц девственного сердца бывает только раз в жизни, один раз и в единственную жизнь! Как это мало! Как эта трава, которой имя не останавливает любопытного дотрагиваться до нее, — как нетронь-меня, которая свертывается от одного прикосновения иногда нежной руки, — твое сердце уже сжалось навсегда для первых светлых впечатлений! Оно может гореть пожаром страсти, но в нем не будет уже тихого ог-

ня первой любви, подобие которого в древности стерегли, как ты же, чистые девы! Не будешь ты более смотреть на жизнь из-под солнца и вместо светлой радуги увидишь только мелкие капли дождя! Жаль мне тебя, моя бедная Варенька!

Впрочем, что ж, всему своя очередь! За весной жаркое лето, за летом дождливая осень, а там и зима, холодная зима. Таков закон природы! А бывает еще иная весна, да хуже осени. Конечно, я отчасти причиной Варенькиной грусти, но будь не я – был бы другой, не все ли равно! Ведь не я же все это выдумал!

А дело в том, что Варенька видит, что ей чего-то недостает; она сама, может быть, и нескоро бы увидела, да у нее есть друг: на что же и друг, как не на то, чтобы подсолить под благовидным предлогом! Я говорю про Наденьку. Она нейдет еще против меня открыто, потому что знает мою силу у Вареньки, но, желая повредить мне, уничтожает понемногу ее иллюзии. А после я же буду виноват! Меня же назовет она убийцей ее верований! И мало теперь Вареньке того, что прежде составляло ее счастье: она уже не довольствуется

тихим и страстным шепотом вдвоем, в ее кабинете среди цветов и неясного полусвета; она уже не верит мне на слово, ей уже успели натвердить, что я играю ею, что я ее обманываю. Чем я обманываю ее? Разве я обещал ей что-нибудь? И вот она хочет доказательств любви, хочет, чтобы я любил ее при всех, любил днем в гостиной, любил вечером на балу. Как молода, как провинциальна еще Варенька! Не знает она, что так любят девиц только мальчики, у которых ус еще не пробился, да любят еще так иногда женщину, чтобы поскорее обмануть ее.

Дал бы я ей прочитать эти строки, да девицам большую часть умных вещей не дают читать; и к тому же я их пишу только для себя и ради собственного удовольствия; а узнает она все это из опыта на собственный счет, и то в то время, когда ей нечего будет делать из своего знания.

И вот мы дошли до той границы, на которой надобно остановиться. Идти назад – скучно, идти вперед – нельзя! Невозможно и оставаться в одном положении: в две недели наешься друг другу до нестерпимости; поневоле

пойдешь окольной дорогой и будешь колесить вокруг одного и того же места! Поневоле прибегнешь к маленьким страданиям! Они чрезвычайно хорошо поддерживают любовь; они не дадут задремать ей, и, если есть хоть капля любви, где-нибудь на дне сердца, они выжмут ее наружу, конечно иногда с несколькими слезинками. Да иначе и быть не может – на то они и маленькие страдания. Страдания! Показалось уж это слово в твоём каталоге, моя бедная Варенька! Правду, видно, писала мне про тебя в последний раз Лидия: «Ведь надобно же и ей когда-нибудь страдать. Ведь страдали же я ты и я!»

Да, и мы страдали! Да зачем же Вареньке-то страдать? Отчего же надобно страдать ей когда-нибудь? Неужели тот обречен уже на страдания, кто живет жизнью сердца? Если так, то не лучше ли задушить всю восприимчивость сердца в первой поре его развития и оставить его биться однообразным маятником в механизме нашего тела! Тогда бы, как бронзовый гигант, смело и покойно мог идти человек, от колыбели до могилы, и топтать неуязвимой пятой этих змеенышей – эти

страдания, которые отравляют лучшие соки нашей жизни. Тогда, пройдя отмеренное поле без сожаления к оставленному, равнодушно мог бы лечь человек в отверстый гроб, и умер бы он – не живя! Куда как весело! Нет, уж видно, коли жить, так и страдать! И нет жизни, если нет страданий! Грустный вывод!

Вот уже с месяц, как любовь наша питается маленькими страданиями. Они пришли не вследствие рассуждения, не как дело ума и расчета, а как необходимый путь любви, которая требует развития и берет косвенное направление, потому что ей прегражден прямой путь. Таков закон всего, что ложно и неестественно в основании. Человек создан из плоти и духа, и любовь его, как он сам, должна быть двойственна, для того чтобы составить полное целое. Вольно же было мне, глубокому мыслителю, так аналитически рассуждающему о любви, очень дурно применять ее на практике! Я всякому чувству нахожу очень хорошую причину, и это мне несколько не мешает делать глупости; сделав их, я подчиняю себя логическому разбору, нахожу причину глупости и остаюсь совершен-

но доволен: таково направление моего несносного ума! К чему, например, эта привязчивость, эта ревность, эти придирки, которыми мы преследуем друг друга, для того только, чтобы вытащить новое доказательство любви и потом на минуту и сладко примириться? Что за странная прихоть сердца – составлять несчастную любовь, тогда как у нас есть все условия для счастливой любви! В самом деле, нашу любовь можно назвать несчастной, потому что сумма маленьких страданий составит одно большое. У диких, необразованных людей есть нож, есть кровь, есть убийства и истязания. У нас, людей отполированных, нервы так раздражены, чувствительность так утончена, что мы не имеем нужды прибегать к таким сильным и грубым средствам: у нас есть другие мучения – невнимание, равнодушие, предпочтение и насмешка, убийственная насмешка! Вот орудия нашей казни. И, Боже мой, как иногда глубоко и тяжело страдает самолюбивый человек от одного неблагоприятного взгляда или небрежного ответа! Но, говоря правду, я не могу сказать, чтобы был очень несчастлив, потому

что в моем маленьком романе я лицо действующее, отнюдь не страдательное. Да и глупо бы было, если бы я выбрал себе другую роль. Но я, как хороший актер, часто увлекаюсь своим положением: прикидываясь огорченным каким-нибудь маленьким невниманием, ревнуя Вареньку с полным убеждением, что ревность моя неосновательна, я иногда до того усваиваю постороннее чувство, что в самом деле глубоко и истинно страдаю. Только эти страдания продолжаются недолго: возвратясь домой, я вместе с перчатками скидываю свое расположение, смеясь посмотрю в зеркало на свое побледневшее лицо и, свободно вздохнув, спокойно погружаюсь в мягкое кресло. Нет, видно, я не люблю тебя, Варенька! Видно, я тебя в самом деле обманываю! О чего же мне не удастся обмануть себя? Зачем внутри меня живет непрерывно неусыпный дозорщик, который открывает мне пружину каждого моего чувства, каждого моего слова? Неужели навсегда прошло для меня это золотое время, когда не нужно мне было рядить себя в чувства, как в чужие платья, когда они приходили сами по себе,

когда я жил и забывался жизнью! Вот она, жизнь ума, о которой я мечтал, когда жил сердцем. Вот она, холодная и спокойная жизнь, которая рассуждает над каждым шагом, владеет каждым душевным движением и знает причину и последствия каждой мысли!

Впрочем, сам же я виноват: теперь мне бы надо заниматься торговыми оборотами да, как говорится, устраивать свои делишки или отдаться честолюбию, и все было б на своем месте. А я еще гоняюсь за любовью да за чувством, хочу пожить еще сердцем, которое, я думаю, высохло, как пергамент или лицо моей семидесятилетней тетки. Когда я отвыкну от этой старой и глупой привычки?

Вчера, часу в третьем утра, я сидел дома, один, погрузившись в свое мягкое истертое кресло и протянув, по обыкновению, на стул ноги. Я был утомлен утренними посетителями. У меня были человека два-три бесцветных лиц. Они зашли ко мне так, чтобы только зайти к кому-нибудь, говорили так, чтобы только не сидеть молча, и надоели мне страшно так, потому что они всегда всем на-

доедают; должно быть, эти люди заразительны! Проводив их, я остался в самом дурном расположении духа, в том расположении, в котором они всегда находятся. Мне не хотелось читать, не хотелось думать, не хотелось даже и курить, однако же я курил, как и они, по привычке. На дворе было что-то тоже вроде моих посетителей: должно быть, они и воздух заразили, как и меня. Погоды как будто не было решительно никакой: не было холодно и не было тепло; не было ветрено, не было и тихо; на небе не было солнца и не было туч: просто и неба как будто не было, а было что-то такое бесцветное. Словом, подобной пустоты внутри себя и в воздухе, который имеет большое влияние на мое расположение духа, я давно не ощущал. Поэтому я ужасно обрадовался когда в этой пустоте заметил живое и интересное существо – Федора Федорыча. Он тащился, или, как говорится, трусил перед моими окнами на ваньке, сидя как-то впол-оборота, потому что искал комфорта в полуразвалившихся жестких санях, в которых ему некуда было протянуть длинные ноги. Я послал позвать его и вскоре услышал по зале его

ленивую, шаркающую походку.

– Здравствуйте, Тамарин; что вы делаете? – спросил, входя, Федор Федорыч.

– Хандрю, – отвечал я, протягивая руку.

– Хуже занятия вы и не могли придумать, – сказал он, – и если зазвали меня, чтобы разделить его, так уж я лучше зайду в другое время.

– Нет, – отвечал я, – таких гостей, как вы я этим не угощаю. Оставайтесь, пожалуйста, обедать!

– Это другое дело, – сказал Федор Федорыч и положил свою шляпу.

– Хотите халат?

– Нет, я лучше пошлю за своим. Ваш слишком хорош и нов, а халат только тогда и имеет истинный комфорт, когда его обносишь до того что локти начнут протираться.

Я был совершенно согласен с Федором Федорычем, послал к нему за халатом и туфлями и не велел никого принимать.

– Что нового? – спросил я Федора Федорыча.

– Да нового ничего, кроме вас.

– Это как? Я, напротив, беспокоюсь, что ко

мне все начали страшно привыкать.

– Оно почти правда, но вы новы для тех, которые заметили в вас перемену. Вы очень переменились в последнее время.

– В самом деле? – спросил я, зевая, хотя это замечание меня очень интересовало и даже беспокоило.

– Да! – отвечал Федор Федорыч. – Не ручаюсь, заметили ли эту перемену другие, но я говорю за себя.

– Расскажите же, – сказал я, подавая ему сигару.

– Нет, мы лучше поговорим об этом после обеда. Сигара и интересный разговор портят аппетит, – отвечал он.

Я не противоречил и велел тотчас подавать обед.

После обеда, когда мы спокойно уселись с кофе и сигарами, лицо Федора Федорыча приняло немного насмешливое выражение.

– Над чем вы смеетесь? – спросил я его.

– Я должен вам покаяться, – отвечал он. – Давеча я увидел, что мое замечание вас интересует. Вы обедаете поздно, а я был ужасно голоден; рассчитывая на вашу мнительность,

я нарочно отложил разговор, зная, что это единственное средство заставить вас изменить час обеда.

– Вы подметили мою слабую сторону и хорошо сделали, что воспользовались ею, – отвечал я, смеясь. – Это и доказывает истинно умно человека.

– Не совсем! – отвечал Федор Федорыч. Умный человек не сознался бы без нужды в своей хитрости.

– Однако вы мне за нее должны поплатиться вашим замечанием.

– Пожалуй; я вам говорил, кажется, что вы изменились в последнее время, и это справедливо. Вглядитесь пристальнее в себя и вы сами убедитесь! Вы побледнели, даже похудели немного, в обществе вы часто скучаете...

– Я всегда скучал, – прервал я.

– Может быть, но прежде вы терпеливее сносили вашу скуку и нисколько не выказывали ее. Вы не так веселы, как прежде, говорите мало, а если и говорите, то всегда непростительно зло, – словом, вы кажетесь влюбленным.

– Вот вздор какой!

– Да, я с вами согласен, что вы не влюблены, потому что я вас знаю; но другие могут это подумать, и очень основательно! В вас все признаки влюбленного.

– А что ж я в ваших глазах? – спросил я Федора Федорыча с недоверием человека, который сомневается, чтобы верно поняли его.

Федор Федорыч сделал мину доктора, который раздумывает о болезни пациента, протянул небрежно к столу допитую чашку кофе и опустил ее вместо стола на пол. Осколки зазвенели, и я невольно вздрогнул.

– У вас ужасно раздражены нервы, – сказал он, лениво опускаясь в кресло, как будто в самом деле поставил на место пустую чашку.

– Не угадали, – отвечал я. – У меня биение сердца. Это моя давнишняя болезнь.

– От нервов, Тамарин, поверьте, от нервов! Впрочем, это болезнь всех, кто сильно чувствует.

– Так вы находите, что мне надо лечиться? – спросил я со свойственной мне мнительностью.

– Не мешало бы, – отвечал Федор Федорыч. – Да для вас нет доктора: ваша болезнь –

светская болезнь, и тут доктор не поможет. И в самом деле, как он может вас лечить в кабинете, когда корень болезни сидит на мягкой кушетке где-нибудь на Казанской, в доме Мордасова, да читает новый роман, а думает о вас?

Я расхохотался.

– Значит, я не неизлечим, по-вашему?

– Нет, это пройдет со временем, – заметил Федор Федорыч серьезно. – Я бы вас вылечил скорее, да не хочу заводиться практикой: много хлопот; к тому же я наблюдаю общественные болезни по любви, а не по должности.

– А что бы вы мне прописали?

– Три визита в день к тем старухам, которые вас бранят и на всех сплетничают.

– Тогда бы у меня разлилась желчь! – заметил я.

– И то правда, желчь – болезнь самолюбивого человека, точно так, как биение сердца – болезнь человека чувствительного, но скрытого. Вы, наверное, страдаете и тем и другим, потому что это болезни нашего века.

Я переменял разговор, из опасения, чтобы

Федор Федорыч не открыл во мне еще каких-нибудь болезней нынешнего века. Когда он ушел, я, по свойственной мне мнительности, подошел к зеркалу и долго всматривался себе в лицо. Действительно, я нашел, что похудел в последнее время. Кроме того, я заметил в себе другую перемену. Я взял журнал и внимательно прочел его за последнее время. Я веду этот журнал, чтобы следить за собой. Если бы кто узнал это, то назвал бы меня эгоистом, и, может быть, не ошибся бы. Но я следую совету Пушкина, я признаюсь, что для меня предмет в высшей степени любопытный и достойный изучения – я сам. Вот почему, несмотря на лень, я записываю все, что сколько-нибудь относится до моей внутренней жизни; и сегодня я был вознагражден за это. Я ясно увидел и проследил перемену в себе. Страницы, начатые под влиянием моей насмешливо скупающей натуры, изменили свой характер. Чаще и чаще в последнее время начали являться ребяческие выходки больного и раздражительного сердца. Одно успокаивает меня: эти выходки всегда оканчиваются холодным резонерством ума. Зна-

чит, есть еще время остановиться и успокоить мои бедные нервы, потрясенные маленькими страданиями. Нет, мало еще я закален жизнью: я не умею завлекать не увлекаясь!

7-го был бал в Дворянском собрании. Поутру я заехал к Вареньке и нашел у нее Наденьку.

При моем входе мне показалось, что Варенька немного сконфузилась, как дитя, пойманное в шалости; Наденька, напротив, была очень весела и протянула мне руку. После этой встречи я готов был прозакладывать голову, что против меня что-нибудь затевается, и когда я осмотрелся внимательно, мне тотчас бросился в глаза букет, который стоял в вазе на рабочем столике Вареньки.

– Откуда у вас этот букет, Варвара Александровна? – спросил я, подойдя к столу.

– Владимир Имшин прислал мне к сегодняшнему балу, – отвечала Варенька холодно. – Нравится он вам?

– Володя Имшин?

– Нет, букет.

– В нем более любезности, чем цветов, – заметил я, с сожалением посмотрев на связку

зелени, в которую были воткнуты одни месячный розан и несколько желтых цветков.

– Легче находить недостатки в чужой любезности, чем догадаться сделать ее самому, – заметила Наденька, обратясь, по провинциальной привычке, к Вареньке, как будто ее слова не относились ко мне.

– Счастливы слабые умом! – заметил я. – У них всегда есть покровители, сильные духом. Но если этот букет завянет к 9 часам, как я надеюсь, – продолжал я, обратясь к Вареньке, – тогда у меня будет свежий для Варвары Александровны.

Варенька весело взглянула на меня и готова была, кажется, благодарить, но Наденька предупредила ее.

– А! Вы на... де... е... тесь, что он завянет! проговорила она протяжно, с ударением на первые слова.

Я увидел, что сделал маленький промах, но делать было нечего, и, рассчитывая на свое влияние над Варенькой, я отвечал с уверенностью:

– Я надеюсь на все, в чем убежден.

Но я рассчитывал без женской гордости и

присутствия доброй подруги, которой боятся более врага.

Варенька взглянула на меня, как на фата, который хвастается небывалой победой, и отвечала:

– Благодарю вас, мр. Тамарин! Букет Имшина так хорошо сохраняется, что я не буду иметь нужды в вашем.

Я боялся побледнеть от злости и потому счел нужным приятно улыбнуться. Затем я весело высказал глубочайшее сожаление, поклонился очень низко и вышел.

На дороге я повстречал вечно веселую и резвую Марию Б***, которую мы прозвали Марион, за ее красоту и свободную прелесть обращения.

Марион была, кажется, создана для того, чтобы возбуждать ревность. Ее свобода обращения в жеманном провинциальном кругу тотчас доставляла пищу языкам, и молва кричала про нового счастливец; но, в сущности, все мы выигрывали у ней поровну – и очень мало. Ухаживать за ней было в моде, и за ней ухаживали вес; но постоянного поклонника у нее не было.

Марион шла к бульвару под руку со своим мужем, блистая своей свежей красотой на утреннем морозе. Еще под влиянием живой досады, поравнявшись с ней, я остановился и вышел из саней.

– Держу пари, – сказал я, подходя к Марион, – что вы, увидав меня, думали, откуда я еду.

– Вы вечно воображаете, что все столько же заняты вами, как и вы собой, – отвечала она смеясь.

– Однако ж, я угадал.

– Совсем нет. Я думала, будет ли идти ко мне сегодня розовое платье.

– В таком случае, я вам проиграл букет из белых камелий.

– Ах! Да это было бы очень мило и чрезвычайно любезно; только вы их не найдете в городе.

– Это уже мое дело. В девять часов я привезу букет.

– А я вам дам мазурку. Хотите?

– Еще бы!

Затем она подала мне из муфты тепленькую руку, и мы расстались очень довольные

друг другом.

Возвратясь домой, я тотчас послал на почтовых за двадцать верст за букетом, к знакомому мне барину, у которого были чудесные оранжереи, а сам начал пить зельцерскую воду, потому что желчь беспокоила меня. Меня взбесил разговор с Варенькой. Как поставить меня в параллель с Имшиным и еще отдать ему, хотя и притворное, преимущество! Как меня, будь это из прихоти, будь это из ревности, оскорбить минутным унижением до Имшина, да еще в угоду злой девочке, которой я не терплю, и в ее же глазах. Как ставить на одни весы мое влияние с влиянием какой-нибудь подруги! При одном воспоминании желчь душит меня. О, Варенька! Ты не знаешь, как опасно играть моим самолюбием. Ты ребенок, оскорбила во мне ту струну, перед которой я сам раболепствую. Дорого заплатишься ты ей, моя Варенька, если тебе не удастся заставить молчать ее! Да где ж тебе это сделать? Конечно, тут более всего виновата Наденька и их глупая дружба; но зачем же поддаваться ей? А странная вещь эта дружба! Несмотря на все мое влияние на Вареньку, я

не могу разубедить ее, что между двумя девочками это чувство неестественное, что это просто взаимное обморочивание, средство для одной иметь влияние на другую. Так нет! Говорит, что я не понимаю этого чувства, что я скептик, что я ошибаюсь. А, просто на этих губернских барышень находит какое-то бешенство на дружбу. Увидятся во второй раз в жизни и уж ходят под руку, так что их водой не разольешь; уверяют друг друга во взаимной симпатии и расскажут про себя всю подноготную. Затем начинается переписка, обмен колец и браслетов, внутри коих вырезывается А* a son amie В*, год, месяц и число. Все это продолжается, разумеется, до первой кости, после чего следуют объяснения, чувствительные сцены, разрыв. Тотчас после этого выбирается с обеих сторон новая подруга: ей жалуются на старую, рассказывают все ее маленькие секреты, которые после этого отправляются по городу, – и опять та же песня!

Я не знаю, откуда взялась у наших барышень эта эпидемическая дружба? Молодая ли душа просится в ней наружу, или она своими переписками, клятвами и обменами имеет

для них прелесть безгрешного романа и хоть сколько-нибудь расцветчивает их однообразную, стянутую этикетом молодость?

Целый день я был занят тем, что пил зельцерскую воду да бранил про себя, за неимением слушателей, дружбу и делал на нее очень острые и злые замечания.

В девятом часу посланный мой возвратился и, несмотря на осьмнадцать градусов мороза, привез мне в целости чудесный букет; а в десять я поехал к Марион. Она была одета уже по-бальному и хороша по обыкновению. Букет привел ее в восхищение: и в самом деле, камелии в январе можно достать только для красавиц. Прелесть его рикошетом, должно быть, отразилась и на мне, потому что я никогда не видел Марион более веселой, любезной и снисходительной. Мы провели чудесные четверть часа в неумолкаемой болтовне, сидя друг возле друга в бальных туалетах. Бывают минуты, когда вдруг какая-то неведомая сила сходит на два чуждые существа и составляет между ними неосязаемую связь. В чем эта сила, откуда проявляется она, не знаю. Навевает ли ее вид цветка, или за-

пах духов, или свежесть бального туалета, – словом, что-нибудь такое, что в былое время, при других обстоятельствах, играло роль в каком-нибудь эпизоде нашей жизни и безотчетно затрагивает в душе давно замолкнувшие, но когда-то сладко звучавшие струны, – только есть эта сила, которая возбуждает в нас симпатичность, ставит в доброе и странно приятное расположение духа. В эти минуты и говорится, и смеется, и весело на душе, и что-то тянет друг к другу. Под влиянием этой силы, мы провели превеселые четверть часа tete a tete с прехорошенькой Марион, и – каюсь в собственной слабости – я пал перед искушением и поцеловал ее руку; и она не отдернула ее с жеманством провинциалки, и не отдала ее равнодушно с холодностью светской кокетки, которая знает, что не стоит гнаться за такими пустяками; у подобных женщин я бы и не поцеловал руки; но в руке Марион были жизнь и теплота, глаза ее светились, и румянец сильнее заиграл на щеках. В это время из залы слышались шаги, и едва лицо мое успело принять приличное обстоятельством выражение, как в дверях пока-

залась чопорная и надушенная фигура мужа, в белом галстуке и жилете.

– Я готов, душа моя, – сказал он, обращаясь к жене. – А! Мг. Тамарин! Вы сдержали слово... какой чудесный букет! Признаюсь, я думал давеча, что вам трудно будет исполнить обещание.

– Напрасно ты думаешь, мой друг, – сказала Марион, таким тоном, который можно было принять за нежный упрек и за самую злую насмешку.

– Я имею привычку обещать что могу и выполнять что обещаю, – отвечал я.

– О, да, да! Я знаю, вы сделаете все, что обещаете, – сказал муж с улыбкой, в которой было неоспоримое убеждение, что он сказал что-то чрезвычайно острое и тонкое.

– Я одного с вами мнения, Тамарин, – сказала Марион, – и напоминаю вам, что танцую с вами мазурку. Поедемте.

И мы поехали.

Бал уже начался. Звуки вальса объяснили нам, что присутствие начальницы города, до приезда которой балы не начинались, сняло печать молчания с оркестра. Директор, доб-

рый старичок, прекрасно играющий в вист, что не давало ему еще права на знание приличий, встретил Марион у дверей в темно коричневых, не первой молодости перчатках. Марион вошла, хороша как день, и

«Странный шепот встретил ее явление: – свет ее заметил...»

а муж ее самодовольно поправлял галстук и пошел кланяться всем наличным важным особам. Вслед за Марион вошел и я в круг танцующих, который широко раздвинулся перед нею. Несколько пар пронеслось мимо нас в вихре вальса, и между ними мой взгляд тотчас отличил Вареньку. Она была в белом платье, убранном цветами. Туалет ее был свеж и очень мил; сначала мне было досадно, что я не нашел в ней ни одного недостатка, к которому могла бы придраться моя желчная насмешка, но второе чувство было гордое самодовольствие. Мне приятно было думать, что это грациозное, молоденькое и миленькое существо, которым любовалась толпа зрителей, во всей этой толпе ищет только меня, одного меня. А между тем, опустясь на руку кавалера, легко скользя по паркету и склонив

немного бледненькую, чем-то отуманенную головку к правому плечу, Варенька неслась мимо меня, когда при повороте перед ней мелькнула моя фигура, рядом с Марион, которая не успела еще занять место; она быстро оглянулась, как бы желая удостовериться, не ошиблась ли, и торопливо сказала:

– Merci!

Кавалер спустил ее на первое свободное кресло, и я молча и холодно поклонился ей: в руке у нее был Володин букет. В это время прошла мимо нее Марион; она держала у розовых губ белые камелии и легко кланялась. Варенька взглянула на нее, побледнела и отвернулась.

Мне стало весело, и я пошел к знакомым дамам.

Бал был в половине. Музыканты фальшивили нестерпимо. Мой приятель Островский увивался около хорошеньких, не скупился на комплименты и блистал остротами, говореными им еще в Петербурге. Федор Федорыч, никем не занятый, довольно равнодушно переносил скуку и говорил только с теми дамами, около которых было свободное кресло. А

я был лихорадочно одушевлен и особенно и удачно весел. Мои эпиграммы были метки и остры, мои комплименты свежи и ловки. Мне захотелось быть первым между всей молодежью, и я успел в этом. Я не пропустил без внимания ни одной дамы будь она *sur le retour*; ни одной девицы, будь она зрелой де-вой; и дамы и девицы говорили обо мне: *il est charmant*. Я не оставил в покое даже стариков и старух: и старики и старухи были от меня в восхищении, тем более что ими я не имел привычки заниматься. И из всей этой толпы к одной не подошел я, одной не сказал ни слова, именно той, для которой все это делалось. Да, я все это делал для Вареньки, не для того, чтобы понравиться ей: это было не нужно, но по тому женскому кокетству, которое инстинктивно заставляет кружить сильнее голову поклонника, может быть, за несколько дней перед тем, когда его бросит.

Между тем заиграли четвертую кадрили. Это был мой кадрили *abonne* с Варенькой. Когда пары начали формироваться, я подошел к Вареньке. Она сидела рядом со своей Наденькой, которая что-то говорила ей; но Варенька,

кажется, ее не слушала.

– Это четвертая кадрили, – сказал я, слегка наклоняясь.

Она приподняла голову, и, я думаю, оригинальную группу составляли мы для того, кто бы захотел в эту минуту наблюдать за нами. Весело и свободно стоял я перед нею, и лицо мое не выражало ничего, кроме беззаботной веселости. Но приподнятая на меня головка Вареньки была полна выражения. Грусть и досада, кажется, просились в ней наружу, но она владела собою сколько могла и не допустила их выказаться. От этого тихий взгляд ей темно-голубых глаз был грустен; и между тем на бледных щеках обрисовывались две улыбающиеся ямки; это столкновение противоположностей придавало столько игры и выражения ее хорошенькому личику, что она, казалось, была взята из какой-то картины Сальватора. Но на первый взгляд Варенька просто казалась рассеянною: она молча смотрела на меня, и я вынужден был повторить мои слова:

– Это четвертая кадрили.

– Я думала, что вы забыли ее, – сказала она,

тихо приподнимаясь.

– За кого вы меня принимаете! – отвечал я тоном вежливого укора и повел ее в круг танцующих.

Островский был моим vis-a vis, и я устроил так, что он танцевал этот кадрили с Марион.

Когда Варенька встала на место, она, должно быть, догадалась, что я нарочно выбрал для нее это; она знала, что ничего не делается у меня без умысла и что я не упущу случая помучить ее. Варенька взглянула на меня без упрека, без досады; но взгляд ее задумчивых глаз был так грустен, так безропотно печален, что мне ее стало жаль! Если бы в эту минуту рука ее была в моей, я бы, может быть, был до того слаб, что пожал бы ее, но мы стояли чинно, поодаль, и я одумался. Я принялся за свою роль и повел тот пустой и пестрый разговор, которым находчивый кавалер занимает свою даму. Он был остер, игрив и неумолкаем; я не дал ей никакой возможности свести речь на близкую нам колею и целый кадрили продержал ее в этом положении. Варенька почти все время молчала. Будь на ее месте незнакомая дама, я бы нашел ее крайне нелюбезной, но

тут я обвинял ее только в том, что она не взялась за роль, которую я ей оставил; и то правда! если бы она стала говорить со мной тем тоном, которым я говорил с нею, — тоном бальной дамы, с неинтересным кавалером, — это бы значило принять разрыв. А Варенька, кажется, был далека от этого; она готова бы была сознаться в вине и какой-нибудь уступкой выкупить примирение; да поздно: мне уже порядком надоела эта комедия!

С последним ударом смычка я закончил фразу, отвел Вареньку на место и поблагодарил ее самым почтительным поклоном. Худо скрытое выражение досады промелькнуло на ее лице: надежды на примирение, по крайней мере в этот вечер, уже не было, и она, полная женской гордости церемонно и холодно отвечала:

— Merci!

Я отошел, но не так скоро, чтобы не заметить, как Варенька обернулась к Наденьке и сказал с досадой:

— Скажи ему, что я танцую с ним мазурку.

Бедная! Она оставляла для меня мазурку, на которую звал ее Володя!

Вслед за тем Наденька подозвала к себе Имшина, что-то сказала ему; он поклонился Вареньке и пошел по зале, с весьма самоодвольным улыбающимся лицом.

Мне начинала надоедать моя веселость. Я ушел в боковую залу, к играющим в карты, и просидел в ней до мазурки. Но когда заиграли ее, я вышел с новыми силами. Моя веселость сделалась прилипчива: она увлекала других, и мазурка была чудно оживлена. Я с Марион был в первой паре. Новая фигура сменялась одна другою; они были разнообразны и одушевлены. Казалось, и оркестр в нашей веселости почерпнул новые силы и играл бойко и весело. Бал вдруг оживился, как будто невидимая нить связала всех и передавала веселость одного другим; дамские личики разгорелись и улыбались, кавалеры стали ловчее и любезнее, и даже эта фаланга маменек, тетюшек и бабушек, которые обыкновенно молча и безжизненно сидят рядом, вокруг танцующей молодежи, как старые семейные портреты на стенах галереи, — даже эта фаланга странно зашевелилась, как труп от действия гальванизма, и какие-то мысли начали бро-

дить по ее морщинистым или гладко-безжизненным лицам. Говорите после этого, что нет силы воли, которая может двигать одним желанием посторонние лица, и что детская сказка предание об Орфее, заставлявшем плясать камни!

В один из коротких промежутков мазурки, когда другие пары делали фигуру, а из нас по какому-то чуду никого не выбрали, я позволил себе маленькую свободу молча отдохнуть возле моей дамы. Мы просидели так несколько минут, не в том беспокойном молчании, когда разговор истощится и с обеих сторон приискивают какую-нибудь фразу, чтобы поддержать его, но в приятном раздумье пары, немного утомленной богатством веселости и мыслей. Я повернул голову к моей даме и любовался ею. Лицо ее горело полным румянцем, и влажная кожа его была необыкновенно нежна; блеск и одушевление глаз потухали от утомления, как жаркий уголь, который начинает покрываться пеплом; черные локоны развились до плеч, и чудно изваянная грудь часто и заметно колебалась.

Какая-то ленивая нега напала на меня;

в эту минуту я бы ни за что на свете не взялся надеть на себя какую-нибудь маску или говорить не то, что думаешь: мне было так хорошо быть тем, чем я есть. Я смотрел на Марион с наслаждением, ее головка будто почувствовала мой взгляд и обернулась ко мне. Мы посмотрели друг на друга и не знаю отчего, оба улыбнулись.

– Послушайте, Тамарин, – сказала она, – у меня есть к вам просьба.

– Все, что хотите, – отвечал я.

– Вы то же скажете всякой даме; но я бы желала, чтобы это была не одна фраза. Говорите, пожалуйста, прямо.

Я посмотрел на нее: она была замечательно хороша.

– Извольте, – отвечал я. – Я вам признаюсь, что не знаю почему, но вы сегодня имеете особенную власть надо мной, и я не знаю, чего бы я для вас не сделал.

– Я это заметила, – сказала она с самой кокетливой улыбкой, – и хочу воспользоваться случаем. Во-первых, мне нужна ваша откровенность. Скажите мне, вы в ссоре с Варенькой?

– Прежде нежели я вам отвечу, я должен объясниться. Вы хотите, чтобы я отдался в вашу власть безусловно. Я готов это сделать, но знаете ли почему? Я, в свою очередь, тоже заметил, что вы сегодня особенно хорошо расположены ко мне?

Я сделал этот ответ вопросом, и моя дама отвечала:

– Чтобы подать вам пример откровенности, я вам скажу правду: действительно, сегодня я... – Марион затруднилась в выражении, – я... ближе к вам, чем когда-нибудь и к кому либо.

Разговор принял такой скользкий оборот, что угрожал в самом начале кончиться весьма обыкновенным объяснением. Марион заметила это и торопливо прибавила:

– Теперь отвечайте мне: вы в ссоре с Варенькой?

Я посмотрел на Вареньку: она сидела почти против нас с Имшиным. Бал был в разгаре. Володя, кажется, был одушевлен им: улыбка расцветчивала его простоватое лицо; я уверен, что он говорил ужасные пошлости, а между тем позволял себе нестерпимо самодо-

вольный вид. Возле Вареньки сидела Наденька, по левую сторону своего незначущего кавалера, пересев нарочно, чтобы быть рядом со своей подругой; она произвела на меня впечатление пиявки, которая пристала к хорошенькому телу. Увидев Вареньку в этой обстановке, я даже не обратил внимания на нее; я не подумал, что, может быть, много бурных чувств колебалось в эту минуту ее девическую грудь. Мне только стало страшно досадно на себя, что я вступил, хоть и не в трудную борьбу, с такими ничтожными существами, как Имшин и Наденька. Я был мелок в собственных глазах, и сердце мое сжалось, как будто мне нанесли кровную обиду. Холодно посмотрел я на Вареньку, и в одно мгновение я твердо решился бросить ее влиянию тех, чье влияние она мне оскорбительно противопоставила.

Все это было делом минуты; я обратился к Марион, и какое-то приятное ощущение овладело мной: как будто я смывал вину свою перед собой и возвышался в собственном мнении. Я весь отдался этому чувству и отвечал на вопрос ее со странной во мне откровенно-

СТЬЮ:

– Да, наша ссора не более каприза, потому что я имею самолюбие думать, что от меня зависит примирение. Но она прочна, потому что мне надоела эта игра в капризы.

– Я у вас не спрашиваю причин, – мне до них нет дела, – я только хотела убедиться в справедливости догадки. Мне показалось, что вы намерены за мной волочиться.

– Я боюсь влюбиться в вас, – отвечал я.

– Перестаньте! Вы видите, я говорю с вами прямо. Вы бросили бедную Вареньку и теперь хотите заняться мною от нечего делать. Вот вам моя просьба: не ухаживайте за мной! Это так обыкновенно и так мне надоело! Мне бы хотелось для себя, чтобы вы были лучшего мнения обо мне, и для вас, чтобы вы не впадали в эту пошлость. Вы не поверите, как это несносно быть вечно предметом преследования, беспрестанно защищаться от намеков на любовь да от напрашиваний, бояться сказать кому-нибудь доброе слово, чтобы его не истолковали сейчас в свою пользу. Право, иногда нестерпимо скучно быть хорошенькой женщиной.

После этих слов я почувствовал к Марион особенное уважение. В первый раз взглянул я на нее, как на женщину, а не как на хорошенькую жену ближнего. В моем уме живо представилось положение красавицы в нашем обществе, и я узнал, сколько было правды в словах ее. В самом деле, откинув мелкие забавы беспрестанно льстимого самолюбия, к которым можно привыкнуть до того, что они перестают даже тешить, как должно быть неприятно положение этого перла создания, к которому наша братия беспрестанно льнет, как муха к сахару, жужжит вечно одну и ту же избитую песню и добивается только унести немного сласти... Как должно быть невыносимо скучно быть вечно окруженной вниманием и любезничанием толпы поклонников и быть совершенно изолированной в этой толпе! Как должны быть мелки и приторны в ее глазах мы, маленькие ловеласы, с нашими маленькими страстями и маленькими объяснениями! Повторяю, я глядел на Марион с уважением; а она была хороша по-прежнему, еще лучше прежнего, потому что черные брови ее немножко нахмурились и

веселая улыбка проглядывала сквозь досаду, как иногда светлый луч сквозь живописную тучу.

– Вы совершенно правы, – сказал я, – и мне ничего не стоит исполнить вашу просьбу: я вас слишком уважаю, чтобы ухаживать за вами. Но, повторяю вам, я боюсь влюбиться в вас.

В голосе моем было столько убеждения и действительного страха; я, в самом деле, так боялся в эту минуту серьезно влюбиться в Марион, что она поглядела на меня большими любопытствующими глазами.

– Это странно! – сказала она, задумавшись. Я не понял, к чему относились ее слова, и продолжал:

– Что ж тут странного? Вы в состоянии внушить страсть; вы сами в этом сознаетесь; но я боюсь в этом случае не вас, не борьбы, не сопротивления: я выдержал не одну битву, и они не страшат меня, – я боюсь себя. Я боюсь быть рабом страсти, потерять власть над собой: тогда я в состоянии наделать глупостей и позволить водить себя за нос. Я буду смешон!

Марион невольно улыбнулась.

– Да, для человека с вашим самолюбием это действительно страшно, – сказала она. – Я понимаю вас; но не это мне было странно: меня поразило сходство нашей настроенности. Вы верите в симпатию?

– Да, с хорошенькими, – отвечал я серьезно.

– Знаете ли, что почти та же причина заставила меня начать этот разговор, и я уверена, что вы не истолкуете его в дурную сторону. Да, я тоже боюсь вас. Когда вы давеча перед балом сидели у меня, я чувствовала к вам какую-то странную симпатию, я была под вашим влиянием, потом одумалась, испугалась и решила говорить с вами как с умным и благородным человеком.

В эту минуту Марион мне до того нравилась своей милой откровенностью, что я готов был тотчас же объяснитьсь в любви, чтобы доказать ей, что я совершенно ее понял. Но она продолжала:

– Я не буду говорить вам о долге замужней женщины, семейных обязанностях, собственном достоинстве: я знаю все, что говорится в этих случаях, и «за» и «против»; об этом мне

так нажужжали в уши, что скучно и говорить. Но я вам скажу просто: мы с вами не шестнадцатилетние дети, в нас страсть не вспыхнет от одного взгляда, и мы знаем, чего стоит она: раньше или позже от нее остается одно сожаление; а волокитству я не пожертвую собой. Так будемте же людьми, Тамарин: разойдемся, пока есть время, и останемся друзьями, которые уважают друг друга.

В словах Марион было много правды, в глазах и голосе много просьбы. Веселая мазурка гремела с хоров, и пестрые пары мелькали перед нами. А мы, полувлюбленные друг в друга, сидели и философствовали. Странные вещи случаются в наш век, когда ум и чувства испортились, как желудки, и требуют иногда такой пищи, которая покажется невесть чем здоровому человеку!

– Знаете ли, – сказал я, – что мы делаем с вами? Мы объясняем в прошедшей любви. Я теперь только могу дать себе отчет в этом. Согласитесь, что сегодня перед балом было несколько минут, может быть, несколько мгновений, когда мы любили друг друга.

Марион задумчиво посмотрела на меня и

тихо улыбнулась вместо ответа.

– Да, – продолжал я, – мы любили друг друга, и любили так, как в наше время не любят! На нас пахнуло той любовью, которую любят какие-нибудь аркадские пастушки, где-нибудь далеко, под вечно голубым небом, в тени душистых рощ, среди стада беленьких барашков! Ее, может быть, принесли и навяли на нас белые камелии, с тех полей, где растет их вольная семья! Но мы не узнали этой любви. И что ж мудреного! Она была для нас странным, неестественным анахронизмом! А теперь, когда эта любовь улетела от огня свеч и шума музыки, мы увидели, что мы люди светские, да еще с характерами и самолюбием. Мы настолько возвысились ею, что поняли ничтожность волокитства, но недостаточно для того, чтобы принять страсть. И мы испугались ее, как и прилично порядочным людям, и начали отступать друг от друга... Может быть, все, что я вам говорю... чистый вздор! Но он очень хорошо объясняет...

– Замолчите, Тамарин, ради Бога! – сказала Марион. – Вы умеете создать чудесную мечту, – и едва прилепишься к ней, вы, как назло,

ее беспощадно разобьете. У вас воображение так сильно, ваш ум до того гибок, что вы заставляете верить и тому и другому. Слушая вас, всегда останешься в положении человека, которому показали две дороги: одну ровную и живописную, другую избитую и прескучную, и потом поставили на перепутье с завязанными глазами: не знаешь, куда идти, и поневоле отдашься вашему выбору, Я понимаю, отчего вас прозвали демоном, – сказала она с досадой, и на ее глазах чуть не навернулись слезы.

– Не все ли равно, – сказал я, – какой бы дорогой ни дойти до цели.

– Да, только вы всегда приведете к своей. Я невольно улыбнулся.

– Чтобы доказать вам противное, – отвечал я, – я принимаю вашу. Сказать по правде, я сам не знаю, что справедливо в моих словах. Но я думаю, что я сегодня действительно был влюблен в вас, потому что во мне осталась какая-то странная и приятная мечтательность. Что ж, вы справедливы: зачем разбивать мечту? Прозы и без того так много на свете! Мы провели сегодня чудесный день; на нас пах-

нуло каким-то свежим, прекрасным чувством, после которого мы беседуем, как старые друзья. Отчего же не сберечь его как редкость, как отрадное воспоминание? Отчего же, в самом деле, не допустить, что нечаянно, по странной игре случая, среди светской, мелочной и расчетливой жизни, мы наивно любим друг друга, как дети, не успев сознать этой любви, которая не пережила свежести сорванного цветка! Что нам за дело, что, может быть, это мечта нашей фантазии, когда после нее останется между нами та дружеская откровенность, то теплое чувство привязанности, которые питает друг к другу отлюбившая и мирно разошедшаяся чета!

– Да, – сказала Марион, – какое, в самом деле, нам дело! И мы останемся так, Тамарин; зачем нам бояться друг друга и вести скучную борьбу, когда можно дружно и весело встречаться вместе. Не правда ли?

Марион весело улыбнулась, личико ее вновь расцвело, и она смотрела на меня светлым вопрошающим взглядом; а мне только этого и хотелось.

– Тамарин! Вам начинать, – сказал Остров-

ский, подойдя к нам. – Вы так заговорились, что можно сделать нескромные догадки, – продолжал он, обратясь к моей даме и зло усмехаясь.

– Вы вечно с нескромными, да еще и неудачными догадками! – сказала Марион, вставая.

– За вами ответ! – продолжала она, делая тур, и голос ее тихо дрожал, как будто речь шла желанном, сердечном предмете.

– Счастлив, кто умеет закрыть книгу на ее лучшей странице! – отвечал я. – Я вам сказал уже, что ни в чем не могу отказать вам.

– Мерсі, Тамарин! – сказала Марион, сопровождая слова свои чудесным взглядом, между тем как рука ее тихо пожала мою руку.

Я не знаю, за что благодарила она меня: за ответ или мазурку, которая кончилась; но знаю только то, что пара внимательных темно голубых глаз следила за нами во все время разговора, и эти глаза не скрывали душевной тревоги.

Вскоре начали разъезжаться. Я проводил Марион до подъезда.

«Последний звук последней речи Я от нее

поймать успел; Я черным соболем одел Ее блистающие плечи...»

– Карета Домашневых готова! – закричал жандарм.

Я отступил от дверей, чтобы дать дорогу, так что меня не было видно. Осторожно прошла мимо меня Мавра Савишна, опираясь на руку лакея. Вслед за нею быстро проскользнула Варенька; салоп ее был распахнут на груди, и она была бледна как мрамор. Когда я сошел с места, мне что-то попало под ногу. Я нагнулся: это был завянувший Володин букет!

Мужчины остались ужинать.

Все уселись за отдельными столами; за одним – солидные чиновники, занимающиеся собственно ужином и разговором о делах, за другим – отставные франты, большей частью усатые и здоровые фигуры. С этого стола слышалось частое хлопанье пробок, нестройный разговор, со словами «пальма», «половой», «без угонки» и так далее. Был еще стол юных кавалеров, которые так часто встречаются на губернских балах. Это были все еще безбородые, не кончившие курс надежды семейства, довольно красивенькие лица, изысканно оде-

тые местным портным и пламенно добивающиеся четырнадцатого класса, чтобы иметь право предложить руку ей. Им очень хотелось поместиться с нами; но я, Островский и Федор Федорыч заняли маленький стол таким образом, что на нем не было места четвертому. Федор Федорыч жаловался на усталость, хотя сидел почти весь вечер; я усердно молчал, а Островский плотно ел, хорошо запивал и болтал без умолку. Наконец ему надоело говорить одному.

– Однако ж это скучно, господа! Вы точно наложили обет молчания. Положим, Федору Федорычу лень языком шевелить, а ты что затих? – спросил Островский, обращаясь ко мне.

– Некогда было говорить. Ты не давал времени.

– Вздор! Ты, верно, размышлял о какой-нибудь жертве? Не правда ли, Федор Федорыч? Федор Федорыч молча кивнул головой.

– Я не в тебя, – отвечал я.

– Кстати! Что это значит? Ты, кажется, начал находить, что брюнетки лучше блондинок?

– Напротив! Блондинов стали находить хуже брюнетов.

– Марион, кажется, не этого мнения. Скажи, пожалуйста, где ты достал ей букет?

– Посылал к Ш* в деревню.

– А у Вареньки твой же был?

– Нет, от Имшина.

В это время человек подал нам три стакана шампанского.

– Кто прислал? – спросил Островский, протягивая руку.

– Владимир Иванович, – отвечал лакей.

– Вот легок на помине! Имшин, что с вами! Вы сегодня особенно любезны: дамам подносите букеты, а мужчинам шампанское.

– Ничего! Так! – отвечал Имшин, подходя к нашему столу. – Весело, так и пьется! А вы, Сергей Петрович? – спросил он, обращаясь ко мне.

– Благодарю вас: я не пью шампанского.

– Как же это можно?

– Как видите!

– А если б я вам предложил выпить за чье-нибудь здоровье?

– Я бы отказался: мне свое дороже всех!

– А чье бы вы здоровье предложили? – спросил Островский. – Злодей Имшин! Я знаю, сгубил он сегодня одно сердце и уничтожил кой-кого!

Имшин самодовольно улыбнулся.

– Где нам! Вот я люблю вас, князь. Вы никогда не отказываетесь. Федор Федорыч, вы за чье здоровье выпьете?

– За свое, – отвечал Федор Федорыч.

– Эгоисты! – сказал Островский. – Мы с вами не таковы, Имшин. Здоровье ее! Так, что ли? – И Островский подмигнул и усмехнулся.

– Идет! Чокнемтесь, князь! – И Володя протянул стакан.

– Пойдите, господа, – сказал я. – Это слишком неопределенно. Ее! Она! Это дурной тон, это водилось пять лет назад. Нынче люди откровеннее и не прибегают к местоимениям.

Имшин вопросительно посмотрел на Островского.

– Тамарин прав, – сказал Островский. – В самом деле, я могу пить за одну ее, а вы за другую ее. Определимте как-нибудь положительнее.

– Только без собственных имен, – приба-

вил Федор Федорыч.

Имшин был в затруднении.

– Ну... ну... за здоровье моего букета! – сказал Имшин, и лицо его прояснилось, как будто ему удалось вынырнуть из воды.

– Вот это дело! Каково придумал, злодей Имшин! Здоровье букета!

Островский чокнулся с ним, и оба залпом выпили стаканы.

– Теперь вы можете получить его, – сказал я, обратившись к Володе. – Он мне попался под ногу в швейцарской.

– Быть не может! – отвечал он, вспыхнув.

– Можете удостовериться! – отвечал я смеясь.

Имшин пробормотал что-то сквозь зубы, отошел от стола и немного погодя скользнул в двери потом он не возвращался.

– Разодолжил! – сказал Островский, протягивая мне руку.

Мы посмеялись и разъехались.

Я вынес от этого дня какое-то неопределенное чувство, похожее на отдых от сильной душевной усталости. Этим только я могу объяснить себе разрыв с Варенькой и странный

разговор мой с Марион.

Меня утомили мои бесцельные и тревожные встречи с Варенькой.

Я был доволен, что покончил на время с нею, и очень хорошо сделал, что дал Имшину предлог сердиться на нее. Завтра у них будет объяснение. Она увидит, что была не права перед ним, и, по своей доброте, постарается любезностью загладить невольную обиду. Он истолкует это в свою пользу и вот завязка! Скучно только, что я предвижу ее, а то бы она заняла меня. Но нечаянное столкновение мое с Марион очень оригинально. В сущности, я остался ни при чем и даже отрекся от волокитства за нею на будущее время. Впрочем, отчего ж не разыграть иногда в несколько часов роман с безгрешной развязкой? Хоть вообще я не охотник до сладеньких сцен, но приятно иногда отречься от так называемых нечистых помыслов, в особенности когда надоедят хлопоты, с которыми они достаются, погрузиться усталой душой в ванну тепленьких ощущений и вместе с полными силами вынести оттуда чистую привязанность хорошенькой женщины. Неужели я начал уже

стареться!

* * *

Вот уже несколько недель, как я заболел. Именно это было с бала в собрании. Я тогда еще чувствовал какое-то странное расположение духа, а это было начало болезни. Болезнь была сложная – перемежающаяся хандра с примесью апатии. Постоянная хандра может продолжаться только несколько дней. В промежутках была апатия. Иногда все казалось мне в таком свете, что не хотелось бы ни на что смотреть; иногда я был до такой степени равнодушен ко всему, что, объяснишь мне тогда в любви хорошенькая женщина, я бы отвечал ей очень учтивой благодарностью.

Все это время я ничего не сделал, что бы стоило записать сюда. Виделся часто с Марион: она была нежна и заботлива, как со старым и больным другом; сначала мне это нравилось, но потом я привык к ее участию. Я хорошо вошел в свою роль с нею, и ей на первый раз выпал не очень завидный жребий – нянчиться с моими капризами; но – странная вещь! – она очень хорошо выдержала испытание и никогда не скучала им. Женское сердце

чрезвычайно сложно: в нем бывают привязанности, которые не знаешь куда поместить, в разряд любви или дружбы. Она и во мне возбудила странное сочувствие. Я не люблю ее, а между тем невольно привязался к ней. Я не смотрю на нее как на хорошенькую женщину, – а между тем не будь она почти красавицей, она бы надоела мне. Какая же пружина движет это чувство? Неужели самолюбие?.. Вечно самолюбие!

С Островским виделся я редко: его болтовня надоела мне, и он неохотно встречался со мной, потому что находил очень скучающего слушателя, который парализовывал собой его веселость, а иногда желчным словом давал очень невыгодный оборот его не слишком разборчивому остроумию. Федор Федорыч навещал меня. Мы с ним просиживали по целым часам молча, изредка перекидываясь пустыми вопросами, и расходились очень довольные друг другом. Но интересны были наши встречи с Варенькой.

Я у Домашневых бывал редко, и то по необходимости, но встречался с Варенькой довольно часто, и ни одной встречи не прошло

ей даром. Оттого ли, что в душе я был зол на нее, или это был просто каприз моей больной натуры, только я находил странное удовольствие мучить ее. Мне говорили, что у меня есть на это особенный талант. Я умею всегда выбрать самую чувствительную, больно дрожащую струну, и, о чем бы и была речь, как бы ни была коротка встреча, я умею ввернуть беспощадное слово, которое, не понятное другим, жестоко ранит мою жертву в ее слабую струну. Так я преследовал и Вареньку. Иногда, видя, как она вздрагивала и бледнела от одного слова, как будто оно физически ранило ее, мне самому становилось и больно, и жалко; но через несколько минут, при первом случае, я не мог упустить, чтобы снова не повторить злой насмешки. Я оправдывал себя тем, что это вечное преследование заставит ее скорее позабыть меня. Не знаю, разлюбила ли она меня, но я уверен, что были минуты, в которые она меня ненавидела. А между тем я много помогал успеху делишек Имшина. С одной стороны, мои беспрестанные преследования, которыми я восстанавливал Вареньку против себя, с другой – безответная любовь да со-

веты подружки, и вот, в одно утро я был странно излечен от моей душевной болезни. У меня сидел Федор Федорыч. Разговор не клеился, моя хандра и апатия и его заразили, и мы очень равнодушно соглашались, что иногда жизнь действительно бывает ужасно скучна. Вдруг приехал Островский на своем орловском рысаке, разбитом на все ноги.

– Что ты делаешь, Тамарин? – спросил он, входя.

– Хандрю, – отвечал я.

– Хочешь пари, что я тебя вылечу?

– Сделай одолжение.

– Бутылку шампанского?

– Идет!

– Вели же подавать.

– Сперва вылечи.

– Поверь на слово.

– Пожалуй – для редкости, – отвечал я. Я велел подать вина.

– И три стакана, – прибавил Островский.

– Ты знаешь, я не пью.

– Будешь, – отвечал он и самодовольно погружился в молчание.

Когда стаканы были налиты, Островский

взял один и, обратясь ко мне, провозгласил:

– Поздравляю вас, Сергей Петрович, с помолвкой Варвары Александровны Домашневой с Владимиром Ивановичем Имшиным!

Признаюсь, эта новость была так неожиданна, что я готов был вскрикнуть от удивления. Но Островский смотрел на меня торжествующим взглядом, ожидая эффекта от своих слов, и даже Федор Федорыч, забыв лень, встрепенулся и с любопытством наблюдал за мною. Сердце сильно билось у меня, но я хладнокровно спросил Островского:

– Это городские новости?

– В том-то и штука, что это чистая правда, душа моя! – отвечал он. – Я сейчас был у Мавры Савишны, и она сама объявила мне об этом.

Тогда я взял стакан и выпил его залпом.

– Bravo! – сказал Островский. – Вот что значит радоваться чужому счастью! Верь после этого тем, которые говорят, что ты эгоист!

– Отчего же и не верить! – отозвался Федор Федорыч. – А я так убежден, что он тут в доле, и его содействие было нужнее согласия Мавры Савишны. Да чего лучше! Ведь он принял

ваше поздравление, князь!..

– Поймали, поймали! – закричал Островский, хлопая в ладоши с непритворной радостью. – Первый раз в жизни вижу, что Тамарин выдал себя! У Ахиллеса найдена пятка! Федор Федорыч, нам необходимо поздравить друг друга с открытием.

Островский долил свой и его стаканы и чокнулся с ним.

Я хотел разуверить их, но Федор Федорыч прервал меня.

– Князь, не давайте ему говорить, – сказал он, – а то он непременно вывернется, и честь нашего открытия пропадет ни за грош.

– Если вы обрекаете меня на молчание, – отвечал я, – так я лучше оставлю вас и поеду поздравить Мавру Савишну.

– Что дело, то дело! – отвечал Островский. – Тебе непременно надо ее поздравить с своей стороны. Ты ведь виновник торжества! Только боюсь, что она не догадается поблагодарить тебя: старая стала Мавра Савишна!

– Островский, ты не великодушен, – сказал я. – Хорошенькая девочка, за которой я ухаживал, выходит замуж. Положим, что я же-

ниться на ней не хотел, но все-таки неприятно... а ты еще надо мной подтруниваешь.

– То-то, брат! Ты со своей теорией сидишь сложивши руки да хочешь, чтобы по тебе молча страдали, а тут явится хорошенький мальчик, тает, тает, да в удобную минуту и предложит руку и сердце, и прощай теория. Эти хорошенькие мальчики очень опасны – нужды нет, что глупы!

Федор Федорыч посмотрел искоса на Островского и тихонько пожал плечами. В словах Островского была часть правды, если допустить, что страшны не мальчики, а их благородные намерения. Но я внутренне сознавался, что брак Володи с Варенькой если и не был прямо делом рук моих, то составился под моим влиянием; я не хотел дать себе отчета в этом влиянии, боясь невыгодного для себя заключения, и невольно согласился с безмолвным мнением Федора Федорыча.

Через полчаса мы разъехались.

Я отправился к Мавре Савишне. Едва я вошел в гостиную и взглянул на нее, как убедился в справедливости слуха. Вся добрая фигура Мавры Савишны была проникнута ка-

кою-то торжественностью. На ней был чепец с пестрыми лентами и даже турецкая шаль. Чулок не только не лежал возле, но был изгнан из гостиной, и бедная собачка, по случаю торжественности дня, не допускалась на колени и, поджав хвост, с недоумением поглядывала на свою госпожу, не понимая, что не до нее теперь, что Мавра Савишна в этот день помолвила свою единственную, любимую дочку Вареньку.

У Мавры Савишны сидела та дама, с тремя взрослыми дочерьми, которая любит меня как сына. Она услышала о помолвке и приехала удостовериться в справедливости слуха. С приятной улыбкой на устах, объясняя Мавре Савишне, что она порадовалась ее радости, как будто пристраивала собственную дочь, она, однако ж, со вздохом прибавила, как иные браки бывают несчастливы, как не должно торопиться замужеством дочерей, и в заключение привела несколько весьма утешительных для Мавры Савишны примеров супружества, в которых муж с женой живут как кошка с собакой. В этом разговоре я нашел Мавру Савишну со слезами на глазах,

слезами радости и боязни за участь своей Вареньки. Она объявила мне о помолвке, я ей поднес мое искреннее поздравление, а дама, которая любит меня как сына и говорила, что Варенька мне не пара, сказала с участием:

– Что, Сергей Петрович! Упустили, батюшка, невесту-то! А уж этакой другой со свечами поискать!.. Э, эх, молодые люди! Не умеете вы ловить свое счастье.

Я ей ответил, что за счастьем не угонишься, и поспешил выйти в другую комнату, потому что мне неприятно было оставаться в одной с нею, а добрая Мавра Савишна утерла слезу удовольствия и принялась благодарить нежную даму за любовь ее к Вареньке.

В другой комнате – той самой диванной, в которой месяца полтора назад, однажды вечером, при неясном свете цветного фонарика, окруженная цветами и зеленью, трепещущая Варенька повторяла мне свое «люблю», – увы! в этой комнате та же Варенька, правда, немного побледневшая, но более серьезная и холодная, сидела рядом с Имшиным, который, по праву жениха, целовал ее руку. Это сближение обстоятельств произвело на меня

тяжелое впечатление. Может быть, те же мысли в это время пронеслись перед воображением Вареньки; но она, как и я, глубоко за- таила их.

Прием Вареньки был немного холоден и принужден, хотя она не могла скрыть румянца, вспыхнувшего на ее щеках при моем появлении. Она, может быть, боялась, что мои сарказмы сильнее прежнего будут преследовать ее, но я был вежлив и добродушно-весел, как прилично радующемуся ближнему: она не была уже моя Варенька, и я уважал в ней чужую... Вскоре приехала и Наденька – полюбоваться на счастье соединенных ею сердец; с любопытством посмотрела она на меня, и я стал еще веселее, еще добродушнее. Варенька немного конфузилась, когда речь касалась предстоящего брака; но я щадил ее деликатность, и она, кажется, в душе была благодарна.

Так я просидел все условное время визита, и моя бесцеремонная веселость оживила всех.

И добрая Мавра Савишна, проводив свою гостью, пришла полюбоваться на счастье сво-

ей парочки и была весела и говорлива. Но когда я мог уехать, не оставляя толков на счет краткости визита, я взялся за шляпу.

– Куда вы, Сергей Петрович? – сказала Мавра Савишна. – А нашего хлеба-соли откусать, обрученных поздравить? У меня сегодня никого не будет, но вас я считаю своим: мы с Варенькой еще в Неразлучном так к вам привязались, что, право, любим, как родного; и вы должны разделить с нами нашу семейную радость.

Мавра Савишна говорила от души; искренность ее слов можно было прочесть на ее добродушном лице. Варенька глядела на меня застенчивым, полулюбопытствующим, полупросящим взглядом. Ей, кажется, хотелось, чтобы я принял эту роль близкого человека, чтобы с этой минуты я любил ее, но любовью родного, а не постороннего; но я не хотел обманывать ее. Я не хотел под маской одного чувства искать другого: меня всегда возмущает такой приятель жены, который ищет дружбы мужа, и я никогда и никуда не втирался под чужим именем. Я извинился перед Маврой Савишной, сказал, что у меня обедают

несколько знакомых, и уехал, не оставив своим приездом темного пятна на этой, может быть, немного грустной, но тихой семейной картине.

Однако ж надобно заметить, что я весь этот день был не в духе и страдал желчью. Впрочем, быть может, всему виной выпитый мною стакан шампанского, которое так вредно мне!

Еще две длинные недели, которые выкупил один оригинальный вечер.

Я был у Домашневых. Володя уехал в Москву делать закупки. Варенька встретила меня, как мы встречались в последнее время, — довольно холодно, но непринужденно. Эта непринужденность невольно давала мне мысли не совсем лестные для моего самолюбия. Мне казалось, что Варенька примирилась со своею участью и стала равнодушна ко мне. Но меня разубеждала подмеченная мною черта Варенькиного характера: она никогда не делала из себя героини романа. Она любила, она страдала, она начинала привыкать скрывать свои чувства, но никогда не драпировалась ими. Убежденная опытом, что

нельзя носить на лице всякое движение сердца, она если находила нужным таить что-либо, то таила крепко и не поддавалась мелочному кокетству натур средней руки, которые хотят, чтобы в них видели героинь, и потому стараются надеть как можно эффектно маску притворства, оставляя в ней приподнятый уголок, чтобы можно было догадываться о скрытом чувстве; за это я и любил Вареньку: это была чистая, прямая натура, грациозная в своей простоте и завлекательная по своей неподдельности.

Мы сидели вдвоем в диванной, но добрая Мавра Савишна вскоре нас оставила, потому что встретились какие-то затруднительные вопросы при шитье приданого, которые требовали ее личного разрешения и надзора. Мы остались вдвоем. Варенька сидела в углу дивана, я прямо против нее, на мягком кресле. Две свечи горели между нами на рабочем столике и ясно освещали бледные, и спокойный черты Вареньки. Остальная часть комнаты, в которую свет пробивался сквозь решетки, обвитые плющом, тонула в полутемноте. Находясь под влиянием, может быть, разно-

родных мыслей, не связанные этикетом и поставленные в ложное друг перед другом положение, мы после ухода Мавры Савишны хранили глубокое молчание, и тогда среди этого молчания разыгралась странная сцена.

Мне хотелось узнать, действительно ли и до какой степени охладела ко мне Варенька, и немного сблизить то почтительное расстояние, на которое разошлись мы. Я тихо встал, оперся одной рукой на столик, а другую молча подал Вареньке. Варенька взглянула на меня холодно, холодно, на ее лице как будто выразилось удивление, и только; она не пошевелилась, она не сделала никакого знака, который бы отвечал на мой призывающий жест, и равнодушно оставила меня в моей просящей позе.

Тогда у меня явилось непреодолимое желание пробить, если можно, эту холодную завесу, за которой скрыла Варенька свои задушевные думы, уничтожить ее немое, но тем не менее сильное сопротивление. Не оставляя своего положения, я смотрел прямо в темно-голубые глаза Вареньки; сначала мой взгляд, как и жест, не произвел никакого впе-

чатления, но потом смутил ее. Легкая краска выступила на ее щеках, дыхание стало чаще; она приподняла на меня глаза и тихо проговорила:

– Пожалуйста, не смотрите на меня так.

Но я молча продолжал смотреть на нее... Головка ее склонилась на грудь, она вся опустилась, как птица под стеклянным колоколом, из-под которого вытянули воздух, и вместе с тем рука ее упала в мою руку.

Я взял ее: она была холодна как лед. Тогда, сознаюсь, первым чувством моим был испуг: я думал, что с Варенькой сделалось дурно, и ни как не ожидал подобного результата. Я старался согреть в своих руках ее руку и с беспокойством спросил Вареньку, что с ней. Она приподняла голову и тяжело вздохнула. Я успокоился, оставил ее руку и с удовольствием опустился в кресло: взглянув на себя в зеркало, я увидел, что был бледен как полотно. Несколько минут мы просидели молча; наконец Варенька первая прервала молчание и с упреком сказала мне:

– Что вы делаете со мною, Тамарин?.. Вы открыли новое средство мучить меня.

– Боже мой! – говорила Варенька, не обращаясь ко мне, как будто думала вслух. – Неужели я никогда не выйду из-под этого влияния? Неужели все мои силы будут вечно разбиваться о вашу волю. Я вас не люблю больше, я не хочу, не должна любить вас! Откуда ж у вас эта власть надо мною? Кто вам дал ее? Я молчал.

– Долго ли, наконец, вы будете мучить, преследовать меня? – спросила она, рассерженная моим молчанием. – Это несносно!.. Кто дал вам на это право?

Я посмотрел на нее, и в первый раз взгляд мой был не притворно-холоден, потому что в эту минуту я видел перед собой только светскую девицу, Варвару Александровну Домашневу, невесту одного моего знакомого, Имшина, которая в последнее время делает мне честь очень холодно встречать меня. Она мне грустно напомнила Вареньку, ту миленькую, наивную деревенскую девочку, которая заинтересовалась мной, как ребенок сказкой, и влюбилась в меня, как дитя, – Вареньку, которая, увы, была для меня уже потеряна навсегда! Мне стало досадно. Я горько улыбнул-

ся и начал говорить ей.

– Помните, Варвара Александровна, с полгода назад в Неразлучном, я приехал к вам однажды утром. Я знал уже, что правлюсь вам, что моя полуотжившая натура интересовала ваше юное воображение, как новая не читанная вами книга. Сознаюсь вам, мне льстила и меня занимала эта детская любовь, полная слепого удивления и преданности. Но я приехал к вам охлажденный обстоятельствами. Я отбросил самолюбие и высказал вам нагую истину. Я показал вам, как опасно для хрупкой, свежей натуры столкновение с полуотжившим человеком, как многого требует наша любовь и как мало дает! Я все вам высказал: тогда и вы меня поняли. Разговор наш был прерван приездом Ивана Васильича. Он мне отдал письмо; пока я читал его, вы были в саду, одна со своими мыслями; тогда было время раздумать и остановиться. Но я пришел, и как нашел вас? Вы страдали не оттого, что я вам высказал, не от боязни будущего, а от боязни, что будете лишены возможности испытать его. Я хотел выведать ваши чувства, и вы отвечали мне, с досадой девицы, оскорб-

ленной тем, что ее считают за дитя: вы сердились на меня за то, что я хотел сберечь ваше детское сердце и не дать разбиться вашим свежим иллюзиям. Тогда... я... я принял ваш ребяческий вызов. Конечно, я виноват перед вами: я должен был лучше знать ваши силы и наперекор вам отказаться от вашей любви, но вы бы мне не простили этого... да имел ли я право щадить вас, когда вы сами не хотели вашей пощады? Вы были хороши, как распускающийся цветок!.. Я принял вашу любовь и отвечал на нее сколько мог... Тогда вы были счастливы...

– Да, я была счастлива! – сказала, вздохнув, Варенька.

– Потом мне встретилась надобность ехать...

– Скажите лучше, – прервала она, – что вам надоела любовь деревенской девочки. Вам предстояло другое развлечение, и вы бросили ее, как ребенок бросает изломанную игрушку.

– Пожалуй и так! – сказал я. – Я не даю более, сколько обещаю. Да и как вы хотите, чтобы я умел щадить других, когда я не щажу никогда самого себя? Я приехал сюда, и вскоре

вы приехали за мной...

– Да, – сказала Варенька с горечью, – притащилась сюда за вами. Я вытащила мою добрую старушку-мать... Конечно, я должна была надоесть вам! Я должна была потерять право на ваше уважение! Мне стыдно за самое себя! Но что ж делать, – прибавила она, – я не могла там оставаться одна, вечно одна! Это было выше сил моих...

Я дал ей высказаться и потом продолжал:

– Вы меня не поняли: я был бы низок, если бы упрекнул вас доказательством вашей любви.

– Я вас слушаю, – сказала она.

Я продолжал:

– Мы встретились здесь, но уже не теми, какими расстались. Наша ребяческая, немного смешная, но тем не менее прекрасная любовь была оставлена в темных аллеях Неразлучного. Здесь нас ожидал свет, приличия. Здесь наша любовь, как и всякая любовь в свете, стала игрой самолюбия; и потому, мудро ли, что здесь вместо наивной Вареньки и ее интересного поклонника, сошлись просто Варвара Александровна с Сергеем Петро-

вичем! И любили мы, как любят в свете, – беспокойно, осторожно, часто подумывая, «что об этом скажут». И вот однажды вам показалось, что я не то чтобы мало любил вас, а мало показываю эту любовь. И не то чтобы вам самим это показалось, а вам намекнула добрая подруга. Ваше самолюбие было оскорблено – это понятно. Вам должно было показать самой более холодности, и мы были бы квиты. Но нет! Вы захотели большего торжества: вы захотели показать, что не дорожите мной, и по совету этой же подруги да из участия к одному страдальцу, который не боится, что в свете будут говорить про его любовь, вы мне дали соперника, да еще показали ему преимущество. Скажу вам откровенно, я человек самолюбивый и ужасно не люблю счастливых соперников, а особенно такого рода, с которыми и в борьбу вступать не лестно. Тогда, сознаюсь, я испугался и уступил ему поле без битвы, а вы, чтобы довершить его торжество, наградили его своей рукой.

Варенька молчала, но была в сильном волнении. Я сам начинал чувствовать какое-то беспокойство, но продолжал:

– Теперь все, что было общего между нами, пережито. Вы захотели резко отделиться от прошлого, и я безропотно повиновался вам. Я вас не упрекал, я вам не сопротивлялся; сходимся мы теперь как чужие, и встречи наши холодны, холодны, как ваши чувства ко мне.

Я посмотрел на Вареньку: она вздохнула.

– Но как вы хотите, чтобы иногда, сидя вдвоем, в той комнате, на том самом месте, где были другие встречи, высказывались иные чувства, – как вы хотите, чтобы прошлое не зашевелилось в душе и невольно не отразилось на нас. А вы говорите, что я преследую вас. Вы спрашиваете, кто мне дал право вас мучить, как я сохранил мое непрошенное влияние? Неужели в самом деле я и всегда я буду во всем виноват? Неужели во мне нет человеческого чувства и я вечно играю и собой, и другими! Спросите самое себя и судите сами!..

Желчь волновалась во мне, и последний упрек был высказан мной от души. Варенька задумалась, воспоминания, которые я пробудил в ней, казалось, произвели на нее сильное впечатление: она сделалась мягче, до-

ступнее и, немного помолчав, сказала:

– Может быть, я поторопилась осудить вас, может быть, вы не виноваты. Действительно, нельзя так скоро оторваться от прошлого; можно холодно встречаться; можно из близких сделаться чужими, но память о прошлом, все, что крепко привилось к душе, не скоро из нее изглаживается; я это знаю по себе, – сказала она, вздохнув. – Видите, я с вами откровенна, – продолжала она, – я сознаюсь, что мне тяжело, мне трудно расстаться с памятью о том, что было мило. Но жребий брошен. Мы не можем, не должны любить друг друга. Так расстанемся друзьями... Мы останемся ими, Тамарин, не правда ли? Вы единственный человек, которого я любила... и вы будете моим лучшим другом!

Варенька смотрела на меня так добро, так приветливо! В ее взгляде было еще более просьбы, чем в словах. Она создала себе отрадную мечту и прилепилась к ней. Может быть, со времени нашего разрыва это была ее первая сладкая мечта! Но она была не в моем духе.

– Вашим лучшим другом после мужа! – до-

кончил я.

Варенька опечалилась и затаила грустный вздох.

– По крайней мере вы исполните другую просьбу, – продолжала она. – Вы добры, вы благородны... если в вас осталось сколько-нибудь прежних чувств ко мне, то именем этого прошлого прошу вас, помогите мне забыть его. Видите ли, я говорю вам то, что бы должна была скрывать от вас, но я уверена, что вы не употребите во зло моей откровенности. И вам это будет так легко, Тамарин. Я вижу теперь: я вам никогда не была очень дорога. К тому же вы так хорошо владеете собой, вы так легко от всего отрываетесь. Зачем вам несколько моих лишних слез, несколько поздних сожалений?

Мне казалось, я слышал мою прежнюю Вареньку: это была ее непритворная, простодушная речь, ее грустные и полные детского доверия слова. Мне было жаль ее, мне стало жаль и прошлого.

– Видно, я вас люблю еще, – отвечал я, – потому что не могу отказать в вашей просьбе. Но теперь, в нашу, может быть, последнюю

откровенную беседу, я должен вам сказать несколько слов о себе: мне бы не хотелось расстаться с вами, оставив в вас те убеждения, которые вы сейчас высказали. Вы говорите, что я не очень дорожу вами, что я легко от всего отрываюсь. Почему вы знаете это, отчего вы это думаете? Потому что я не тешу моих приятелей рассказами о своих печалях, до которых им нет дела; что я не нуждаюсь в их утешениях, которые нисколько мне не помогут, и не возбуждаю сожалений, которые ненавижу? Потому что на моем лице нельзя прочесть моих дум: потому что я смеюсь, когда, может быть, грусть или досада шевелятся в душе? Странно, что вы до сих пор так мало узнали меня! И скажу вам больше: мне грустно, что вы предполагаете во мне одно дурное! Вы меня считаете эгоистом, – и не ошиблись; но знаете ли, что в вас более эгоизма, чем во мне? Вы теперь думаете только о себе. Вы хотите, чтобы только вам было легко примириться с новым положением. Не правда ли? Но вы не подумали, как, может быть, грустно и больно отрываться от последней мечты, от последней иллюзии!

Вы не подумали, что трудно примириться с душевным холодом тому, кто, может быть, в последний раз собрал весь бедный остаток чувств и доверил его вам, для того чтобы еще раз обмануться. Тяжело утрачивать первую веру в счастье, еще тяжелее – последнюю!

Я замолчал, потому что был сильно взволнован; я сам расчувствовался от своей сентиментальной выходки. Мне было грустно. Я взглянул на Вареньку: она была бледна, слезы выступили на ее больших темно-голубых глазах, но, казалось, какое-то тайное недоверие остановило их, и, не смея упасть, эти слезы повисли на длинных ресницах.

– Боже мой, что бы я дала, чтобы знать правду! – сказала она.

А трудно было узнать эту правду: я сам не знал, любил ли я Вареньку.

– Скажите мне, наконец, научите меня, что мне делать! – сказала Варенька, болезненно сжимая свои руки; и в ее дрожащем голосе, в ее страдальческом лице, в ее беспокойном взгляде выражалась страшная борьба недоверия и надежды, сомнения и решимости.

Я видел эту борьбу, и она отразилась во

мне, она подняла со дна моей души группу смутных и противоположных чувств, между которыми я нескоро мог освоиться. Первое из этих чувств было за Вареньку: я хотел вполне примириться с нею, смыть своею любовью все огорчения, которые нанес ей в ее любви, освежить свое больное, измученное противоречиями сердце.

После долгих и скучных лет тяжелого одиночества робкой и себялюбивой души, которая вечно и беспокойно ищет созвучий, но, вызвав их, из пустой боязни смешного, как затронутый еж, тотчас щетинится и прячется в самое себя, – после этих невыносимо долгих и страшно бесцветных лет это был первый благородный порыв души моей... Может быть, в этом порыве отчасти было и желание посмеяться над Имшиным, который, кажется, думает, что он в состоянии бороться со мной, может, также и другое желание – успокоить мое ненасытное самолюбие, оскорбленное последней холодностью Вареньки. Я не признавал тогда этих последних мыслей, но готов допустить их тайными двигателями, как охотно допускаю в себе все дурное. Как бы то

ни было, в первую минуту я любил и готов был любить Вареньку; и что-то светлое и отрадное было в этой минуте! Второе чувство – это вечно противоречащее и вечно живущее во мне чувство, было мгновенно, но сильно. Оно мне живо развернуло скучную картину наших беспокойных встреч, длинный ряд толков и пересудов, которые могла бы возродить разошедшаяся свадьба. Оно мне сделало неизбежный вопрос: чем все это кончится? С невольным сожалением, как перед долгой разлукой с неверным свиданием, посмотрел я на расстроенную, беспокойно глядящую на меня Вареньку, и на вопрос ее, что ей делать, затаив тяжелый вздох, отвечал:

– Выходить замуж за Имшина.

И мои слова произвели на меня магическое действие, когда я вспомнил об Имшине, как о женихе Вареньки: мне показалось, что сожалеть о ней значит ему завидовать. Гордость моя возмутилась, и холод сжал зашевелившее сердце.

А Варенька еще несколько мгновений продолжала смотреть на меня своими влажными глазами, потом провела по ним рукою, как

будто пробуждаясь от сна, и когда приподняла потом свою хорошенькую, но бледную головку, то глаза ее были уже сухи и холодное лицо спокойно.

– Благодарю вас, Тамарин, – тихо сказала она, – за то, что вы напомнили мне мою обязанность, а еще более за то, что дали узнать себя.

Я отвечал, что это не стоит благодарности, встал, поклонился и вышел.

Странное чувство я вынес от этого вечера! Что-то похожее на сожаление, что то грустное шевелилось у меня на душе, а между тем самолюбие мое было успокоено. Не от меня ли зависело разорвать свадьбу Вареньки?

Но страннее для меня то, что я остался как будто недоволен собой. Отчего бы, кажется? Разве не все делается по моему желанно? А хотелось бы мне знать, чего желаю я...

Мужчины мне надоели страшно; Вареньку я не хотел видеть: встречи с нею бесполезно раздражали меня. У Марион, как нарочно, умерла тетка, и она уехала к ней. Остальные женщины в городе нисколько не интересовали меня, и я их охотно отнес к разряду муж-

чин. Я стряхнул пыль с моих любимых авто-
ров и заперся с ними. Раз утром я услышал
громкий разговор в моей прихожей.

– Дома Сергей Петрович? – говорил скоро-
чей-то знакомый голос.

– Дома-с, да не принимают! – отвечал мой
мальчик, тем нерешительным тоном, кото-
рым обыкновенно отказывают наши лакеи.

– Отчего же это он не принимает?

– Не знаю-с; не приказали принимать.

– Да что же, может, болен он?

– Никак нет-с: здоровы.

– Ну, может, занят... а? занят?

– Заняты-с.

– Что ж он делает?

– Кофей кушают.

– Гм! Ну, а может, есть у него кто, а?

– Никого нет-с.

– Да ты врешь!

– Никак нет-с.

– Гм! Ну, и никого не принимает?

– Никого-с.

– Ну, а не говорил он на случай, что если
дескать, Иван Васильич приедет, просить или
доложить, что ли? Иван Васильич из Редьки-

на! Знаешь Редькино?

Тут я позвонил и велел просить Ивана Васильича: мне почему-то вдруг захотелось посмотреть на его добрую фигуру.

– Ну, вот это по-приятельски, это по-нашему! – заговорил Иван Васильич, увидев меня, и только я успел протянуть ему руку, как услышал на своем лице его жаркое дыхание, и три неумолимых поцелуя звучно напечатались на моих щеках. – Ну, вот спасибо, что приняли! А то как, шутка ли, с полгода не виделись, да и не принять!

– Вы видите, Иван Васильич, что приказание не относилось к вам, но я вас никак не ожидал.

– Я так и думал! Очень, очень вам благодарен, что не забыли меня.

Иван Васильич сделал движение: я подумал, что он хочет снова облобызать меня, и подвернул ему свою сигару.

Он взял ее, несмотря на то, что никогда сигар не курил, и вертел в руках.

– Садитесь-ка, Иван Васильич; да не хотите ли лучше трубку?

– Позвольте лучше трубочку, – сказал он,

осторожно сев в мягкое кресло и отираясь шелковым платком.

– Давно ли вы здесь?

– Вчера только приехал, Сергей Петрович, только вчера!

– По делам, вероятно?

– Гм... да, и по делам, а главное, правду сказать, хотелось побывать на свадьбе Варень... у Варвары Александровны...

– А скоро разве ее свадьба? – спросил я, и, не знаю отчего, кровь бросилась мне в голову.

– Как, вы разве не знаете? А еще в городе живете! Завтра, завтра отдадут ее, голубушку!

И круглое лицо Ивана Васильича исказилось какой-то весело-плачущей улыбкой.

– Да что ж вы здесь делаете, что и этого даже не знаете? – спросил он.

– Я сидел дома и никого не принимал.

– Что так?

– Был не совсем здоров, да и занимался.

– Гм; ногти отделявали или итальянские арии новые какие-нибудь распевали?

– И то и другое.

– А я к вам с поручением от Варвары Александровны, ведь я у нее посаженным отцом:

она просит вас быть у нее шафером.

– Что это ей вздумалось выбрать меня? – спросил я, немного озадаченный этим неожиданным приглашением.

– Она говорит, что вас знает лучше всех из здешней молодежи и что ей очень хочется, чтобы вы именно держали венец над ней.

– А, в таком случае буду, непременно буду. Я сам поеду благодарить ее за честь.

И мы оба замолчали. Не знаю, почему я был взволнован.

К тому же меня интриговало желание Вареньки иметь меня своим свидетелем. Я не понимал этой прихоти выбора; он даже как-то неприятно отозвался в моем самолюбии; но я принял его охотно, как иногда в известной настроенности духа, охотно желаешь встретиться с неприятностью.

Не знаю, о чем думал Иван Васильич; но он часто и звучно пускал клубы дыма, как паровозная труба, потом поставил трубку, вынул свой шелковый платок, отер им лоснящееся чело и долго свертывал его комком в руках.

– А знаете ли, Сергей Петрович, – сказал он

наконец, – я, признаюсь вам, думал, что если мне придется быть на свадьбе Варвары Александровны, так увижу я вас там с ней, только не с венцом, а под венцом!

– С чего же это вам думалось? – сказал я смеясь.

– Да так вот, думалось, да и только. Ну, вот подите! Ведь как нашему брату влезет иногда какая-нибудь мысль в голову, так уж так в ней засядет, что и не выгонишь ее... и видишь, что по пустому живет, а калачом ее оттуда не выманишь! А жаль, – прибавил он, задумавшись.

– Отчего же жаль? – сказал я. – Чем Имшин не муж?

И я невольно усмехнулся. Иван Васильич заметил эту усмешку, и она, кажется, оскорбила его за Вареньку.

– Да! – сказал он с большим, нежели в нем было, убеждением. – Действительно! Владимир Иваныч – прекрасный молодой человек, ведет себя не по летам: не пьяница, не игрок, не мот; конечно, не забросает он никого словами, не боек, да для семейного счастья этого и не нужно. Я рад выбору Варвары Алексан-

дровны.

– Ну, вот видите, – сказал я, – вы столько насчитали достоинств в Имшине, что лучше его трудно и найти в мужья.

– Оно, конечно, действительно... оно трудно, – пробормотал Иван Васильич, видимо недовольный и тем, что нашел в Володе одни только отрицательные достоинства. – Да что, ведь с вами не стоворишь! – сказал он решительно, выходя из двух огней, между которыми поставил себя. – Вы всегда правы останетесь... а скажу я вам откровенно: прекрасный человек Владимир Иваныч, да для Варвары то Александровны мне бы еще лучше хотелось.

– Вы льстите мне, Иван Васильич, – смеясь сказал я, находя глупое удовольствие сердить добряка.

– Нет, не льщу я, не умею я льстить, – отвечал Иван Васильич, – я не городской житель, не светский шаркун, а вот что скажут вам: человек вы умный, очень умный человек, да несметливый. Ничего вы дельного во весь век не сделаете! Пройдет у вас счастье, с позволения сказать, под носом, а вы и усом не поше-

вельнете, чтоб поймать его. Бог вас знает, лень ли вам, боитесь ли вы чего, только скажу я вам: вечный вы враг себе, Сергей Петрович!

– Ну что, лъщу я вам? – спросил он потом; и улыбка весело пробежала по его открытому лицу, потому что он высказался и оправдался в собственных глазах. И мне весело было слушать его: я никогда не видал так добродушно излившейся желчи.

– Однако мне пора, заболтался я, а еще надо в Палату съездить... Вы на меня не сердитесь? – сказал он, живо вставая и протягивая мне руку. – А Варваре Александровне я скажу, что вы будете... так до свидания...

Я от души пожал его радушно протянутую руку, но прежде, нежели успел сказать ему что-нибудь, как уже увидел перед собой плотно натянутую спинку коричневого фрака, с раздвоившимися фалдами, и круглая фигурка Ивана Васильича, живо колеблясь с ноги на ногу, быстро исчезла.

Я остался в раздумье, с улыбкой на губах и неясными мыслями. Очнувшись, я нашел себя в дурном расположении духа и, призна-

юсь, пожалел, что не оставил Ивана Васильича рассуждать в передней с моим мальчиком. Потом я спросил одеться и отправился к Мавре Савишне, но не застал ее дома: сказали, что она уехала с Варенькой верст за пять в монастырь, помолиться чудотворной иконе. Тогда я пустился по знакомым и полгороду показал свою веселую и очень довольную собой фигуру.

А без меня заезжал, говорят, ко мне Имшин и просил по обязанности шафера распоряжаться на его свадьбе. Вот что называется в чужом пиру похмелье!

Отдали ее! Отдали Вареньку!.. Что за вздор! Кто ж отдал ее? Сама вышла! Вот как это было.

В восемь часов вечера я приехал в дом Мавры Савишны. Он был освещен, но пуст; в гостиной был разостлан ковер, двери во внутренние комнаты затворены.

Меня встретил Иван Васильич, который одиноко прогуливался по зале и гостиной.

Боялся ли он, что я сержусь на него, или подшепнул ему его добрый инстинкт, что мое положение в настоящем случае вовсе неза-

видно, только он все вертелся около меня, и заглядывал мне в глаза, и страшно надоедал своей внимательностью.

– А невеста? – спросил я.

– Одевают-с, одевают ее, Сергей Петрович! – отвечал он как-то жалобно и при этом опять посмотрел мне в глаза.

Я отвернулся, зевнул и усердно замолчал. Иван Васильич, видя, что со мной делать ему нечего, начал передвигать свечи и ногой поправлять ковер. А у косяка двери стоял Савельич, в черном неуклюжем фраке, и приглаживал с затылка на лысину свои длинные седые волосы.

Через четверть часа скучного ожидания растворились внутренние двери, и хлынула толпа девиц с розовыми, улыбающимися личиками и влажными глазами. Вошла и Мавра Савишна. Глаза ее были красны от слез: она мне ласково поклонилась, но ее обыкновенно радушно-говорливые уста были замкнуты грустью и волнением. Вслед за ней вышла и Варенька.

На ней был обыкновенный свадебный наряд. Белый вуаль падал на белые плечи, и на

русой головке дрожал венчик – символ невинности. Варенька была бледна, но спокойна. Она не плакала, но по временам слезы выкатывались и падали из темно-голубых глаз.

– Благодарю вас, Сергей Петрович, что вы не отказались быть моим шафером, – сказала она, увидя меня.

– Мне надобно благодарить вас за доставленный случай быть свидетелем вашего счастья, – отвечал я.

Она повернулась и села как усталая, а я стал между девицами и в первый раз в жизни не принудил себя быть любезным, когда должно.

– Вы что-то невеселы, Сергей Петрович, – сказал около меня какой-то сладенький, тоненький голос.

Я обернулся и увидел Надежду П*. Она глядела на меня докрасна натертыми глазами и силилась придать им выражение растроганного добродушия.

– Чему ж мне радоваться? – спросил я.

– Однако ж неотчего и грустить, я думаю, – заметила она.

– От этого я и не грущу, – отвечал я; но На-

денька не хотела отстать и, казалось, дала себе обет надоесть мне до невозможности.

– Впрочем, на меня ведь свадьбы тоже всегда производят неприятное впечатление. Грустно видеть девицу, которая отрывается от дому, от матери и вступает в новую жизнь, где еще Бог знает что ожидает ее! Не знаю отчего, но я всегда смотрю на невесту с сожалением.

– А сознайтесь, вам очень бы хотелось быть невестой, – сказал я, не утерпев, и прямо посмотрел ей в глаза.

– Вы нестерпимы! – сказала она, отворачиваясь и уходя от меня.

Мне давно хотелось ей сказать то же самое, но я был скромн и ограничивался одним желанием.

Вскоре приехал шафер жениха, молоденький мальчик, бывший сослуживец Имшина, и объявил, что он в церкви. Тогда стали благословляв Вареньку. Сперва благословила ее Мавра Савишна, и, приняв благословение, Варенька упала в ее объятия, и обе зарыдали.

Отчего рыдали они? К чему этот безотрадный болезненно разрывающий душу плач?

Уж не грустное ли это предчувствие чего-нибудь недоброго?

Мне было досадно смотреть на них! Одна выходит замуж по своему выбору, другая отдает дочь по своему желанию. Расставаться им не приходится, а плачут, плачут, как о покойнике!

Кто ж этот покойник? Ты, девичья воля? Ты, запрещенное право отдать любому свое сердце?..

Будущее! Таинственное будущее – вот что пугает вас! Вот что, как детей, заставляет вас плакать! Неужели оно так страшно? Я не знаю... я давно не вижу его перед собой!

Слезы, как и смех, заразительно действуют на нервы. Мне был непонятен, мне досаден был плач Вареньки и ее матери, а между тем я крепко закусил губу, чтобы удержать непрошеную слезу.

Потом благословил Вареньку Иван Васильич и, прощаясь с ней, в буквальном смысле слова, облил слезами ее руку.

Потом она простилась со своими подругами, и подруги ее, все в белом, оплакивали ее, как весталки ту неосторожную, у которой по-

тух священный огонь...

А двум из этих весталок было под тридцать, и многим давно и сильно хотелось потушить свой огонь!

Когда Варенька прощалась со своей Наденькой, я удивился, как не обжег ее иудин поцелуй этого друга!

И, простившись, девицы, как резвая стая передовых птиц, поспешили в церковь.

– Не забудь дернуть за меня скатерть, когда будешь вставать из-за стола, – уезжая, шепнула Наденька своей подруге-невесте. Они уехали, и нас осталось немного. Варенька села и спросила себе стакан воды; она так устала, бедная! Я подал ей его; она выпила, успокоилась и сказала мне:

– С вами, Тамарин, я прощусь с последним.

– К чему прощаться: мы еще увидимся, – отвечал я.

– Нет, вы уж не увидите больше Вареньки! – тихо сказала она. В это время доложили, что подана карета. – Ну, теперь прощайте, Тамарин! – сказала она, подавая мне руку. – Прощайте! – И голос ее вдруг задрожал.

Я наклонился и поцеловал ее руку. Но ме-

ня страшно поразил холод этой руки: мне показалось, что она была мертвая! Кровь прилила у меня к сердцу, и, когда я приподнял голову, я, должно быть, был страшно бледен.

Варенька взглянула на меня и грустно улыбнулась. Мы поехали в церковь. Вареньку повезла одна почтенная дама, которая была посаженной матерью. Храм горел огнями и был полон народу. Я вошел вслед за невестой и с любопытством наблюдал за нею. Она была спокойна, но бледна и холодна как мраморная. В лице у нее не было ни кровинки, только резко обозначились синие жилки, да белый венчик дрожал на голове.

Клирос запел приветственную песнь, и как голубица прошла Варенька к налою между двух стен расступившейся толпы, и одобрителный шепот пробежал по этой толпе. Началось венчание.

Варенька первая вступила на подножие, но свеча ее сгорела больше, чем у жениха.

Я не знаю, нервы ли мои были расстроены, или их раздражила грустная сцена прощания, которой я был свидетелем, только все, что я видел в этот день, всякое незначительное

происшествие как-то резко ложилось на мое воображение и болезненно потрясало его. А между тем я обменял кольца четы, я все время держал венец над Варенькой.

Наконец все кончилось. Пошли обнимания, целования, поздравления! Все лица прояснились; те, которые навзрыд плакали за полчаса, теперь весело и радостно улыбались. О чем сокрушались они тогда! Чем они так довольны теперь? И их радость сердила меня, как сердили их слезы!

Все приехали в другой дом: Варвара Александровна Имшина была хозяйка этого дома.

Все в ее новом жилище было хорошо: просто, комфортно и мило; видно было, что женский, но предусмотрительный и внимательный взгляд позаботился обо всем.

Мавра Савишна была тут в гостях; она говорила: «Пусть их обживутся одни, узнают друг друга, а я перееду к ним после».

Приглашенных было много: вся губернская знать и, по заведенному порядку, все значительные должностные лица. Было и дам много; но девиц тут не было... И неловко было положение молодой, и она как-то робко

посматривала вокруг, и как будто с грустью искала глазами оставивших ее подруг.

А тут еще докучные остряки, со своими плоскими намеками да двусмысленными улыбками!

Было всякое угощение, а потом и ужин; пили здоровье каждого порознь, и всех вообще... пили и мое здоровье! Как будто им было нужно оно на что-нибудь! Наконец все стали разъезжаться. Сначала Варенька, казалось, была довольна этим: ее так утомила тревога дня! Но потом, когда незнакомые ей комнаты начали пустеть, и реже и реже был круг близких ей людей, она становилась задумчивее и печальнее. Уехал и Иван Васильич. Пришлось наконец ей проститься и с Маврой Савишной; и тут они немного опять поплакали.

Оставался я один, благодаря моей обязанности шафера и весьма плохого и ленивого распорядителя; и, признаюсь, по какому-то странному капризу я рад был случаю подолее не уезжать. Но наконец и я должен был ехать. Когда я подошел проститься с молодыми, Варенька, как будто поджидая меня, стояла грациозно, положив руку на плечо своего мужа.

Володя был румян и доволен как нельзя более; он от души благодарил меня; он был, казалось, так счастлив, что любил и меня! Варенька была рассеянна; но когда я поклонился ей, она мне весело подала руку; глаза ее оживились, и мне показалось, что в них блеснула горькая и злая насмешка...

В эту минуту я дорого бы дал, чтобы бросить при ней всю ее прежнюю любовь в довольное лицо ее мужа!

Я вышел, и они остались одни...

И теперь, когда давно спит весь добрый люд и только одни петухи горланят на дворе соседа, я сижу одни и нахожу болезненное наслаждение перебирать и записывать происшествия этого дня. Отчего же не спится мне; отчего, возвратясь домой, я ходил по комнате до упада, и кровь беспокойно кипит во мне, и я чувствую какую-то тупую боль в сердце; отчего я переживаю такие трудные минуты? Ведь не влюблен же я, в самом деле, в Вареньку? Ведь я же не хотел жениться на ней и сам толкнул ее в руки Имшина! Все от меня зависело... и не сидел бы я тогда один у заваленного книгами стола да не марал бы бумаги

вплоть до рассвета, назло моему камердинеру, как теперь, например!

А они?..

(Тут в рукописи, вместо точек, стояла страшная, раздвоившаяся клякса, как будто перо ударилось о бумагу и разщепилось вплоть до руки.)

Я был болен. Доктор нашел, что у меня разлилась желчь. Я это знал и без доктора. Он прописал мне микстуру и велел сидеть дома. Микстура была невыносимо противна, и потому я через час по ложке аккуратно выливал ее за окно. Когда я вылил три склянки, доктор объявил мне, что я совершенно здоров, и я заплатил ему за визиты с величайшей благодарностью. Тогда он дал мне совет больше выезжать и меньше обращать внимание на чужие глупости. Я нашел совет лучше лекарства и решился строго держаться его.

У Имшиных я бывал сначала редко: я не мог равнодушно видеть Вареньку женой другого; но потом я хотел пересилить это чувство и нарочно начал чаще бывать у них; однако ж привычка не избавила меня от какого-то болезненного сжатия сердца, которое я чув-

ствую всякий раз, когда вижу Имшина. Напротив, час от часу впечатление делается сильнее и больше, час от часу я становлюсь раздражительнее. И теперь я нахожу странное удовольствие в этом чувстве: я с какою-то гордостью подставляю свое сердце под эти мелкие удары и холодно смеюсь над его болью.

Как скоро изменилась Варенька! Как легко она вошла в свою роль! Когда я приехал к ним в первый раз после болезни, я почти не узнал ее! Вместо осторожной, связанной этикетом девицы я нашел грациозную, миленькую даму, которая будто весь век была ею.

Меня всегда поражала способность наших девиц становиться сразу в ту среду, в которую ее вводит перемена положения; и натура удивительно эластична: она тотчас принимает новые формы. Мужчина в этом случае гораздо грубее: ему надобно долго обнашивать свою женатость, чтобы свободно носить ее, а не то она сидит на нем как дурно сшитое платье; но это очень понятно! Оттого-то на сто смешных мужей встречается одна смешная жена.

Я не ухаживаю за Варенькой, – не потому, чтобы это было слишком рано, а из боязни уронить себя в ее глазах: я уверен, она бы оскорбилась и не простила бы мне моего волокитства. Но, сознаюсь, меня что-то влечет к ней. Что? Не знаю! Может быть, привычка, прелесть потерянного или, наконец, избалованное самолюбие, которое беспрестанно запрашивает более и более. Впрочем, надобно и то заметить, что теперь Варенька не деревенская девочка: она имеет всю заманчивую привлекательность женщины, да еще вдобавок так недавно выстрадавшей опытность. Еще одна новая, тщательно скрываемая черта Варенькиного характера притягивает меня своей загадочностью: мне удалось подметить в ней какую-то внутреннюю сухость, какой-то душевный холод, который изредка пробивается сквозь ее грациозную непринужденность манер и странно противоречит с ее видимой веселостью.

Что это? Следы ли прошлого, не совсем залеченного страдания, или – и самолюбие подшептывает другую догадку – или остаток прежней, против воли тлеющей любви?

Все это вместе очень интересует и привлекает меня. К тому же она так самонадеянно беспечна, так равнодушно мила, что это меня сердит, особенно когда я вспомню, что не могу притупить глупую боль моего сердца!

Нет, я недоволен собой! Я веду себя как мальчишка! Характер мой испортился до того, что я готов бы был его бросить и остаться совсем без характера, что всего хуже на свете. При Вареньке я то лихорадочно весел, то зол, как цепная собака; без нее мне скучно. Я едва удерживаю себя, чтобы не бывать у нее каждый день, и только мои всегдашние странности избавляют меня от замечаний света. Если я весел, говорят: Тамарин сегодня в духе; если я зол, говорят: у Тамарина желчь, и дело с концом. Все знают, что то и другое у меня бывает без причины, и моя прочная репутация холодного эгоиста прикрывает меня.

А Варенька все по-прежнему мила и равнодушна – кажется, еще милее, еще равнодушнее! А глупое сжатие сердца еще сильнее! Что ж это, ревность, что ли? И к кому же? К Володе, к мужу!.. Досадно!

Недавно мы случайно остались вдвоем с

Варенькой. Она что-то работала по канве и опустила голову. Я сидел прямо против нее, на низком кресле. Две свечи стояли на пьедесталах, и между ними, как в святочных гаданьях, мне видна была головка Вареньки. Я воспользовался своим положением, чтобы незаметно для нее полюбоваться ею. Варенька похорошела. На ее лице нет живости деревенского румянца, но его сменил легкий розовый оттенок. Лицо это, одушевленное чудесными темно-голубыми ясными глазами и двумя ямками на щеках, окаймленное густыми, русыми, гладко причесанными волосами, делало ее головку такой оживленной, и эта головка была так мило поставлена, так проникнута полностью созревшей мысли, что я с наслаждением любовался ею... Я продолжал смотреть в ее темно-голубые глаза и искал в них признаков смущения и беспокойства, но были они тихи, ясны смело остановились на мне. Прошла долгая минута ожидания. Наконец по устам Вареньки пробежала улыбка, ямки живее обозначились на щеках, и она, немного прищурясь, очень наивно спросила меня:

– Скажите, пожалуйста, что вы так при-

стально смотрите на меня?

Мне стало совестно самого себя, и я смутился, как почтенный человек, который наедине делает перед зеркалом умильные гримасы и вдруг видит в нем два насмешливых посторонних глаза. Но я оправился и отвечал ей:

– Я искал в ваших чертах черты другой знакомой мне особы.

– И что же?

– И боюсь, что вместо нее увидел вас.

– Будто это так страшно?

– Не страшно, но неутешительно!

– Будете вы завтра в театре? – спросила она.

– Вы хотите переменить разговор?

– Нет, но завтра дают, говорят, хорошую пьесу: «Что имеем, не храним»...

– Она не в моем духе, – отвечал я, – может быть, потому, что я, потерявши, никогда не плачу.

Все это могло бы меня очень забавлять, если бы не было так досадно! Самая пора года, когда наша русская природа готовится к превращению, странно настраивает душу, за-

ставляет и ее желать какой-то перемены. Снег истерся в песок, капли звучно падают с крыш, небо серо, как земля, и, как земля, тучи держат массу воды, готовую смыть ее изношенную одежду. И вдруг пахнет в лицо теплый ветер, Бог весть откуда занесенный навесьть какие-то чуждые мысли!.. Нет, решительно я недоволен собой!

Я перестал бывать у Имшиных. Мне надоела эта внутренняя тревога, которая так потрясает меня; но я не избегал ее; я несу ее с собой в шумный сбор молодежи в тишину моего рабочего кабинета; только без Вареньки она иначе действует на меня: она производит впечатление кокой-то постоянной тяжести, тупой, хоть и несносной боли. Впрочем, еще одна мысль заставляет меня тщательно избегать общества Вареньки: я хочу ее заставить почувствовать мое отсутствие. Когда она меня видит, она становится в оборонительное положение, и борьба дает ей силы; но без меня ей придется иметь дело со своим воображением. «Легче победить сто врагов, чем самого себя», – сказал кто-то прежде меня.

И вот однажды, утомленный пустотой об-

щества, которое мне надоело, скучая по расчету, я сидел у скрытого окна моего кабинета. Были сумерки, те ясные и душистые весенние сумерки, которые так настраивают к мечтательности. Глаза мои, усталые от чтения, лениво отдыхали на глубине горизонта и невольно спустились с него на развернутый перед ними вид. Разлив Волги сливался с далеким небом, вода его была гладка и спокойна как зеркало. Местами ее поверхность была разорвана островами, и на них рисовались силуэты полузатопленных, дремавших деревень. Иногда проскользнет тихо, будто на тайное свидание, тень лодки с одиноким гребцом, иногда послышится мерный плеск воды, и другая лодка, махая, как крыльями, двумя рядами весел, птицей пронесется перед глазами, и только успеешь увидеть ряды гребцов, дружно и мерно наклоняющихся над водою, и уже нет ее, и оставила она только два следа: полосу на воде да веселую песню в воз духе. Был и третий след, который весь этот вид оставил тогда на душе моей, — неуловимый, мимолетный, но глубокий след! Грустно и больно стало мне, и тихо я вышел

из дому, в непонятном мне волнении.

Дом Имшиных был освещен слабо, по-будничному, когда в пустых комнатах горят лампы, как уличные фонари. Но в одном окне свет был ярче, и, осмотревшись кругом, я остановился перед ним. В щель неплотно доходявшей до низа шторы мне была видна глубина комнаты. Варенька сидела одна, приклонясь в мягкий загиб углового дивана. Сзади нее стояла лампа, и только часть Варенькиного профиля была ярко освещена. Одной рукой она облокотилась на мягкую подушку, в другой держала книгу, но книга была опущена. А глаза Вареньки были устремлены прямо, как будто она читала другую, невидимо раскрытую перед ней книгу... Сердце сильно забилося во мне, и я вошел к Имшиным.

– Дома барин? – спросил я у лакея.

– Никак нет-с: в клубе.

– А барыня?

– Варвара Александровна дома, – сказал он, шумно отворив дверь в залу, что служило вместо доклада.

Когда я вошел в комнату, Варенька была в той же позе, только голова ее была вопроши-

тельно повернута к двери, и она, прищурясь, хотела поскорее разглядеть нежданного гостя.

– А, мр. Тамарин! Скажите, пожалуйста, что случилось с вами?

Я поклонился и, подойдя ближе, вошел в яркий круг света. Видно, я был очень бледен, потому что лицо Вареньки изменилось, и она с беспокойством спросила:

– Что с вами, Тамарин?

– Боже мой! Разве вы не видите, что со мной? Разве вы не видите, что я люблю вас, что я вас люблю! – сказал я.

Досада, волнение, чувство, невольное чувство – душили меня. Я едва мог выговорить последние слова и в бессилии опустился в кресла. Прошла минута страшного молчания... Но сила глубоко из сердца вырвавшегося слова велика тем, что она извлекает ответные звуки: на это слово нельзя отвечать холодно и рассчитано.

И Варенька со смущением и грустью отвечала:

– Несколько месяцев назад эти слова составляли бы мое счастье, а теперь поздно...

поздно, Тамарин!

– Послушайте, – сказал я, – я прежде не умел вас понимать, я не мог вас понять: я не был к этому подготовлен; но теперь я вас люблю, Варенька. Я вас так люблю, что заставлю вас забыть прошлое и простить меня... Вы простите меня? – спросил я.

Я взял ее руку и склонился над нею.

– Вы ни в чем не виноваты, – сказала она. – Я это знаю и не обвиняю вас.

– Да, я не виноват; но я вам дал много горя. Простите меня, и у нас впереди будет много счастья, чтобы забыть его!..

– Нет! Счастья уже не будет! – вздохнув, сказала Варенька.

Я ни слова не говорил, но глядел на нее.

– Я вас не люблю больше, – прибавила Варенька холодно, спокойно и твердо.

– Неправда! Неправда! Вы обманываете себя и меня, – сказал я, и в голосе моем было твердое убеждение.

Варенька горько усмехнулась.

– К чему? – сказала она. – Я знаю мои обязанности и мой долг; я их знаю, Тамарин! Но знаю также и то, что сердцу приказывать

нельзя... Нет! Я вас не люблю, потому что вы убили мою любовь! Да! – прибавила Варенька. – Вы убили ее. Вы не думали тогда, что она пригодится вам, что когда-нибудь забьется ваше сердце и вы, бледный, измученный, придете за этой любовью!

– Тогда я не любил вас, – отвечал я.

– Знаю... Вы не виноваты... Вы не хотели, чтобы я страдала, но вы не хотели ничем жертвовать моей любви... Вы не любили, но вы позволяли себя любить... Это было очень великодушно! Однако всему есть мера: измученное сердце наконец замрет, и тогда оскорбленная гордость откроет глаза...

Сердце сжалось во мне, и из него начало отделяться другое чувство, которое всегда у меня наполовину смешано с остальными.

– Я всегда была с вами откровенна, – продолжала Варенька. – Сознаюсь вам, та мечта, которую создало и полюбило в вас мое детское воображение, давно исчезла. Но я любила в вас вашу двойственную, измученную противоречиями натуру. Когда ж я увидела, что вы всегда ребячески боитесь света, что вы бегаєте от всякого чувства, которое может на-

рушить ваше внутреннее спокойствие, потревожить лень вашего сердца, тогда у меня явилось сомнение в ваших силах, тогда я невольно подумала, что вы бегаєте от борьбы с собой потому, что не в состоянии выдержать ее, и мое очарование исчезло...

– И тогда, – сказал я, – вы выбрали другой предмет любви, более достойный вас.

Варенька не отвечала.

– Утешьтесь, – продолжал я, – вы отомщены!

И в самом деле, в эту минуту, не знаю, от любви ли, досады, или самолюбия, но я страдал глубоко.

– Что мне в этом? – сказала Варенька. – Разве я искала мщениа? Разве я кокетничала с вами, чтобы возбудить вашу любовь? Напротив, она глубоко огорчает меня, потому что больше заставляет жалеть невозвратимое. И вы думаете, легко мне теперь?.. Знаете ли, что я делала сейчас до вашего прихода? Я мечтала о деревенской девочке, которая увидела одно загадочное, интересное для нее существо. Как она была счастлива!.. Прошло полгода, и в этой неопытной, наивной девочке и в

этом холодном, но чудно влекущем ее существом я не узнала ни себя, ни вас! У меня даже не осталось мечты, которую бы я могла любить...

– Боже мой! Но виноват ли я, что я таков! – сказал я, поддаваясь грустному впечатлению и жалея более о Вареньке, чем о себе. – Виноват ли я, что два чувства, которые могли бы составить наше счастье, пришли порознь и разбили его!.. – Что ж мне делать! Что ж мне делать! – вздохнув, повторил я.

– Жениться! – сказала Варенька с насмешкой...

Затем я спокойно улыбнулся, поклонился и вышел. И странное тогда что-то творилось во мне!..

Когда я пришел домой, я тотчас послал за доктором.

– Доктор! – сказал я, когда он явился на мой зов. – Я болен. Я ужасно болен, доктор!

– Что с вами? – спросил он.

– Доктор, у меня страшно болит грудь.

– Гм! Это ничего.

– Кроме того, у меня стреляет в левый бок, боль проходит под ложечкой и оканчивается

нестерпимой ломотой в правой лопатке, и все это отдается тупой болью в позвоночном хребте.

Мой доктор задумался. Я продолжал:

– Я кашляю днем и не сплю напролет целые ночи. Аппетита нет решительно никакого. Нервы раздражены, дыхание тяжело. Бие-ние сердца ужасное.

Доктор посмотрел на меня с недоумением, но я был бледен как полотно.

– А голова не болит? – сказал он, загляды-вая мне в глаза и щупая пульс. Он думал, ве-роятно, что я помешался.

– Голова не болит, – отвечал я.

Доктор погрузился в размышление.

– Знаете, доктор, что придумал я. Я болен весь, решительно весь; мне нужно лечение, которое бы восстановило весь мой организм: я думаю ехать на кумыс.

– А что же? Прекрасно – сказал доктор. – Поезжайте: кумыс восстановит вас.

– Так вы советуете, доктор!

– Непременно. Я вам решительно пропи-сываю кумыс.

– И вы думаете?

– Я думаю, что это необходимо.

– Благодарю вас, доктор, вы меня спасаете! – сказал я с чувством.

И мы расстались, очень довольные друг другом.

На другой день в 12 часов ко мне приехали Островский и Федор Федорыч, за которыми я посылал; у меня сидел уже доктор, пришедший навестить своего больного.

– Зачем ты присылал за нами? – сказал Островский, входя.

– Завтракать.

– Умно придумано!

– А отчего у вас на дворе стоит тарантас? – спросил Федор Федорыч.

– Я еду, – отвечал я.

– Куда это?

– На кумыс.

– Что за дикий вкус!

– Доктор посылает.

– Доктор, что это вам пришла фантазия выгонять его отсюда?

– Сергею Петровичу это необходимо, – отвечал доктор, – я ему решительно прописываю кумыс.

– И ваше мнение неизменно? – спросил Островский.

– Положительно! – сказал доктор.

– В таком случае нам ничего не остается больше, как оплакать тебя и выпить с горя.

– За этим дело не станет, – отвечал я и велел подавать завтрак и закладывать лошадей.

За другой бутылкой все стали говорливее; Островский с большим одушевлением доказывал мне, что живительность виноградного сока не может ни с чем сравниться, и советовал мне лечиться шампанским.

– Попробуй, душа моя, – говорил он, – выпивать бутылочку в день; будет мало, так две, но только аккуратно, непременно аккуратно, и ты увидишь, как оно поможет. Лечат же молоком, лечат водой; не может же быть, чтобы вино было менее полезно.

– Между нами, – сказал Федор Федорыч, – если вы едете собственно лечиться, то вы попустякам едете. Вы больны только мнительностью.

– А разве это не болезнь? – сказал я.

– Правда, – отвечал он, – и очень опасная.

– Мне что-то сдастся, – сказал Островский, – что ты не для кумыса едешь; я за тобой не знал страсти к нему. А здоровье твое, благодаря Бога, не хуже нашего! Правда, ты побледнел и похудел немного, да это к тебе идет; я так вот не знаю, что с собой делать: толстею непозволительно! Нет ли у тебя тут страстишки?.. Кстати! Ну, Тамарин, руку на сердце, а сердце на язык, скажи, как твои делишки с Варенькой?

– Ты знаешь, как я редко у нее бываю.

– И вы не прощались с ней? – подозрительно спросил Федор Федорыч.

– Благодарю вас, что напомнили, – сказал я, – мне, в самом деле, надо проститься с нею. Да мы отсюда заедем вместе. Вы меня проводите до заставы?

– Непременно, – отвечал Островский.

– Только мы с князем проедем прямо туда, – прибавил Федор Федорыч.

– Напротив, – возразил Островский, – едем вместе.

Через полчаса три наших экипажа шумно подъехали к дому Имшиных. Мы вошли вместе. Володя встретил нас; Варенька сидела за

работой и вопросительно посмотрела на мой дорожный костюм.

– Я заехал проститься с вами, – сказал я.

– Куда это вы? – спросил Володя.

– В деревню.

– Так мы опять лето проведем вместе? – сказал чей-то голос из угла.

– Ба! Иван Васильич! Вы еще здесь? Помнится, мы с неделю как простились.

– Да с! Да вот не собрался еще выехать. Жалко, что я не знал, а то бы вместе...

– Ну, нам было бы не по пути, – сказал я, – я еду в Оренбургскую губернию.

– Это зачем? – спросила Варенька.

– На кумыс, – отвечал я.

– Лечить расстроенную грудь! – прибавил Федор Федорыч.

Я рассмеялся.

Иван Васильич подошел и с участием поглядывал на Вареньку: он боялся, что мой отъезд огорчит ее.

– Охота же пить кумыс, прости Господи! – проворчал он недовольно.

– Я одного с вами мнения, Иван Васильич, – сказал Островский, – то ли дело вино!

– Что ж! Надобно пожелать счастливого пути отъезжающему, – сказал Имшин и велел подать шампанского.

– Ваш муж удивительно всегда находчив, – заметил Островский, обращаясь к Вареньке. – А жалко вам Тамарина? – спросил он ее.

Вопрос был неожидан, но Варенька не смешалась.

– Очень! – сказала она.

– Так уговорите его по крайней мере поскорее возвратиться.

– А вы пробовали?

– Я советовал ему вовсе не уезжать, да он не слушается.

– В таком случае я не берусь, – сказала Варенька, – я знаю, что ваши убеждения всегда были сильны над Сергеем Петровичем.

Варенька намекала на мой отъезд из деревни; она хотела казаться равнодушной и была холодна.

Я не был ни скучен, ни весел. По какому-то странному и непонятному для меня явлению, мое сердце ничего не чувствовало: оно как будто замерло; я не умел себе этого объяснить, но был очень доволен собой.

Подали вино. Варенька пожелала мне доброго пути, дотронулась своим бокалом до моего и омочила в него розовые губы; я поблагодарил ее, попросил засвидетельствовать мое почтение Мавре Савишне, пожелал много удовольствий и затем поцеловал ее руку. И это прикосновение было холодно, как прикосновение наших бокалов!

Потом я пожал руку Володе, трижды облобызался с Иваном Васильичем, поклонился и вышел. И вот наше прощание!

Федор Федорыч и Островский проводили меня до заставы. Тут мы остановились, чтобы проститься.

– Варенька или очень любит вас, или более чем равнодушна к вам, – сказал Федор Федорыч.

– Почему вы это думаете? – спросил я.

– Оттого, что она не допустила себе выказать того мягкого и отчасти нежного расположения, которое всегда бывает у женщины при прощании с хорошим знакомым: она скрывала что-то.

– А я так сделал другое замечание, – сказал я, – что вы принимаете в Вареньке большое

участие.

– Вы ошиблись, – отвечал Федор Федорыч, – вот видите ли, почему: я очень люблю смотреть на людей, как на актеров, которые разыгрывают свои роли очень натурально, нисколько не подозревая, что они мне этим доставляют большое удовольствие. Я выбираю из них тех, которые занимательнее, а остальным плачу полным невниманием. С этой точки зрения вы много интересовали меня. Вы были очень эффектны своей холодной безэффектностью в драме, в которой грустная роль выпала Вареньке.

– Чего ж лучше? – прервал я. – Теперь, когда я схожу со сцены, явитесь на ней тем неузнанным утешителем, который говорит: «Бедная Амалия! Ты несчастна, но это сердце наградит твою добродетель».

– Нет! – сказал Федор Федорыч. – Я слишком ленив, чтобы брать на себя какие-нибудь роли, и предпочитаю остаться зрителем.

– Что ни говорите, – сказал Островский, – а я завидую Тамарину.

– А мое мнение, господа, то, что смешно стоять в поле и толковать о подобных пустя-

ках. До свидания! – сказал я, подавая им руку.

– И до скорого? – спросили они.

– Не знаю! Но у меня есть предрассудок никогда не говорить «прощайте!». Это слово исключает мысль о свидании, а мы, может, еще и столкнемся где-нибудь.

Мы пожали друг другу руки и разошлись по экипажам.

Когда лошади готовы были тронуться, я привстал в тарантасе.

– Федор Федорыч! – сказал я. – Если увидите Марион, поцелуйте от меня ее руку.

Он кивнул мне головой, и мы поехали в противоположные стороны...

И вот, через десятки лет, я опять сижу в том деревянном доме, в той комнате, из которых когда-то, давно, давно, полуробенком, я выехал в далекий город по незнакомой дороге. Много золотой мечты было в моей детской голове тогда; много горячих слез было пролито надо мной! И я плакал, и мне было грустно, а что-то звало, что-то манило меня... и я уехал... Прошли годы, я возвратился. Мечты мои я растерял где то на дороге. Многие из тех, которые горячо плакали над отъезжаю-

щим полуробенком, давно вышли навстречу и ждали меня, и первые встретили они меня у самого въезда на сельском кладбище! И низко поклонилась праху их та голова, в которой бы разве только сердце их могло узнать детские черты.

И вот я на родине!

Уединение ли от общества, или то небо, которое привыкло видеть мой ясный, не испорченный светом взгляд, просветлило его, только на многое из моего уединения смотрю я, как не смотрел доньше. Отсюда я вижу ясно и мою встречу с Варенькой. Или я вышел поздно на ее дорогу, или она рано на мою, но мы не могли идти вместе. Мое сердце было слишком обношено, чтобы забиться при первой встрече; оно почувствовало ее тогда, когда Варенькино болезненно о него разбилось. Но не без влияния на него был этот детский удар: кора холодности, которая лежала на нем, не распалась, но была пробита, и сквозь нее проскользнуло много новых чувств, и больно потрясли они обнаженные фибры! Но сельский воздух, говорят, живителен!

Любимое мое занятие здесь – охота; осо-

бенно я люблю охоту по вечерней заре на вальдшнепов. Только солнце станет садиться, и выедем мы на длинных дрогах в лес и растянемся цепью по извилистой дороге. Сидишь один на пне или повалившейся березе, ружье наготове, взгляд бессознательно вперен в чащу, зато чуткое ухо напряжено и с нетерпением ждет, не задрожит ли безмолвный воздух от знакомого звука. Но вечер тих, в воздухе не шелохнется, слышно даже, как червяк ползет по сухому листу. Чу!.. нет, это тихо кашлянул за смежным деревом припавший охотник. Но вот что-то далеко, чуть слышно, как будто захрипело в воздухе, ближе, ближе... Так! Это вальдшнеп летит с поля в лес на ночевую... Сердце забьется, как будто при знакомом ижданном шелесте женского платья... Ружье приподнято, взгляд беспокойно ищет; и вот между зеленых вершин, как будто вырезанных на темнеющем вечернем небе, мелькнула тень... мгновение, и она опять скроется! Но блеснул огонь, выстрел грянул по лесу, гора отозвалась на него эхом, и все затихло, и птицы не слышно... И сердце опять бьется: что упала ли она, опустив вниз

голову и шибко рассекая подбитым крылом воздух, пли, смолкнув, быстро летит далее, и тогда цепь выстрелов гремит по лесу на пути ее, и дробит ее воздушный след, и ловит ее на голубой вышине, и нет безопасности тогда и в вольном воздухе. А между тем стемнело, человека в лицо не рассмотришь... И потянутся по тропе живописные темные фигуры... С жаром рассуждая о выстреле, покуривая, собираются охотники к нетерпеливым коням.

А часто, сидя один, я, с напряжением слушая безмолвную тишину дремучего леса, заношусь воображением далеко, и перед неподвижно устремленным взглядом проходят заветные, знакомые тени...

Вот они... вот они... и страстно-холодная Лидия с матово бледным челом, и Варенька со своей живописно освещенной русой головкой и темно-голубыми глазами, которые так грустно смотрят на меня... А вот и Марион, веселая, прелестная Марион! Она резво несется мимо, и безмолвные уста улыбаются мне... И за ними другие, неясные, как поблеклая картина, но когда-то тоже милые тени... и шибко бьется сердце, хоть и не чувствует напряженное

ухо знакомого полета над головой!

– А что, сударь, много убили вы? – подсмеиваясь, спрашивает седоусый егерь, который в детстве носил меня на руках. – А был сегодня через вас лет преотличный, да, видно, про других птиц думали вы.

– И тогда вспомню я обо всем, что бесполезно пролетело передо мной, и, задумавшись, тогда еду я в темный вечер домой, впереди сидящих с поднятыми ружьями охотников...

Иванов

(Посвящается друзьям К)*

I

Молодость, молодость! Куда ты спешишь? Куда ты бежишь, не озираясь по сторонам, торопясь прожить от сегодня до завтра! Смотри, близко, ближе, нежели ты думаешь, на повороте дороги ждет тебя зрелость со своим спокойным лицом и строго спрашивает она тебя, что вынесла ты с собою из своего торопливого бега, под какой ношей потратила ты свои свежие силы, какой тяжелый запас ты так трудно и так спешно несла. Что ответишь ты ей?

Года прошли над Тамариным, с тех пор как мы оставили его удалившимся в деревню для поправления сил и немного расчувствовавшимся под влиянием свежей любви и чистого воздуха. И в эти года были у него любопытные встречи. Много лиц и мест прошло перед ним, и между всех лиц и во всех местах он пристально наблюдал и болезненно всматри-

вался в самого себя. По-прежнему он жадно искал чувств и, найдя их, как натуралист, рассекающий редкий цветок, анализировал всякое внутреннее движение... нужды нет, что этим убивал его. Но мы пройдем мимо этих новых лет, повторяющих прежние, мимо этих новых лиц, напоминающих старые. Не один Тамарин имеет право на наше внимание: и другие образы, вместе с ним вызванные воображением, еще не досказали нам своего последнего слова.

Вставайте же, старые, знакомые тени! Мы опять в городе Н***, в том же деревянном доме над Волгой, на пустынной набережной. Был час седьмой вечера. Первый снег большими хлопьями ложился на избитую мостовую, придавая сумеркам новый оттенок света. Под горой еще незамерзшая река тяжело двигалась своей сизо-мутной, как будто иззябшей от стужи, водой. На дворе знакомого нам дома стоял дорожный экипаж. Четверня потных и худых лошадей отдыхала, понуриив головы, привязанная у дышла. В передней на полу лежало не сколько дорожных ящичков; камердинер, опоясанный широким англий-

ским ремнем, и мальчик возились около них; в углу, в изорванном полушубке, в мокром сером кафтане, с кнутом и рукавицами за поясом, стоял ямщик, в ожидании на водку, и для препровождения времени вытаскивал комки грязи из бороды. В нежилом доме было холодно и сыро. Первые комнаты, темные и пустые, производили какое-то тяжелое впечатление; но в угольной светился огонь. В ней, у разгорающегося камина, сидел Тamarin, в дорожном платье и теплом пальто, которое не успел еще скинуть. Он был таков же, каким мы знали его, и, по-видимому, годы мало следов оставили на нем; но – и может быть, это было влияние дороги, которую он только что сделал, – в темных глазах его было меньше блеска и больше этого матового холодного выражения – следствие физической или нравственной усталости; только его ленивые, небрежные движения как будто потеряли часть юношеской гибкости и стали немного резче и прямее, да отвесная морщина – признак какой-то постоянной мысли – глубже обозначалась на гладком лбу, и две легкие черты по углам рта при давали более насмеш-

ливое выражение его улыбке. А впрочем, то же спокойное, бледное, с тонкими очертаниями лицо, которое одинаково глядит на радость и горе, та же простая и безыскусственная красавица манер, которые до того прививаются иногда к человеку, что делаются его натурой. Сухие березовые дрова трещали и ярко разгорались в камине. Протянув к нему ноги из низкого и широкого кресла, Тамарин, закулив обычную папиросу, в ожидании чая, лениво грелся, пристально глядя на огонь. Вокруг, на столе, этажерках и окнах, лежали его книги и вещи в том нетронутым порядке, как некогда были им оставлены. Годы прошли над ними только слоем пыли, и все в них дышало еще вчерашней жизнью, хотя этому вчера минуло несколько лет. В этой среде прошлого прошлые впечатления невольно налетают на душу; и немудрено нам отгадать, отчего Тамарин так пристально смотрел на переливающийся по стоячим поленьям огонь: это была для него та минута забвения, в которую человек перестает жить настоящей жизнью, воображение вдруг отодвигает ее назад и, вычеркнув из памяти целый ряд долгих

и трудных лет, вместо них вызывает из прошлого несколько давно пережитых дней и ясно и резко становится их перед внутренними очами. С ним совершалось одно из необъяснимых чудес человеческой природы, на которые мы не обращаем внимания, потому что они случаются каждый день... и, как будто для поддержания обмана, вдруг ему послышались знакомые голоса в передней, кто-то скоро прошел по пустым комнатам и с шумом вошел в каминную.

– Ба! Островский!

– Тамарин! Какими судьбами? – И Островский бросился обнимать Тамарина. – Вот именно как снег на голову, – сказал Островский, – у нас же сегодня первый снег выпал. Представь себе, едем мы...

В эту минуту, лениво пришаркивая ногами, в дверях показалась длинная фигура.

– Федор Федорыч! – сказал Тамарин, идя ему навстречу.

– Здравствуйте, – отвечал Федор Федорыч с довольной улыбкой, пожав Тамарину руку немного крепче обыкновенного. – Продолжайте князь, я вас прервал, – сказал он, по-

двигая к камину покойное кресло и усаживаясь в него.

– Едем мы по набережной с Федором Федорычем – вдруг видим у тебя огонь: мы и заехали. Откуда занесло тебя?

– Да чтобы ясно сказать, так с последней станции, – отвечал Тамарин.

– Надо прибавить, по какому тракту, – заметил Федор Федорыч.

– Это все равно: я езжу с весны, лето провел на водах.

– На зиму к нам? Ничего умнее ты не мог придумать.

– Может, пробуду и зиму – как поживется. Ну, а у вас что нового?

– Нового немного. Самую занимательную вещь и доброе дело удалось сделать мне: я отучил здешних жителей угощать себя и гостей здешними винами. Теперь все выписывают из Петербурга...

– А далее?

– А более почти и нет ничего. В нашем городе как-то вообще ничего не случается, а если что и случится, так лучше, если б уж не случилось: поссорится кто-нибудь, умрет, ро-

дит, женится... Прошло, брат, доброе, старое время, когда одна половина города была влюблена в другую. Бывало, у всякого своя севильская маркиза. Нынче не то! Молодежи новой понаехало, да молодежь все о деле толкует.

– Хорошая молодежь! – заметил Федор Федорыч. – Немного старики-молодежь, а хорошая.

– Ну, а женщины?

– Да женщины по-прежнему. Все новенькое любят: для них что материи на платье, что мужчины – последний привоз в ходу.

– Ты мне пророчишь успех, Островский.

– Ну это вопрос нерешенный! Ведь ты уж побывал на здешних подмостках. Вы как думаете, Федор Федорыч?

Федор Федорыч вынул сигару, отрезал машинкой кончик и стал закуривать ее: он собирался вступить в разговор.

– Я думаю, – сказал он, обращаясь к Тамарину и пустив предварительно несколько струек дыма, – я думаю, что если вы выступите в старом амплуа, то будете иметь успех... разве у очень молодых девочек.

– Вы мне не льстите, – отвечал с усмешкой Тамарин. – Впрочем, вы ошибаетесь, если думаете, что я принимаю какую-нибудь роль, а чужую тем более. Мне и своя надоела.

– Я говорю про амплуа, а не роль: этого не должно смешивать. Вот видите ли, все мы более или менее актеры, потому что жизнь, по моему мнению, бывает, смотря по обстоятельствам, интересная или пустая драма... иногда и водевилем разыгрывается. Это ужасно старый взгляд. Но вы меня заставляете развивать его. Бездарность хватается за разные роли: сегодня молча драпируется рыцарем, а завтра будет брать взятку, и сегодня и завтра все будет бездарностью. Вы талантливый актер; но и таланты иногда меняют амплуа и пробуют свои силы в другом роде. Я бы это мог, пожалуй, подкрепить примерами, да не читаю ни «Пантеона», ни «Репертуара».

– Хорош талант, которым интересуются молоденькие девочки! – сказал Тамарин. – Продолжайте, Федор Федорыч.

– Талант остается талантом, да вкусы меняются. Впрочем, я, может, и ошибаюсь; но обещаюсь обстоятельно решить вопрос перед ва-

шим отъездом и даже, если хотите, подкреплю его теорией.

– О вкусах, – прибавил Островский. – Мой вкус, например, не мешать вина с водой, а есть люди, которые совсем другого мнения; но о вкусах не спорят, и я с ними не спорю и вам то же советую.

Тамарин усмехнулся своей невеселой, равнодушно насмешливой улыбкой, Федор Федорыч с наслаждением принялся курить сигару, как чело век, отдыхающий после тяжелого труда. Подали чай, и некоторое время только слышен был стук опускаемых стаканов, да дым сигар и папирос вился между молчаливыми собеседниками и длинными струями тянулся в ярко топившийся камин. Но Островский не мог сидеть долго молча и первый заговорил:

– Ты вовремя приехал, Тамарин. Варенька Имшина на днях переезжает сюда. Уж не списались ли вы?

– Ба! – сказал Тамарин таким тоном, который ровно ничего не говорил.

– Она уже здесь – вчера еще приехала, – сказал Федор Федорыч.

– Быть не может! Как же я не знал этого?

– Странно, а справедливо: мне Иванов ска-
зывал.

– Ну, ему как не знать: он целое лето про-
был около деревни Имшиных.

Тамарин взглянул искоса на Островского,
потом спросил, как будто нехотя:

– Кстати, каково живет она?

– Ну, об этом опять надо спросить у Ивано-
ва; а впрочем, хорошо: с полдюжины детей
уж есть.

– Слухам должно верить вполовину, – за-
метил Федор Федорыч, – а для князя можно
сделать исключение и убавить втрое.

– Все равно: коли нет, так могут быть. Где
ж мне чужих детей помнить! – сказал Остров-
ский.

– А Иванов – что это такое? – спросил Тама-
рин.

– Ничего, деловой человек... Разве ты не
знаешь, что Ивановы во всяком городе водят-
ся: ну, и здесь есть Иванов.

– Таких, как этот, однако ж, немного, – за-
метил Федор Федорыч.

– А что, он много побед делает? – спросил

Тамарин с насмешкой.

– Лучше этого, – отвечал Федор Федорыч, – он их вовсе не ищет.

– Довольно неглупое средство, чтоб иметь успех.

Федор Федорыч ухмыльнулся довольно зло, но Тамарин не заметил этого. Его перебил Островский:

– Не догадывайся, пожалуйста, Тамарин, или твоя проницательность будет пользоваться одинаковой репутацией с моим кредитом. Иванов столько же похож на волокиту, как мы с тобой на скромников...

– А Варенька?

– Ну, это еще дело темное, а догадываться можно: ты знаешь лучше других, что значит прожить лето в соседстве...

– Ты, кажется, напрашиваешься, чтоб я тебе запел арию из Роберта: «Ты мой спаситель». Это старо, Островский. Но, чтобы не быть не благодарным, я тебя попотчую моим дорожным ромом, и пожалуйста, считай меня расквитавшимся.

– Принимаю условие охотно, охотно принимаю и даже нахожу, что ты сегодня немно-

го великодушен: не растрясло ли тебя?

– У меня венская коляска, да у нас нынче и шоссе очень порядочно. Не Иванов ли им здесь занимается? Вы, кажется, говорили, Федор Федорыч, что он деловой?

– Очень, да по другой части. Он служит с мужем Марион.

– Ба! Муж Марион здесь! Что ж вы мне не сказали?! С женой?

– Да, и с женой. Только будьте покойны: вакансия его друга свободна.

– Я на нее не мечу, Федор Федорыч, а если бы и имел намерение, так меня Ивановы не остановят: я бывал на скачках с препятствиями.

– И надо отдать справедливость: хорошо скачешь, друг Тамарин! Ты мне напомнил доброе старое время нашей английской охоты. Но тут страшны не препятствия. Ты знаешь Марион? Чудная женщина!

– Больше этого: женщина-редкость, – сказал Федор Федорыч, – она еще никогда не любила.

– Да что ж мы о ней говорим Тамарину: он ее знает лучше нас, – перебил Островский.

– Ты едва ли не ошибаешься, – отвечал Тамарин, – вам покажется смешно, если я скажу, что мы с ней проходили курс дружбы. Это было очень ново и чрезвычайно забавляло меня.

– Да, – сказал Федор Федорыч, – в самом деле, это было занимательно, – жаль только, что мало развито. Я думал проверить на опыте мое мнение, что дружба есть чувство переходное; но в это время вы заняты были курсом любви с Варенькой, и опыт остался неоконченным.

– А вы по-прежнему любите наблюдать чужие глупости? – спросил его Тамарин.

– Это лучшее средство не делать их самому, – отвечал он. – Признаюсь вам, в тот приезд вы меня много занимали, и не будь здесь Иванова, я бы в состоянии был, я думаю, сам начать жить, что очень скучно. Я очень рад, что вы приехали, – прибавил Федор Федорыч, лениво вставая и искренно пожав руку Тамарину.

– Куда же вы? – спросил Тамарин.

– Да в клуб пора. Я с вами заболтался. Боюсь, Николай Николаич рассердится: он не

любит, когда поздно приезжаешь.

– Хотите, я вас завезу? – сказал Островский.

– Благодарствуйте: у меня есть извозчик.

– Ну так вы меня довезете, потому что у меня нет его.

– До свидания.

– До свидания.

И они уехали.

Когда Тамарин остался один, сильнее прежнего всколыхнулись и встали в его воображении и прошлые дни, и полузабытые образы. Но это воспоминание не освежало его, а, скорее, возбуждало какое то тревожное, беспокойное ощущение. Рассказы приятелей отчасти отдернули для него эту тонкую пелену забвения, сквозь которую все даже неприятное прошлое видится в каком-то успокоительном полусвете. Так, Варенька уже не виделась ему, как час назад, едва вышедшей замуж молоденькой и уже немного разочарованной дамой, сохранившей еще всю прелесть девических манер, – она не была уже его, когда-то любящей Варенькой: теперь ему виделась в ней просто молоденькая провинциальная барынька, жена Володи Имшина с

каким-то поклонником Ивановым. Тамарин вообще любил детей, как Талейран, только тогда, когда они плачут, и то оттого, что их в это время обыкновенно уносят; не был он охотник и до соперников, а совместников всегда находил решительно лишними. И поэтому тяжелое чувство пробудило в нем воспоминание о Вареньке. Это была досада и язвительный укор оскорбленного самолюбия, которому напоминали его прошлое унижение; от одной этой мысли желчь его зашевелилась, резче обозначилась отвесная морщина на лбу, и он слегка побледнел. Но воспоминания, как цепь, в которой одно звено продето и выводит за собой другое, сменились, и грациозный образ Марион ярко и отрадно блеснул перед ним, усталые глаза его оживились; ему представилась заманчивость неожиданной встречи, и, обрадованный проявившимся желанием, он отбросил в камин недокуренную папиросу, позвонил и спросил переодеться.

Мари Б***, которой мы оставим грациозное имя Марион, данное ей молодежью и напоминающее по созвучию целый ряд блистательных красавиц, в то время, когда ее застает наш рассказ, была одна. И над ее прелестной головкой прошли годы; но они в ней, как в Нинон, казалось, боялись разрушительно коснуться той прелести созданья, которую природа как будто творила с любовью артиста: Марион была хороша по-прежнему. Это не была строгая классическая красота, бросающаяся в глаза и возбуждающая удивление; при встрече она не поразила бы вас, но раз пристально взглянув, вам не хотелось бы отвести глаз от нее. Марион было лет двадцать шесть или семь; она была высока, стройна и как-то особенно легко сформирована. Темно-русые, почти черные волосы волнисто ложились на правильный овал лица. Черты этого лица и изгиб профиля были необыкновенно тонки и изящно отчетливы. Карие глаза, открытые и веселые, чудесно оживляли его. Но рот составлял ее лучшую прелесть. В скла-

де и разрезе его губ была какая-то особенная доброта, а в общем такая грациозная и свободная подвижность, что, глядя на него, можно было, кажется, видеть, как вылетало из него каждое слово.

Маленькая комната, в которой сидела Марион, была комфортно и хорошо меблирована, хотя неизбежно носила печать провинции, где почти никогда не бывает полной гармонии, и с мебелью, выписанной из столицы, с артистическими вещицами современной роскоши красуется произведение домашнего столяра Антипа или подарок из вновь приезжающего двадцать лет кряду французского магазина Пентюхина.

Марион, как я сказал, была одна. Она сидела на этом кресле-диванчике, которое, кажется, называется помпадур, углубясь в мягкую выемку спинки и положив ноги на его триповую обивку. Перед ней на столе горела в пол-огня лампа под розовым колпаком, возле стояла недопитая чашка чаю, и развернутый роман лежал вверх корешком; закуренная папироса была брошена на серебряной пепельнице. По туалету и позе Марион можно было

догадаться, что она откуда-то возвратилась утомленная и отдыхала. На ней было свободное и простенькое платье, легко перехваченное поясом, а сверху накинута какая то темная бархатная штучка в роде душегрейки; хорошенькая головка ее не была закинута, как у человека, мечтающего или наслаждающегося ленью, но легко наклонена, как у скучающего или усталого; плечи будто от холода немного сжаты; руки, сложенные одна в другую кистями, брошены, словно лишние, по стану.

В самом деле, Марион недавно воротилась с какого-то званого обеда. Но не обед этот утомил ее: она слишком свыклась и с бессонными ночами, и с танцами до упаду, и с невыносимыми раутами, чтобы уставать от них... Нет! Утомил ее внутренне однообразный и пустой ход жизни, устала она от этих немногих безмятежных годов, считаемых зимними веселостями, которые проносились над нею так легко, что не отметили своего следа ни одной морщинкой.

Если бы увидели Марион сегодня пышную и нарядную, как цветок ее букета, весело танцующую и блестящую на балу, если бы ее уви-

дели завтра, ловко носящуюся в черной амазонке на кровном резвом коне, если бы ее увидели на рауте, свободно и игриво отвечающую направо и налево кружку лучшей молодежи, которая теснится и жужжит около нее, как черные, вечерние жуки на закате у зеленой опушки леса, – как насмешливо и злобно посмотрела бы на нее целая фаланга старых дев, молча вянущих в углу, и этих женщин, являющихся в торжественных костюмах на большие балы и сидящих на нем вдоль стен, в виде дурной лепной работы, весьма счастливых, если их поднимет какой-нибудь знакомый из своих, – с какой завистью и ожесточением закричали бы они: «Есть отчего утомиться и скучать этой Марион! Мы бы отдали половину нашей жизни, чтобы так же проскучать остальную»...

Да! Было отчего скучать и утомиться Марион! Потому что в ее прекрасное тело Бог вложил теплую и живую душу, не удовлетворяющуюся обыденной жизнью. Час за часом, день за днем, год за годом шли перед ней ровно, легко и пусто, как строй кордебалетных фигуранток. Не собиралась гроза над ее голо-

вой, не пробивал ее холодный дождь до костей, не шла она с замирающим сердцем по скользкой доске над пропастью: день ее был ясен, дорога ровна, а мелкая пыль порошила да порошила, тонким слоем все ложилась да ложилась на нее.

Марион была институтка. Она вышла из института живая и хорошенькая, весело и прямо взглянула на жизнь молодыми глазами и нашла, что надо сделать из нее роман. Ей предложили в спутники жизни Ивана Кузьмича: она согласилась безропотно, потому что ей очень хотелось быть дамой раньше всех подруг.

Но Иван Кузьмич по справке оказался очень добрым человеком, доставлял ей все зависящие от него удовольствия и решительно не походил на варвара: прямодушная Марион созналась в истине. Между тем толпа поклонников и утешителей разных сортов и манер явилась вокруг ее. Немного испуганная, хоть и очень довольная, Марион вооружилась всем мужеством добродетели и решила обороняться до последней капли крови от этой страшной массы преследователей; но боль-

шая часть пламенных обожателей, увидев ее вооружение, весьма спокойно отошла без приступа, а тех, что были поназойливее и подошли ближе, она увидела в лицо и нашла, что игра не стоит свеч. Тогда Марион обратилась к мужу: она хотела окружить его спокойствием после утомительных работ, подругой-утешительницей явиться ему в черный день, любовью и женственной лаской облегчить ему трудный путь жизни. Но Иван Кузьмич, возвращаясь из совсем не утомительной должности, просил поскорее обедать и любил отдохнуть от забот часика два в кабинете, черным днем считал тот, в который проигрывал по маленькой в клубе, и находил, что путь жизни, с его кругленьким состоянием, вовсе не труден.

...Жизнь Марион была сложена из самых счастливых условий. Марион была молода и хороша, ум ее был остер и разнообразен, состояние порядочное, муж очень добрый человек. Хозяйством Марион заниматься было незачем, потому что она имела клад – домоуправительницу. Дети Марион Бог не благословил; музыку она любила только слу-

шать, но призвания к ней не чувствовала; читать... но не весь же день читать! Она и то читала иногда романы Сю, Дюма и Мери, но и те очень основательно ей надоели. Что ж было делать ей почти одной день-деньской с глазу на глаз со своим спокойствием, бесцельностью и досугом? И отдалась она обыденному ходу так называемой светской жизни, и видела она своим ясным умом каждую простую и выкрашенную нитку, из которой соткана была эта жизнь, на досуге тешилась иногда, насмешливо перебирая ее, – и все-таки жила ею. А дни шли за днями и выводили год за годом. И вот отчего сидела Марион утомленная и как будто уставшая, и книга ее лежала недочитанная, и чашка стояла недопитая, и папироса была брошена недокуренная. Марион была уже не семнадцатилетняя институтка и не предавалась, как говорится, золотым мечтам, потому что это значило только дразнить себя; но все же наедине с собою думается о чем-нибудь, даже и тогда, когда совершенно не о чем думать. И теперь перед полуусыпленным воображением Марион несвязно проходило много бесцветных знакомых ей лиц, много

неясных картин прошлого отражалось так смутно и неопределенно, как дурно освещенный предмет на дагерротипной дощечке. Но один эпизод этого прошлого, когда луч памяти нечаянно упал на него, светлее и живее предстал перед нею, как иногда среди длинной и однообразной дороги на повороте какой-нибудь ландшафт вдруг нечаянно выглянет из-за угла леса и живописно и прихотливо раскинется перед глазами и надолго прикует их к себе всей прелестью неожиданного. Этот эпизод была встреча Марион с Тамариным. Она была коротка и мимоходна. Посреди бесцветных и однообразных лиц, наполнявших Н*ское светское общество, надо немного рельефности, чтобы быть замеченным. Как два путника, которых свела и развела дорога, они прошли мимо друг друга, но прошли, не раз оглянувшись назад и, может быть, тайно жалея, что им выпал не общий путь. И когда Марион вспомнила о Тамарине, ей живо нарисовался какой-то бал, пестрый круг танцующих, она в розовом платье с букетом белых камелий, а возле нее Тамарин, что-то ей тихо и оригинально говорящий, а впе-

реди целая толпа безмолвно рисующихся нетанцующих мужчин, которая смотрит на нее, и ей так хорошо, и она, полная внутреннего самодовольствия, тихо обводит глазами весь пестрый круг; и вот в стороне одна пара представилась ей резко и ясно – и узнала она Вареньку, пристально смотрящую на нее задумчивыми темно голубыми глазами, а возле нее румяного и счастливого Володю, которого она не слушает... И тут бал исчез и целый ряд других мыслей бегло и тесно понесся перед нею...

В это время портьера у двери немного приподнялась и кто-то в черном едва слышно вошел по ковру.

Марион повернула голову, немного взгляделась и тихо вскрикнула:

– Тамарин!

Тамарин поцеловал добродушно протянутую ему ручку и сел в кресло, в изголовье кушетки.

– Согласитесь, что вы меня не ждали, – сказал он.

– Еще бы! Вы имеете талант исчезать и являться точно нарочно для эффекта. Знаете ли,

что я сию минуту думала об вас!

– А я вам это доказываю. Я приехал не больше двух часов назад и тотчас же к вам.

– И я уж успела заметить в вас перемену: вы воротились, кажется, любезнее, а мало постарели, – сказала Марион, оглядывая Тамарина. – Откуда вы?

– Когда лет пять не посидишь на месте, так немного трудно отвечать на это. Жил в деревне, теперь из-за границы.

– Везде занимались своей особой?

– А воротился к вам...

– Не обморочите! Вы забыли, что мне двадцать... ну да сколько бы ни было, а уж не семнадцать лет.

– Тем лучше! Для вас не нужно становиться на ходули.

– И для Вареньки теперь тоже: она немногим моложе меня. Что ж вы не спрашиваете о ней или уж наведались?

– Я у ней не был, да и не скоро буду: ведь не давал я обет хранить к ней вечное постоянство; она меня мало занимает теперь.

– Не потому ли, может быть, что и она вами столько же занимается?

Тамарин немного сморщился.

– Нет, – отвечал он, – оттого что я не люблю повторять зады и найду кого-нибудь поинтереснее ее.

– Можно узнать кого?

– Вас, например.

Марион вместо ответа выдвинула вперед нижнюю губку и насмешливо усмехнулась.

– Вы, кажется, слишком самоуверенны. Смотрите, чтоб я в самом деле не влюбился в вас, – сказал Тамарин.

– Чем это, например?

– Уж конечно, не ухаживанием.

– Слава Богу! Я было уже приготовилась зевать.

– Есть другие средства нравиться. Если бы, например, я имел выгоду быть дурен, как Отелло, я бы рассказывал сказки: женщины ужасно любят делать героев. Если бы я имел несчастье быть хорошеньким мальчиком, я бы танцевал с вами польку аборнее, ездил верхом, а в промежутках живописно рисовался. Еще проще, стараться чаще встречаться, уметь занять и развлечь, быть разнообразным и угодливым, не выказывая претензии, –

словом, приучить к себе, заставить привыкнуть. Эта дорога очень избитая, но удобная; это значит добиться любви.

Марион рассмеялась.

– Надо отдать вам справедливость – вы хорошо знаете предмет, – сказала она.

– Еще бы: это была моя специальность, – отвечал Тамарин. – А вы как кокетничали?

– Тамарин! Разве делают подобные вопросы женщинам.

– Вам его можно сделать, потому что вы действительно никого не любили.

– Почему вы знаете? А если и нет, так, вероятно, оттого, что никто этого не стоил.

– Ничуть не бывало! Это было бы уже чересчур нелестно для ваших поклонников. Да и женщины, расположенные любить, вовсе не так требовательны: им достаточно одной нравящейся черты, чтобы за ней не видеть остальных. Я знал премиленькую вдову, которая была влюблена в одного юношу и вышла за него замуж оттого только, что у него была вздернута верхняя губа и это придавало ему надменный вид, а малый был препустой. А вы просто не любили, оттого что составили

себе какой-нибудь идеал несуществующего героя и в ожидании его скучаете.

– Знаете, Тамарин, вы стали очень раздражительны, – заметила Марион.

– Охота же вам нарочно сердить меня, когда я приезжаю к вам с самыми дружескими намерениями...

– Вскружить мне голову? Смотрите, не наскучьте.

– Я нетребователен.

– Будто?

– Доказательство, что уезжаю сейчас, а вы меня отметьте своим поклонником, да, пожалуйста, опасным.

– Куда же вы? – спросила Марион.

– В клуб, – сказал Тамарин, – я еще никем не занят, так боюсь долго оставаться с вами.

Он пожал ей руку довольно холодно и ушел.

Когда Марион осталась одна, ей уже было как-то не так скучно. Приход Тамарина развлек ее: хоть немного, а его прихотливая капризная натура интересовала ее. И притом ей был любопытен вопрос: станет ли Тамарин в число ее поклонников или выберет другую, и

кто будет эта другая? И занятая этими мыслями Марион незаметно провела вечер. И теперь, если читатель в нынешней Марион не узнает Марион прежнюю, пусть вспомнит он, что годы светской жизни прошли по ее чистым грезам и не оживилась ни одна из них; пусть вспомнит он, что скука наложила на нее свою тяжкую руку. Пусть вспомнит он это, и тогда судит мою Марион...

III

В то же время, в другом углу города, другая женщина также одна собиралась коротать длинный осенний вечер, и много в городе N, пожалуй, набралось бы подобных женщин, но не до всех них нам дело.

В одной из внутренних комнат довольно большого деревянного дома, в той комнате, которая составляет переход от полуобитаемых залы и гостиной к спальне и детским и девичьим, на диване, за рабочим столиком, сидела молоденькая женщина. Она была среднего роста, и простенькое платье обхватывало довольно полный, но гибкий и мягко округленный стан. Ей было лет двадцать

пять; русые волосы, гладко и не низко спущенные, обрамляли ее круглое, свежее лицо. Лицо это было лишено резких линий и только оттенялось темно-голубыми с поволокой под длинными ресницами глазами да ясно и отчетливо обрисованными бровями. Подобного рода лица обыкновенно называются хорошенькими, но простыми; действительно, в смысле ограниченном это было простое лицо: на нем не было печати ни сильной мысли, ни своевольной страсти. Но его мягкие и приятные очертания были согреты какой-то душевной теплотой, и оно как нельзя лучше именно своей невыразительностью выражало эту высокую простоту бесхитростного ясного ума и чистого сердца, которые без глубокого понимания, без мелочного анализа тотчас видят всякую вещь в ее естественном свете, отзовутся на всякое слово прямым отзывом. Вообще по наружности сейчас было видно, что наше новое действующее лицо был тип молоденькой барыни, выращенной и живущей в провинции, большей частью в деревне, среди безграничных гладких полей, под наметом какого-нибудь старинного запущенного сада,

в большом деревянном с пристройками доме, на сдобном печенье, густых сливках, под надзором матери-природы. И теперь всмотритесь в нее хорошенько: узнаете вы нашу старую знакомую, нашу миленькую Вареньку!

Да, это была Варенька! Теперь, по всем бы приличиям, следовало ее называть Варварой Александровной; но я прошу вашего позволения, читатель, оставить ей ее первое имя: оно к ней как-то больше идет, и – признаться ли в слабости? – я люблю его: его первое начертило мое еще только очиненное тогда перо и свыклось с ним; оно приятно, чем-то родным звучит моему слуху... Итак, с вашего позволения, я буду называть ее Варенькой; а она не рассердится: мы с ней старые знакомые...

Если бы мы вошли в ее комнату часа полтора назад, мы бы нашли молодую хозяйку за самоваром. Владимир Иваныч, по-прежнему довольный судьбой и собой, довольно пополневший, но мало изменившийся и с еще очень недурной наружностью (впрочем, смотря по вкусу), – Владимир Иваныч представился бы нам в халате на беличьем меху, с трубкой в зубах, в низких креслах, только что

вставший от послеобеденного сна и сидящий за тем же столом перед большим стаканом чаю. Сбоку мы бы увидели двоих детей, под надзором няньки, сидящих, с беленькими нагрудниками, на высоких стульях.

Немного погодя картина переменялась. Стол, со всеми многочисленными принадлежностями чая, убирался к стене. Владимир Иванович, удаляясь на некоторое время в кабинет, возвращался оттуда облаченный в широкое пальто, нежно спрашивал жену: «Ты, Варечка, что будешь делать?» – и, не дожидаясь ответа, целовал ее на счастье и отправлялся в клуб. Затем приводили детей: Варенька крестила их, укладывала спать и возвращалась в свою любимую комнату. Тут, за рабочим столом, перед двумя свечами, застает ее наш рассказ.

Когда в долгий осенний или зимний вечер, за пальцами или с шитьем в руках, едва занятые механизмом работы, вы, молодые барыни, не закружившиеся в светских выездах, сидите одни, молча беседуя со своей думой, когда послушная иголка блестит и звонко вытягивает длинную нитку в вашей проворной ру-

ке или крючком быстро хватает от пальца к пальцу едва видные шелковые петли, скажите, пожалуйста, о чем думаете вы? Не все ж у вас на уме мелкий расход да домашнее хозяйство, не все же думаете вы о детских болезнях, о последнем вечере и будущем бале, о том, что говорила одна ваша знакомая, и что сделала другая. Ведь проходит, я думаю, иногда перед вами ваша простая жизнь, вся чудно составленная из неуловимых, непонятных нам движений сердца, непрерывных душевных волнений и каких-то маленьких, но недостижимых для нас мыслей...

Так скажите ж, пожалуйста, о чем думаете вы?

Но барыни имеют похвальную привычку не говорить никогда, о чем они думают, если только они не думают в ту минуту о совершеннейших пустяках; а у нас уже принято за аксиому, что женское сердце – неразрешимая загадка; поэтому я не берусь решить, о чем думала Варенька, сидя одна с шитьем в руках за рабочим столиком.

И долго она сидела так, и несколько раз переменяла она длинные нитки, вдевая их в ед-

ва видные ушки, и пока глаза ее были пристально устремлены на беглую руку, вооруженную иглой и серебряным наперстком, вольная дума ее где-то немало носилась и гуляла. Иногда Варенька задумывалась, останавливалась шить и рассеянно водила кончиком иглы по стеариновой свече, потом как будто прислушивалась и опять принималась шить, и опять среди мертвой тишины только слышались ширканья нитки о полотно. Но видно, в этот день судьба не судила моим барыням коротать одиноко длинный вечер. Было уже часов около десяти, когда стукнула дверь в прихожей Имшиных, кто-то вошел, и вскоре послышалась из залы мужская походка.

Варенька воткнула иголку в шитье и повернула голову к двери, кажется, угадывая наперед, кто должен войти. В самом деле, почти в это же время вошел какой-то статский господин, по складу, должно быть, еще молодой, но лет довольно неопределенных, потому что был он несколько старообразен. Покрой его платья ясно обличал хорошего столичного портного, но во всем туалете, несмотря на его

простоту, проглядывала какая-то небрежность: видно было, что о нем мало думали. Молодой человек был среднего роста, худощав, но крепко сложен и не то чтобы темно-рус, не то чтобы белокур; густые и короткие волосы, немного курчавые, закидывались назад и не скрывали сильно развитых выпуклостей головы. Черты его лица были неправильны и, положительно, некрасивы, но не отталкивающие и выразительны, манеры благородны, но без всякой утонченности, просты и естественны. Словом, это был человек, на первый взгляд не подкупающий наперед себе мнения, человек, про наружность которого обыкновенно говорят: он нехорош собой, но у него умное лицо.

Вошедший молодой человек был Иванов.

Увидев его, Варенька не переменяла положения, улыбнулась и протянула ему руку.

– Скажите, пожалуйста, что с вами? Где вы пропадали?

– Мне давно к вам хотелось, да нельзя было: дело попало серьезное, – сказал Иванов, пожав руку Вареньки и садясь против нее.

– Вы вечно с делами! Скажите, что, они вас

очень интересуют? Вы находите в них наслаждение?

Иванов рассмеялся.

– Ну, наслаждения-то, по правде сказать, мало, – заметил он, – однако есть и такие дела, в которых действительно принимаешь искреннее участие, потому что ими задет живой вопрос или они вопиют о справедливости; а бывают и другие: не все на свете высокая драма. Да вы, я замечаю, хотите сегодня говорить со мной как с деловым человеком?

– Нет, я хотела вам сказать, что соскучилась о вас: я так привыкла в деревне почти каждый день видеть вас.

– Не всегда же бывает работа; зато я теперь отделался и принадлежу весь себе.

– И намерены много выезжать?.. Пойдите! Пили вы чай?

– Нет еще. Да я в клубе напьюсь; к чему ваших людей беспокоить!

– Полноте! Они очень рады лишний раз чаю напиться...

Варенька позвонила и велела подать самовар.

– Да! Так вы будете теперь выезжать?

– Надо бы, да, признаться, лень; к тому же нет ничего скучнее первых знакомств, покуда не спознаешься с людьми, и я, право, не вижу, зачем ездить куда не хочется.

– Что же, все сидеть с делами, с книгами да с приятелями? Неужто у вас нет других потребностей?

– Как не быть! Оттого-то двух дней не пройдет, чтобы я у вас не побывал.

– Ну, я совсем другое.

– А больше мне ничего и не надобно. Когда у меня голова устанет, я иду к вам, и на душе становится как-то легче.

– Мне бы хотелось, чтобы вам кто-нибудь вскружил голову.

– Избави Боже! Да для чего же? Я не знаю хуже положения влюбленного.

– Ну, это только со стороны так кажется, а вам бы не мешало на себе испробовать. Если б я вас не знала лучше, я бы подумала, что вы сухой человек; а то вы мне странны. Вы развиты до того, что сочувствуете всему. Вы и женщине сочувствуете и глубоко и прекрасно понимаете ее; да вы смотрите на нее как-то издали, как знаток, как задушевный люби-

тель на картину, вы ее разбираете и любуетесь, а не чувствуете той простой вещи, что в ней, как в живом существе, надо принимать участие живое?

В это время подали самовар, Варенька встала, немного зарумяненная разговором, вся милая и природной миловидностью и беспритязательной простотой и естественностью, и занялась исключительно кипятком, который зажурчал в чайник и задымился над ним горячим паром.

Иванов сидел против нее. Он весело смотрел на эту добрую хозяйку и любовался ею. Даже одно время на его лице отразилось такое теплое и живое чувство, которое заставляло предполагать, что он может любоваться женщиной едва ли не по правилам Вареньки; но вскоре рука его, вероятно, почувяв приближение чая, произвольно отправилась в левый карман, вынула оттуда сигарочницу, и Иванов занялся ею.

Закурив сигару, он отвечал:

– Вы прекрасно судите о женщинах; да чтобы всех их оценивать по-вашему, право, жизни не хватит. Положим, сделаешь исключе-

ние для одной, а на других уж поневоле придется посматривать простым любителем.

– Да кто ж вам говорит обо всех! Выберите одну, и она будет представительницей других: на ней и выкажется ваш взгляд на женщину вообще. А дело в том, что вы ни для кого исключения не делаете. Для этого-то я и хочу, чтобы вам хоть одна вскружила голову... Вам сливок или лимону?..

– У нас и кроме сердца есть еще кое-что; а исключительная любовь иногда так его зацемячит, что про остальное-то и не подумаешь. Когда я был помоложе и кровь бойчее текла в жилах, и я еще не знал, какая внутренняя потребность непрерывно шевелится во мне и не дает покою, я искал столкновения с женщинами и влюблялся, и разочаровывался, и снова влюблялся, и от всего этого оставалась только какая то тяжелая накипь в сердце да усталость. Теперь, когда для меня цель и даль жизни стали пояснее, я знаю, какую часть в ней должно занимать сердце; от этого я и не бегаю от любви, да и за ней не бегаю; коли хочет, пусть сама придет, и если бы можно, так помирнее да поспокойнее.

Иванов стряхнул пепел с сигары и принялся за чай.

Варенька во время его речи смотрела на него с беспокойным участием. Она была достаточно охлаждена опытом, чтобы не увлекаться резко высказанным мнением или ловко надетой маской. Она видела, что перед ней сидит не актер, говорящий свою речь, а человек, просто объясняющий свой взгляд и убеждения; именно поэтому она и приняла в нем участие.

– Послушайте! – сказала Варенька. – Вы попадаете в другую крайность – в деятельность практическую, которая также не удовлетворяет вас.

– Что же делать! Ведь надобно же быть чем-нибудь! Не могу же я сидеть сложа руки, когда всякий встречный на улице имеет право спросить меня, что ты здесь делаешь, когда этот вопрос, наконец, беспрестанно стоит передо мной, когда я должен каждую минуту отвечать на него и себе и другим. А если моя деятельность не удовлетворяет меня, так это другой вопрос; да и когда ж, наконец, человек удовлетворяется? Зато есть и хорошие мину-

ты, которых бы, может, и не оцепил без того. Разве, например, не хорошая минута посидеть вечер с вами да поговорить о маленьких вещах, которых всегда так много на душе, провести вечер, как теперь, например, или как мы проводили у вас в деревне: чай на террасе, перед глазами старый сад, деревья неподрезанные, дорожки, по которым, как в лесу, заблудиться можно, вечер тихий, румяный, и в этой тишине откровенный, задушевный разговор, а еще лучше – помолчать вдвоем да послушать эту тишину, в которой изредка прогудит дальний стук телеги да ветер донесет какую-нибудь заунывную песню... Славно, славно... – тихо прибавил замечтавшийся и задумавшийся Иванов.

Варенька не прерывала его: она, кажется, сама немного замечталась; но это не была грустная мечтательность, – напротив, к ней будто прибавлялись какая-то веселость и приятная мысль. Варенька смотрела на Иванова немного рассеянно, а между тем сдержанная лукавая и довольная женственная улыбка обличала эту тайную мысль и так хорошо оживляла собой ее ясное и спокойно-милое лицо.

Иванов, однако ж, замечтался ненадолго. Он потер руку об руку, как это делает иногда нецеремонный человек, когда у него что-нибудь шибко зашевелится на душе, и прибавил в виде заключения:

– Какая досада, что у нас теперь зима! – И потом попросил себе чаю.

И затем пошла у них простая, мирная и задушевная беседа. Варенька не делала больше пытающих вопросов и, казалось, была довольна их выводом. Иванов как будто избегал этих грустно-тяжелых и всегда почти безвыходных мыслей, перед которыми часто останавливается смущенный ум. Эта беседа для ума холодного, для слушателя безучастного показалась бы, может быть, скучна и незначаща: не надо было слушать сердцем, понимать чутко настроенным чувством; она походила на говор, сопровождающий конец дня, когда солнце уже сядет, на западе еще не потухли розовые облака, а уже с другой стороны встал месяц и облил белым светом широкий круг на небе и широкую полосу по земле, и вся природа перед сном спешит договорить свои предсонные, вечерние звуки. Слышен в

этих звуках только какой-то неясный говор; ни один из них отрывчато не поразит вашего слуха, но все они составляют одну чудную гармонию, навевают на душу тишину несказанную, и какая-то отрадная и освежительная мысль стелется тогда по душе, как прохладный туман по полю...

И долго шла у них эта беседа. Часы уже пробили полночь, когда Иванов вспомнил, что почта, вероятно, уже получена, взял фуражку, пожал руку Вареньке и отправился в клуб читать газеты. Варенька не удерживала его, но по уходе его, взяв со стола свечу и проходя мимо часов, подумала, что хорошо бы придумать такие симпатические часы, которые бы очень громко били при одних гостях и молчали при других; потом она вошла в смежную комнату, но вдруг на самом пороге, как будто прикованная, остановилась. Бывают иногда такие неожиданные и так нечаянно поражающие мысли, что на мгновение, как молния, рассыпавшаяся перед глазами, ослепляют и парализируют все способности. Но это длится недолго: рассудок берет мысль в свое ведение и начинает судить ее. Варень-

ка вошла в спальню и, едва слышно вздохнув, притворила за собой дверь.

IV

Иванов отправился пешком от Имшиных. Белый снег лежал густым и мягким слоем по земле и крышам. Местами выказывалась из-под него замерзшая кочка или черная колея прорезывала его. Большая часть домов была уже темна, и ночь для них наступила со всеми правами; но на повороте за угол большой каменный двухэтажный дом весь светился огнями. У подъезда его стояло несколько экипажей; кучера, постукивая рукавицами, толкали друг друга для препровождения времени, иные дремали на пролетках, иные, как лазарони под портиками Венеции, спали на каменных ступенях крыльца. Иванов пробрался между ними, причем они на него, как на пешехода, посмотрели несколько презрительно, оставил шинель, шляпу и калоши в швейцарской и, узнав, что принесена почта, торопливо вбежал по широкой лестнице. Несколько комнат, которые пришлось проходить Иванову, были заставлены столами, и

правильные группы играющих сидели за ними между четырех свеч. В первой комнате была игра, так называемая детская, по маленькой, в следующей – серьезнее; но шуму и возгласов было в обеих одинаково достаточно. При входе Иванова некоторые из играющих ему поклонились, другие не заметили, третьи, не отворачивая головы от карт, только искоса посматривали на него. Из одного угла раздался голос: «Дмитрий Семеныч! Дмитрий Семеныч!» Иванов оглянулся и увидел одного малознакомого ему господина, свирепой наружности, с седыми всклокоченными волосами, который звал его. Иванов подошел.

– Полюбуйтесь-ка, полюбуйтесь, – сказал ему свирепый господин, трагическим голосом.

– Проиграли? – спросил Иванов, сколько мог жалобнее.

– Чего тут спрашивать! Разве вы не видите! – сердито сказал господин, показывая на запись с минусами. – Вот они! Все с дышлом! С разбегу девять роберов! Это только со мной случается! – пробормотал сердитый господин, отворачиваясь от Иванова, которого, кажется,

нашел мало ему сочувствующим, и отыскивая, кому бы еще рассказать о своем несчастье.

Тут же недалеко сидел Федор Федорыч и вынимал из портмоне деньги.

– И вы проиграли? – спросил Иванов, дотронувшись до его плеча.

– Немного! – отвечал Федор Федорыч, лениво протягивая ему руку.

– Да нешто ему, – заметил его партнер мягким голосом, аккуратно укладывая депозитки в кусок бумаги, заменявшей ему бумажник. – Ему бы воротнички побольше выпустить да вот и идти в ту комнату за детский стол. Ну, как вам теперь было не ходить с валета в мой инвит! Дама под сюркупом, коли ею промирят, и я импас сделаю.

– Не сделали бы, – заметил утвердительно Федор Федорыч.

– Как не сделал бы! Слышите! Когда у меня туз бубен бланк, приемный лист; пики гарде, фосски снесены и трефы франки: вся игра ас-сюрирована! Эх, Федор Федорыч! – заключил он, ласково погрозив ему, затем посмотрел карту ужина и спросил себе омлет а ла рюс с

финизертом и каракеты с амуретами под ламбертовым соусом.

А Федор Федорыч взял Иванова под руку и отправился с ним в библиотеку.

Пока Иванов просматривал новые журналы и газеты, человека три-четыре молодежи, его близких знакомых, присоединились к нему. Потом, чтобы не мешать другим, они вышли в соседнюю комнату, Федор Федорыч поспешил придвинуть покойное кресло и усестся у камина. Иванов и его приятели расположились около, некоторые спросили чаю, закурили сигары, и вскоре в этом углу образовалась живая и интересная группа. Численно она была невелика, но тем не менее замечательна. Ее составляли несколько молодых людей, получивших основательное образование. Наградила ли их мать-природа ясным взглядом на вещи, или просто обставила их развитие счастливыми условиями, только не разменяли они Богом данный талант на мелкую монету, не потратили его на покупку маленьких успехов, а старательно искали честной и полезной деятельности и предавались ей со всей горячностью и энер-

гией молодости. Очень естественно, что, движимые одной общей целью добра, они, сойдясь вместе, тотчас поняли и отличили друг друга и, как камни в калейдоскопе, сдвинулись в одну гармоническую группу. Ее-то оставляет наш рассказ в то время, когда она беспорядочно расположилась вокруг камина и в ней закипал разговор живой и разнообразный, и все, что близко касалось жизни, — все, что было еще тепло современным интересом, нашло отголосок в этом разговоре.

В другом углу комнаты была другая картина. За ярко освещенным столом, с бокалами и стаканами, сидели несколько человек, между которыми мы узнаем Тамирина и Островского: перед ними стоял значительный ряд бутылок, и громкий разговор шел шумно, пестрел остротами и анекдотами и перебивался иногда до того, что нельзя было разобрать, кто кому говорит.

Тамирин довольно поздно приехал от Марион в клуб поужинать. Его встретило несколько протяжных «а! вот и он!» тех из его прежних знакомых, которые знали уже о его приезде. Непредупрежденные все закричали:

«Ба, ба, ба! откудова!» – и вслед затем ему отверзлось несколько объятий и протянулось много рук, из которых некоторые, в знак искренней радости, так пожали его небольшую худощавую руку, что он не закричал от боли только потому, что посовестился. Островский, кончавший уже партию в карты, по праву старой дружбы взял Тамарина в свое исключительное распоряжение и повел в залу.

– Откуда это во фраке? – спросил он, прохаживаясь с ним.

– От нее! – отвечал Тамарин.

– Да кто ж тебя знает, кто нынче у тебя она! Марион, что ли?

– От тебя решительно ничто не укрывается.

– Ну и делишки идут хорошо?

– Я не в тебя. Да и что ж ты хочешь? Марион ведь не шестнадцати лет! А ты слышал, у кого посоветовал мне Федор Федорыч искать успеха?

– Что Федор Федорыч!.. Федор Федорыч нынче завирается, сдружился с какой-то молодежью, которая ни в дудочку, ни поплясать: совсем портиться начал.

– Кстати о молодежи: кто у вас здесь?

– О, есть славные ребята! Вот они все в столовой: видишь, вон этот, например, что руками размахивает, двадцать три года, а один усидит бутылку рому и как ни в чем не бывало! Замечательная личность! Пойдем ужинать: я тебя познакомлю с ними.

Но Тамарин отговорился теснотой и спросил себе ужинать в каминную. Островский тоже.

Мало-помалу господа, любившие Островского, начали присоединяться к ним, и вскоре образовался там кружок, в котором мы и Иванов нашли Тамарина.

Кружок этот составляли молодые, даже большей частью очень молодые люди, которые равно столько же были современны XIX столетию, сколько были бы и XVII, и, пожалуй, XXI: тип их мало изменяется веками.

Во время оно пальма первенства в таком кружке доставалась храбрейшему на дуэлях, ночных похождениях и всякого рода опасных стычках. Позднее между этой молодежью начал господствовать некто кутеж. Вино признано самым опасным соперником, и ка-

кая-нибудь замечательная личность, безнаказанно одолевающая бутылку рому, пользуется уважением. Про него рассказываются анекдоты, он смотрит с презрением на какого-нибудь господина, у которого язык пришепетывает от нескольких стаканов шампанского. И много свежих сил и энергии и хороших побуждений сорит эта молодежь вместе с деньгами только потому, что не приготовлена потратить их на что-либо лучшее!

Тамарин, попавшись в подобный кружок, был не очень доволен. Правда, что на него в нем смотрели с уважением, – перед ним смирились все замечательные личности, усидывающие более или менее бутылки, и если еще изрядно пили, то это только по привычке; но их уважение не слишком ему льстило. Все же он, также по-пустому тративший свои силы, носил сознание их; все же он был внутренне развит, хоть и ложно; все же он был выше их.

Тамарин довольно рассеянно слушал окружающих, довольно холодно отвечал на вопросы и спешил кончить ужин. Но когда вошла новая партия молодежи, в которой был Иванов, когда он вслушался в их разговоры,

то почувствовал свое положение еще более неловким. Есть что-то особенное в этой серьезной, честной и благонамеренной молодежи, которая, слава Богу, в настоящее время составляет некоторую массу, а не исключение. Тамарин, долго живя в деревне и за границей, в первый раз сошелся с нею. Он ее смутно, но инстинктивно понял. Она невольно обратила на себя его обыкновенно равнодушное внимание, и какое-то беспокойное чувство пробудилось в нем. Может быть, отличив в ней лучшую часть молодежи, ему было досадно показаться ей в не совсем избранном кружке, к которому никогда не принадлежал и в который попал случайно, а может быть, представитель своего времени, он отгадал в ней ядро нового поколения, — поколения, которое идет совсем иной дорогой и со временем с обидным сожалением отзовется о них, в свое время так желчно и беспощадно смеявшихся над другими. Как бы то ни было, но встреча с Ивановым и его приятелями, особенно в настоящую минуту, произвела на Тамарина неприятное впечатление; оно усилилось еще более от столкновения противоположностей, для

него невыгодных. Между тем как с одной стороны до него долетали живые и бойкие речи, дельные и оригинальные замечания, вокруг себя он слышал старые анекдоты и плоские или избитые остроты. Тамарин пытался было уйти, но десятки рук его удерживали и все хором убеждали остаться. Наконец прозвонил первый звонок, и монотонный голос прокричал: «Второго половина!»

– Господа! – сказал тогда Тамарин, вставая. – Нет общества, которого не покидают...

И вся компания поднялась с шумом. Тамарин готов уже был выйти из комнаты, как в самых дверях его встретили две растопыренные руки, остановили и крепко обняли. Это был Володя Имшин.

– Сергей Петрович! Какими судьбами! Как рад вас видеть! – говорил раздобревший Володя уже не нерешительным тоном слабого соперника, а с самоуверенностью человека, сознавшего собственное достоинство. – А я заигрался в той комнате и не знал, что вы здесь... Очень, очень рад.

Тамарин, увидев его самодовольную наружность, невольно улыбнулся, пожав ему

руку, ответил что-то и искал случая расстаться. В это время проходил Иванов. Имшин и его поймал.

– А, Дмитрий Семеныч, и вы здесь! Сергей Петрович! Вы незнакомы? Мг. Иванов – мг. Тамарин.

Тамарин готов был сказать дерзость Имшину за это непрошеное знакомство. Он слегка прикусил губу, как делал это во время сильной досады, и сухо поклонился Иванову. Иванов, в свою очередь, ответил ему довольно холодно, и они поспешили разойтись.

V

Какому-то затейливому человеку раз пришло в голову, что если люди приезжают в гости для того, чтобы танцевать или играть в карты до бела утра и, разъезжаясь, говорят иногда, что им было очень весело, то недурно бы было созвать этих людей просто затем, чтобы им доставить удовольствие видеться с хозяевами или своими знакомыми, дать случай говорить не урывками во время кадрили, а сколько кому и с кем пожелается, делать не то, что заставляют, а что кому вздумается. За-

тейливый человек полагал, что всем будет страшно весело, и сделал раут. Не знаю, что думали, разъезжаясь, его гости, но мое личное мнение, что рауты не самая веселая вещь на свете.

В некоторых солидных домах столицы они еще имеют свое значение: на них собираются знаменитости всех родов – знаменитости служебные, знаменитости артистические; гостиная принимает тогда вид живого собрания редкостей, делается чем-то вроде музеума, и чем она полнее, тем слава ее громче, тем хозяин довольнее. Посмотрим теперь раут провинциальный. В городе N жила почтенная дама, которой фамилии я придумывать не стану, потому что она мало интересуется и вас, и меня. Почтенная дама была уже в годах, как и следует почтенной даме, имела состояние, осталась вдовой человека, пользовавшегося в свое время весом в губернии, и, к несчастью, не играла в карты, иначе она бы делала очень милые карточные вечера, на которых всякому выигравшему было бы довольно весело. Почтенная дама была немного сплетница и мало кем любима, у почтенной дамы была

вечно скука непроходимая; но все находили, что она почтенная дама, и ездить к ней считали необходимостью. Вследствие этого она назначила день, и у ней образовались хронические рауты.

В иные дни у почтенной дамы собиралось очень мало, разве только самые праздношатающиеся и самые искательные; первые ездили оттого, что некуда было деваться, а вторые хоть и были вполне убеждены, что они тут равно ничего не сыщут, но ездили на всякий случай, думая про себя: «Не ровен час, может, и понадобится». Но иногда совесть или сама почтенная дама упрекала и других жителей города N, и тогда они, чтобы не скучать поодиночке, стоваривались между собой и гурьбой являлись в назначенный день. В один из этих дней и мы отправимся к почтенной даме.

Был час одиннадцатый вечера, и, несмотря на манию многих съезжаться поздно, гостиная почтенной дамы начала уже наполняться, потому, может быть, что все знали привычку хозяйки пораньше ложиться спать. Через час съехалось почти все, что имело наме-

рение съехаться, и небольшая комната наполнилась, как чаша под рукой тороватого кравчего.

Влево от двери, у середины внутренней стены, стоял, как водится, классический диван и перед ним, в виде баррикады, овальный стол; в обе стороны от него широким полукругом стояли кресла. В начале вечера дамы были сами по себе, мужчины сами по себе. Дамы занимали диван и кресла около него, причем как-то очень искусно между ними устроилось некоторого рода местничество, и более других почтенные дамы сидели на диване с самой почтенной дамой. Мужчины стояли в противоположной стороне, близ окон. Иногда какой-нибудь не очень развязный господин, подходящий к хозяйке дома, чтобы засвидетельствовать ей свое нижайшее почтение, отдав поклон и осведомившись о ее здоровье, весьма затруднялся отступательным движением и ретировался с замешательством Наполеона в 1812 году. Зато иные бойкие юноши, понимая, впрочем, всю тяжесть обязанности дамского кавалера, смело входили в заповедное полукружие и обращались к

которой-нибудь из дам с вопросом, решительно не стоящим того, чтобы для него сдвинуться с места. Но, поставленные в необходимость, весьма выгодно рисуясь белым жилетом перед одной избранной, показывать спинку своего фрака противоположной стороне, они тоже недолго выдерживали невыгодное положение, но при отступлении выказывали большее знание светской тактики.

Вообще разговор не клеился. Дамы, сидящие на диване, говорили довольно громко; дамы, сидящие в креслах, говорили вполголоса с одной из своих соседок, причем, чтобы показать свободу манер, поправляли ей воротничок или играли кончиком длинной ленты ее пояса. Мужчины, стоящие у противоположной стены, тоже довольно затруднялись своим положением и говорили друг с другом, поворачиваясь только головою. Некоторые, приняв озабоченный вид или даже, для большей натуральности, потеряв рукою по лбу, поспешно подходили к своему приятелю и, взяв его под руку, уводили в залу, как будто для серьезного разговора.

– Что тебе нужно? – спрашивал приятель.

– Да что, братец! Скука ужасная, не знаешь, что делать, – отвечал тот.

И как приятель его совершенно с ним соглашался, то оба они, сохраняя все-таки озабоченный вид, продолжали ходить по зале, молча или говоря о пустяках, но при этом, когда видели, что могли быть замечены хозяйкой, делали руками весьма одушевленные жесты.

Наконец, когда общая скука и связанность достигли полного развития, хозяйка дома, как будто дожидавшаяся нарочно этой минуты, решила разнообразить вечер и, обратившись к одной весьма зрелой девице, сказала ей мягким голосом:

– Не споете ли вы нам, *ma chere*, что-нибудь? – Потом адресовалась к ее матери, сидевшей на диване, и прибавила: – Какой у вашей *Sophie* приятный голос! Я ее всегда слушаю с наслаждением.

В ответ на это мать как-то понагнулась и скромно поправилась на диване, а дочь, зная, что дело без ее пения не обойдется, и давно только ожидавшая приглашения, сделала кисло-сладкую улыбку и отправилась к фортепьяно. У зрелой девицы был очень ма-

ленький голос и большие глаза; поэтому фиоритуры и высокие ноты она преимущественно выделявала последними. Хотя ни тот, ни другие давно уже не производили эффекта, хотя и голос и фортепьяно много потерпели от времени, но нравственное влияние пения было огромно. Все затруднявшиеся доселе своей особой и не знавшие, что из нее сделать, нашли себе занятие. Некоторые из мужчин спешили принять позы, другие садились, соблюдая строжайшую тишину; глаза всего общества обратились на певицу с выражением такого внимания и участия, как будто покойница Малибран пела перед избранными меломанами, и все слушали, казалось, с таким наслаждением, с каким первый любовник театра выслушивает признание своей возлюбленной. Ария кончилась, и все поспешно бросились благодарить зрелую деву, вероятно, боясь, чтобы она не запела еще что-нибудь. Действительно, чара была уже совершенна, и дальнейшее пение было решительно не нужно. Большая часть дам, пользуясь предлогом, встали со своих мест, оправив при этом, как водится, платье; некоторые, ссыла-

ясь на духоту, взявшись под руки по две и по три, пошли ходить по зале, другие вышли в соседнюю, маленькую гостиную. Мужчины разделились между ними, и с этой минуты каждый имел право привольнее скучать с кем-нибудь, что все-таки веселее, чем скучать в одиночестве; а один скромный юноша даже нашел в это время, что вечер очень одушевился.

И вот так называемый провинциальный раут. Если я говорю «раут», то это потому, что жителям города N очень нравилось давать это название скучным вечерам: оно как будто возвышало в собственных глазах их значение. Вследствие этого некоторые простосердечные люди понимали это слово совсем в другом значении, так что одни приезжий из уезда господин, возвратясь с бала, на вопрос жены: «Весело ли было?» – отвечал, зевая: «Нет, матушка, ужасный был раут!»

Но если я привел вас, читатель, на вечер почтенной дамы, то, конечно, не с тем, чтоб показать вам его скуку.

Между настоящим вечером и предыдущими сценами прошло несколько недель. В этом

промежутке времени с нашими героями не произошло ничего примечательного. Иванов по-прежнему бывал у Вареньки; по-прежнему тихи, добродушны, теплы были их задушевные беседы. Тамарин часто начал посещать Марион; его общество много развлекало ее и ей нравилось.

Но он не ухаживал за ней, потому что их отношения были слишком открыты, слишком холодны. Скорее это было немое условие разнообразить взаимную скуку, придать себе в собственных глазах какое-нибудь значение, хлопотать ни о чем для того только, чтобы считать себя чем-нибудь занятым.

Между тем добрые жители города N, не прибегая к изобретению особых, подтверждающих фактов, по какому-то единодушному сочувствию связывали в своих понятиях и разговорах эти две пары каждую между собою. Где была речь о Вареньке, там делали намек на Иванова; если говорили, что там-то будет Марион, то добавляли, что, вероятно, придет и Тамарин. Итак, несмотря на наше молчание, взятая нами повесть развивалась сама собою. Так незаметно ходят по небу разроз-

ненные облака, пока, сойдясь, не сольются в одну тучу, не загремят громом и не блеснут перед глазами яркой молнией. Варенька в известный нам вечер была у почтенной дамы. Был тут и Иванов, которому почтенная дама давно уже и неоднократно выговаривала, что он не хочет навестить ее; но мы позволяем себе думать, заодно с жителями города N, что не одни эти выговоры заставили его приехать в этот раз.

Довольно поздно приехала Марион, как всегда прелестная и как всегда очень мило одетая. Вскоре после нее явился и Тамарин, что дало случай одной даме сказать другой что-то на ухо.

Вечер шел своим чередом, и много, может быть, маленьких сцен, маленьких драм, решительно невидимых равнодушному зрителю, разыгралось на нем, но мы исключительно займемся нашими действующими лицами.

В начале вечера, когда еще общая скука и какая-то неподвижность, казалось, осязательно тяготели над обществом, Марион сидела в углу близ дивана, а Варенька наискось от нее.

Тамарин и Иванов имели ловкость пристроиться позади своих дам и не разделять неудобного положения большей части присутствующих мужчин. Теперь, когда эти две пары были помещены одна против другой, резче бросалась в глаза разница между ними. Как я ни люблю мою первую героиню, но должен сознаться, что она в некоторых отношениях теряла от сравнения с Марион. Не говоря уже, что Варенька уступала ей наружностью, не было в ней этой изящной грациозности манер Марион, не было прихотливого, но всегда чудесного вкуса ее в туалете. Зато в Вареньке была какая-то милая простота обращения, что-то доброе и влекущее к ней, что-то симпатизирующее всему хорошему, как будто ее прекрасная душа была наруже и украшала ее невидимой прелестью.

Между их кавалерами была своего рода яркая противоположность.

Тамарин во всякой гостиной был как у себя. Он был бы замечен не только в скромном собрании у почтенной дамы, но и в лучшем салоне столицы. Его холодный, несколько резкий и самоуверенный тон, его выдержан-

ность в свете, который он знал не понаслышке, а видел насквозь, со всеми закулисными машинами и красиво намалеванными декорациями, – все в нем, начиная со всегда безукоризненного и отнюдь не рабски модного туалета до спокойно бледного и послушного лица, клало на него какую-то отличительную печать, с первого же взгляда отделяющую его от массы. Он не играл ныне уже довольно избитую роль льва, но львы первой руки не затемнили бы его.

Не таков был Иванов. Он был в свете ни робок, ни неловок, ни излишне развязен. Как человек, получивший прекрасное образование, выросший и державшийся постоянно в порядочном кругу, и даже более этого – человек от природы порядочный, он всюду был на своем месте; но чтобы заметить и отличить его, надо было его узнать. Видно было, что свет и успех в нем не был, как для многих, целью его жизни; он не пренебрегал им, потому что понимал его истинное значение, но по этой же самой причине и не предавался ему исключительно. В нем для большинства он был дюжинным человеком, но для людей, его

знающих, стоял головой выше всех блестящих молодых людей, делающих себе карьеру польками.

Не знаю, о чем говорил Иванов с Варенькой, – говорил, казалось, весело и добродушно; но дама его была как будто рассеянна. Иногда она обводила глазами присутствующих, на мгновение останавливала их на Тамарине и Марион и вслед затем обращалась к Иванову и старалась показать, что она слушает его внимательно; но в словах ее было видно какое-то легкое смущение. Бывает известное состояние духа, когда Бог весть отчего сжимается сердце, будто чуя что-то недоброе. Бывает еще и другое состояние, когда присутствие какого-нибудь совершенно постороннего лица ставит нас в какое-то беспокойство: люди ученые приписывают это магнетическому влиянию, а старухи-няньки говорят просто, что это с глазу, – ученым людям верят, а над старыми няньками смеются, хотя, по моему, эти мнения вовсе не далеко расходятся, и едва ли последнее не имеет перед первым преимущества давности. Как бы то ни было, но в подобном положении духа была

Варенька. Иванов, кажется, не замечал этого и продолжал говорить, обращаясь то к ней, то к ее соседке, а между тем взгляд Вареньки довольно часто и как будто нечаянно направлялся в противоположный угол.

Там сидели, как я уже сказал, Марион и Тамарин.

Их разговор тоже остался нам неизвестен, но по некоторым данным можно было составить себе о нем определенное понятие. Тамарин в этот вечер в первый раз встречался с Варенькой после долгого отсутствия. Правда, что, делая визиты, он был и у Имшиных, но видел только одного Володю. И, как нарочно, в это первое свидание Иванов, которого городские слухи давали в поклонники Вареньки, был почти неотлучно с нею. Это обстоятельство в глазах Тамарина, не имевшего случая проверить справедливость слухов, не могло пройти незаметным и, как человеку самолюбивому, не могло быть не досадно.

Оно, кажется, не укрылось и от женской проницательности Марион, и вот отчего их неслышный разговор был отчасти понятен.

Многие находят удовольствие подсмеяться

над скрытным или самолюбивым человеком, когда в нем заметят слабую струну.

Марион рада была средству оживить и разнообразить свои отношения к Тамарину, на основании хорошо известной поговорки, что маленькие ссоры поддерживают дружбу. Боюсь утверждать, но, может быть, женская гордость, никогда не прощающая чужих, хотя и прошедших успехов, играла тут свою роль. Так или иначе, но по живым, веселым черным глазам Марион, быстро переносящимся от Вареньки и Иванова к Тамарину, можно было догадаться о предмете разговора, а по насмешливой улыбке, которая на ее особенно выразительных устах имела какую то острую колкость, видно было, что она не щадила его. Тамарин составлял резкую противоположность с оживленной фигурой соседки. Он был немного бледнее обыкновенного. Выражение его лица, всегда холодное и равнодушное, на этот раз было еще холоднее, еще равнодушнее, что дает повод думать, что оно таило совсем другое расположение духа. Взгляд Тамарина, следуя иногда за взглядом Марион, останавливался на Вареньке и Иванове с ка-

ким-то презрительным невниманием; в его коротких и резких ответах, сопровождаемых едкой усмешкой, виднелась скрываемая желчная раздражительность, и можно было держать пари, что Тамарин недурно защищался. Так шло время до тех пор, пока зрелая дева не спела своей арии. По окончании ее Марион встала и – не знаю, с умыслом или без умысла – взяла Вареньку под руку и пошла с ней в смежную комнату. Там они сели на маленький двойной диванчик. Возле него было одно только кресло. Иванов, вошедший вслед за дамами, увидел какой-то кипсек на столе и занялся им. Место осталось свободное. Вскоре Тамарин занял его.

Тамарин пошел было в залу, нашел, что там так же скучно, как и везде, и хотел, кажется, ехать, но, увидев Марион рядом с Варенькой, вдруг воротился. Он подошел к дамам своей ленивой, немного небрежной походкой; лицо его приняло веселое выражение, и две морщинки около рта обозначили улыбку. Варенька давно знала эту улыбку и в эту минуту чувствовала себя как-то неловко: она так давно отвыкла от всех тревожных

встреч, она так полюбила свое настоящее спокойствие.

Предчувствие не обмануло Вареньку. Тамарин сел возле нее и обратился к ней:

– Вы знаете, что я был у вас, m-me Имшина; но вы не хотели доставить мне удовольствие видеть вас, – сказал он.

– Я сама очень жалела, что не могла к вам выйти, – отвечала Варенька, – в это время я была занята.

– Можно узнать кем? – спросил Тамарин, пристально глядя ей в лицо и продолжая улыбаться.

– Боже мой, детьми, может быть, хозяйством, – отвечала Варенька, немного покраснев. – Я теперь уже не помню.

– И прекрасно делаете! Знаете, иногда очень хорошо уметь забывать.

– Надеюсь, не в этом случае: это не стоило того, чтобы забывать или помнить.

– Вы меня совершенно поняли, – продолжал Тамарин, – я именно и говорил не про этот случай. Удивительно, как мы понимаем друг друга.

– Напротив, вы говорите так загадочно, что

я решительно не понимаю вас, – сказала Варенька, стараясь казаться как можно равнодушнее.

– Не понимаете?! – возразил Тамарин с удивлением. – А я, безумец, все мечтал, что мы так хорошо понимаем друг друга. Знаете ли, что вы этим словом разрушили мои лучшие иллюзии. Я так верил в симпатию с вами, так твердо был убежден в сродстве наших душ! Это было мое единственное утешение во время разлуки. Приезжаю, спешу вас видеть – и вдруг...

Тут Варенька встала, пожала руку Марион и, сказав, что ей пора ехать, вышла из комнаты. Она, казалось, приняла весь разговор Тамарина за пустую болтовню праздничношатающегося старого знакомого и осталась совершенно равнодушной к ней. Но, по неровному и частому дыханию, по какому-то особенному оттенку глаз, можно было заметить ее внутреннюю тревогу.

Марион посмотрела ей вслед, обернулась к Тамарину и покачала головою. Тамарин усмехнулся.

– Как вы злы! – сказала Марион.

– Да ведь вам этого и хотелось, – отвечал Тамарин равнодушно.

Марион оставила его и пошла к дамам. Тамарин лениво встал, пробрался лениво между гостями и уехал домой.

Вскоре после их ухода Иванов закрыл кипсек и вышел. Не знаю, остался ли он доволен рисунками, но он был немного бледнее обыкновенного.

Маленькая комната, свидетельница маленькой сцены, осталась пустой.

VI

Быть может, мой читатель или моя читательница посетуют на меня, что я им описываю мелкие сцены мелкой жизни; быть может, найдут, что эти обыденные вещи слишком незначительны для того, чтобы на них останавливать внимание, и что я им показываю бурю в стакане воды. Да позволено будет мне оговориться.

Любо мне было бы, дав волю фантазии, широкой кистью рисовать яркие картины. Привольно было бы моему перу чертить во весь рост правильные, резкие и высокие фи-

гуры людей, созданных воображением, и в просторной раме развернуть их пылкие и глубокие страсти. Но что бы я ответил тогда себе, если б, строго взвешивая и ценя свой свершенный в тишине рабочего кабинета труд, при взгляде на полную картину, в которой ищешь мелких неверностей, чтобы поправить их последнею чертой, – если бы в это время предо мной возник вопрос: чьи это образы? где живут эти люди? какому веку, какой стране, какому слою общества принадлежат они? где они взяли свои живописные костюмы? где они выучили эффектные роли? у кого переняли они эти античные позы? И тогда, читатель, поглядев на Божий свет, в котором, может быть, мы не раз встречались, я бы даже при уверенности, что моя картина займет тебя, поставил бы ее перед собой, с авторским самолюбием каждый день любовался ею, но посовестился бы показать ее и, смилив полет фантазии, принялся бы чертить небольших людей в небольших драмах, которые имеют неудобство походить на тебя, на меня или на наших знакомых.

С другой стороны, есть отрадное убежде-

ние и утешительная мысль при выборе верной и мелкой драмы, назначенной суду публики. Довольство ею вне условий исполнения есть признак нашего внутреннего развития. Бой быков и смерть гладиаторов не нужны для потрясения людей, умеющих плакать над вымыслом слепого старца. Сильно настроенная струна звучит от легкого прикосновения, восприимчивой бумаге достаточно одной секунды света, чтобы резко запечатлеть всю отраженную на ней картину. И в нашем обществе часто от одного резкого слова, одного холодного взгляда невидимо, но долго болит чуткое сердце, и весело и с улыбкой смотрит иногда светский человек на разрушенное счастье всей своей жизни.

Вот отчего я описываю мелкие сцены. И затем к делу.

В городе N, как во всех почти губернских городах, лучшие даже улицы не застроены сплошь большими домами и промышленность не толпится на них занять всякий свободный угол. На одной из этих улиц небольшой пятиоконный деревянный дом, довольно благообразной наружности, был занят Ивано-

вым. Комнат в этом доме было немного, и большая и лучшая из них, которая, кажется, в намерениях строителя должна была играть роль залы, т. е. самой бесполезной и всегда почти незанятой в семейной жизни, была обращена Ивановым в кабинет. Меблировка его не отличалась провинциальными претензиями на столичную роскошь. Широкие, покойные диваны и шкаф с книгами занимали три стены; огромный стол, покрытый зеленым сукном, стоял почти во всю длину четвертой. Стол этот был весь завален книгами, бумагами, делами, и только посредине его оставалось небольшое свободное пространство, на котором был письменный прибор, портфели и место для письма. По углам, у диванов, были два небольшие столика; несколько покойных кресел по комнате и одно у стола дополняли меблировку.

Был еще час десятый утра, а уж Иванов сидел в своем кабинете и что-то писал. Вскоре пришла какая-то баба-просительница и долго рассказывала свою претензию, в которой почти нельзя было доискаться смысла, и несколько раз принималась кланяться и пла-

кать, подперев предварительно рукою щеку; потом ушла она. Пришел мужик и тоже толковал долго, и когда Иванов, выслушав, отпустил его и принялся было писать, мужик отошел немного, вытащил из-под зипуна платок, развязал узлом завязанный угол, вынул целковый и, подкравшись, осторожно подал его Иванову.

– Ступай, ступай, – сказал Иванов, невольно улыбнувшись.

Мужик отошел, вытащил опять платок, опять развязал узелок, вынул еще целковый и снова поднес уже оба потихоньку Иванову.

– Ступай: ведь я тебе сказал, что просьба твоя будет исполнена; чего ж тебе еще! – сказал опять Иванов.

Мужик отошел и задумался.

– Что ж, батюшка! Ведь это не то, чтобы твою: ведь это из уважения к милости вашей; за что же отказом обижать?

Но заметив, что Иванов начинал сердиться, он вышел, думая про него, что вот и хороший человек, а гордый: благодарности не принимает.

А между тем Иванов снова принялся пи-

сать и писал долго и скоро, весь погруженный в свое занятие, пока наконец не окончил бумаги; и тогда, бросив перо, он опустился к спинке кресла, вздохнул, как после тяжелого труда, закурил сигару и задумался. Его умное и выразительное лицо, так недавно еще озабоченное работой, теперь все было отдано мысли и отражало сильную внутреннюю тревогу... Да, Иванов переживал одну из тяжелых минут жизни.

Бывает известная, болезненная настроенность и раздражительность сильной души, когда вдруг помрачено одно из ее светлых верований, или хотя слабо поколеблено какое-нибудь пылкое убеждение. Тогда сомнение, как зимний воздух в неотворенную дверь, нахлынет на нее, и нет уже более для нее в эту минуту ни верований, ни убеждений. Все лучшее души и все ее заветные помыслы одеты этим тонким паром сомнения, а все жесткое и черное жизни так и встает перед очами, так и звучит в ушах грустным воплем. Это не раздражительность желчного человека, которого сердит и дурная погода, и худо свернутая сигара, и пошное лицо первого

встречного, это сомнение странника, давно идущего одной дорогой и спрашивающего себя, в ту ли сторону ведет она; это неверие факира, полжизни бодро стоящего перед идолами и начинающего в них подозревать деревянные истуканы.

Тяжело было Иванову, подавив внутреннюю тревогу и весь сонм разнородных мыслей, который кипел в голове его, сидеть за деловой бумагой да выслушивать и разбирать чужие просьбы; но едва ли не тяжелее стало ему, когда он отдался своим думам.

Догадается, вероятно, читатель, что вчерашний разговор Тамарина с Варенькой был главной причиной этой раздражительности Иванова; но ошибется тот, кто подумает, что любовь играла тут какую-нибудь роль. Нет! Иванов не был влюблен в Вареньку; но для него она олицетворяла бесхитростное, чистое существо, до которого жизнь коснулась одной только благотворной стороной, — существо, которое во всем видит одно добро, потому что само не испытало и никому не делало зла. И вдруг Тамарин, которому Иванов мало сочувствовал и потому уже, что видел в нем чело-

века, преданного только свету, и по его натуре, которая была диаметрально противоположна его собственной, – вдруг этот светский господин при первой встрече говорит с Варенькой тоном вежливого пренебрежения, делает ей какие-то намеки на ее прошлое, почти смеется над ней, а она вместо того, чтобы остановить Тамарина и заставить его краснеть и извиниться, сама приходит в замешательство, как будто в ней потревожили старый укор, открыли пятно прошлого, которое она тщательно скрывала...

Иванов в свой век, как и всякий, многому верил и во многом ошибался; каждая ошибка служила ему уроком, каждый раз он с большей осторожностью доверялся новому выбору; но года и опытность не изгладили в нем душевной теплоты, не уменьшили в нем потребности привязанностей; он выбирал строже, доверялся реже, но, раз выбрав, отдавался охотно и доверчиво своему предмету, своему убеждению, и тем больше была для него всякая новая ошибка. В настоящем случае Иванов не разочаровался в Вареньке: он не был так подозрителен, чтобы по одному намеку

разом потерять к ней всю доверенность, и так строг и нетерпим, чтобы ставить в преступление всякий проступок. Но она теряла в его глазах свою чистоту: может быть, пятно было и невелико и невидно, да оно было. И раз, когда сомнение смутило его внутреннее спокойствие, на многое иначе взглянул Иванов своей встревоженной душой; много вопросов, как стая испуганных птиц, чутко дремлющих на ночлеге, поднялось и встрепенулось в глубине мысли, – и недоверчивым оком посмотрел он тогда на многое внутри и вне себя.

Да! Иванов переживал, может быть, благотворную, но трудную минуту.

Он был выведен из задумчивости приходом одного приятеля – молодого человека.

– Здравствуй, Иванов, – сказал пришедший, – я к тебе по делу – посоветоваться с тобой; да ты, кажется, сегодня в хандре?

– Ничего! – отвечал Иванов, дружески пожав ему руку. – Хандра хандрой, а дело делом; что тебе?

Тут пришедший господин вынул какую-то бумагу, начал рассказывать дело и потом довольно долго толковал о нем с Ивановым.

Когда они кончили, приятель Иванова посмотрел на часы и, заметив, что еще рано к должности, спросил, не задерживает ли его, и, получив отрицательный ответ, закурил сигару.

– Кстати, Иванов: чем решено у вас дело этой вдовы с родственником Петра Петровича? – спросил он.

– Ничем еще, – отвечал Иванов, – большинство, кажется, против нее; но я подаю свое мнение: хочешь прочитать?

– Пожалуйста!

Иванов подал несколько только что исписанных листов, и приятель его принялся читать. Он читал молча; но по его лицу Иванов угадывал и место, которое он прочитывал, и впечатление, производимое на него чтением. Иногда он сурово сдвигал брови, иногда приподнимал их выразительно и немного выдвигал губы, как будто хотел сказать: «Вот оно что!» Иногда он улыбался, как улыбаются любимому ребенку, когда он немного зашалит. Прочитав бумагу, он подал ее Иванову.

– Дело чистое и правое, – сказал он, – ты иначе и поступить не мог; но, знаешь, немно-

го резко высказано: видно, что ты писал его не совсем спокойно. Тут надобно действовать осторожно. Ты знаешь, что Петр Петрович против него; он здесь силен, а на тебя и без того, кажется, дуется...

– За то, что я не езжу его поздравлять с праздниками. Тем лучше: это выведет нас из ложных отношений. Я терпеть не могу, когда мне дружески жмут руку и в то же время подставляют ногу, чтобы я споткнулся.

– Скажи, пожалуйста, что тебя рассердило сегодня?

– Вздор! – отвечал Иванов. – Отчего ты не был вчера у Р***?

– Лень было: часов до десяти занимался, устал и для отдыха начал читать; потом, с чаем, с книгой, в халате и с сигарой, мне было так хорошо, что я решительно не понимал, зачем ехать на вечер, где, я уверен, встретишь скуку.

– И еще кое что хуже скуки. Ты знаешь Тамирина?

– Видал. Не глуп, кажется, да из празднующихся.

– А ничего не знаешь о его отношениях к

Вареньке Имшиной?

– Решительно ничего! Тамарин в свое время, говорят, имел успех, да к Имшиной это относиться не может... А что?

– Этот Тамарин, должно быть, страшно самолюбив, и не знаю чем, а, вероятно, Имшина оскорбила его. Язык у него злой и хоть кого так срежет. Вчера вечером ему вздумалось позабавиться над Имшиной: он над ней смеялся, делал какие-то намеки и сконфузил ее, бедную. Хорошо, что при этом были только я да Мари Б***.

– Не знаю! Ничего не знаю! – задумавшись, отвечал пришедший господин.

В это время чья-то лошадь мелькнула мимо окон и остановилась у подъезда. Через минуту вошел Островский. Иванов был знаком с ним только по встречам в обществе; поэтому приезд Островского немного удивил его; но, разумеется, он не дал этого ему заметить.

– Здравствуйте, князь! – сказал он, идя ему навстречу.

– Ба! Вы уже встали и, кажется, за делом! Я сегодня рано выехал и воображал, что всех, как Тамарина, застаю чуть не в постели.

– Я встаю рано, – отвечал Иванов. – Угодно сигару или папирос?

Островский сел и закурил.

– Я к вам с просьбой, сказал он, – сегодня концерт одной приезжей певицы, слышали вы?

– Да, слышал! Говорят, плохо поет.

– Может статья, да зато прехорошенькая. Я взялся раздавать билеты; помогите, пожалуйста.

– Раздавать я не берусь, потому что никого сегодня не увижу, а для себя возьму.

– А вам угодно? – спросил Островский, обращаясь к приятелю Иванова.

– С удовольствием, – отвечал тот.

Островский вынул билеты, получил деньги, показал, что еще много осталось нерозданных, и разговор на минуту перемежился.

– Да вот к кому всего лучше обратиться с вопросом, – сказал приятель Иванова. – Ведь вы давно здесь живете, князь?

– И не спрашивайте! Приехал на полгода – живу шесть лет. Это только я могу делать такой вздор! А что вам?

Иванов немного смешался. Ему, кажется,

вовсе не хотелось сделать Островского участником предыдущего разговора.

– А с Тамариным нынче только познакомились? – продолжал его приятель. Островский усмехнулся.

– Помилуйте! Мы с Тамариным вместе выпущены из школы, вместе несколько лет езжали. Я с Тамариным сходился чаще, нежели рюмка с графином. Голова отличная, язык острее английской бритвы, сердца меньше, чем у меня наличных денег. А женщины от него без ума... оттого, что он с ними обходится как ребенок с игрушкой.

– Вот об этом-то и речь, – продолжал приятель. – Не знаете ли вы, в каких отношениях он прежде был с Имшиной?

– А! С Варенькой? Это старая история. Лет пять назад Тамарин жил в деревне по соседству с ними. Ну знаете, в деревне девочка-то в него и влюбилась, да так, как только в состоянии влюбляться одни провинциальные барышни. Ну, просто ночи не спит и похудела. Тамарин сюда переехал, и ее мать сюда привезла. Что ему здесь делать с ней? Тут Имшин подвернулся; Тамарин просто себе на уме: он

ей посоветовал или так холодность показал – смотрим: она и вышла за Володю. Но уж тут положительного я ничего не могу сказать, не думаю ничего дурного об их отношениях, решительно ничего; но знаю, что тут маленькая страстишка была; впрочем, Тамарин скоро уехал отсюда... Однако ж я заболтался с вами, а у меня еще семьдесят билетов. До свидания, господа!

И Островский пожал им наскоро руки и уехал.

– Охота тебе была спрашивать этого болтуна! – сказал с досадой Иванов.

– Мой учитель немец говаривал, что нет такой глупой книги, из которой нельзя бы было почерпнуть поучительное, и хоть это только немцы в состоянии извлекать поучительное даже из глупых книг, но по нужде и ты можешь последовать примеру. В словах Островского, верно, есть что-нибудь и справедливое; а впрочем... это меня мало интересует, желаю и тебе того же.

Затем и приятель Иванова простился с ним и уехал.

Иванов остался в прежнем расположении

духа, если еще не хуже, и, надо правду сказать, предыдущие разговоры были не такого рода, чтобы могли развлечь его. Но, взглянув на часы, он поспешно отобрал некоторые бумаги, переделался и вышел.

Как иногда бывает невыносимо тяжело оторваться от пустой и даже горькой мысли для какого-нибудь серьезного дела!

Через час после ухода Иванова вошел его слуга и положил на письменный стол какое-то запечатанное письмо.

VII

Иван Кузьмич Б*, или, чтобы лучше объяснить читателю, муж Марион, которого, как и многих из мужей на всем свете, больше звали по жене, чем по его собственной личности, и от этого называли иногда мр. Марион, — Иван Кузьмич, было ли у него занятие, или нет, утро всегда проводил в кабинете, как и следует деловому человеку.

Кабинет Ивана Кузьмича был во всех отношениях приличный кабинет. Этажерки с книгами, расставленными в строгом порядке и по формату; бюро, на котором он никогда не пи-

сал, хотя на нем всегда лежала белая бумага; покойный сафьянный диван с шитыми по канве подушками – дар почтенных дам в дни его тезоименитства; пирамидка с трубками и бисерной табачницей возле дивана; наконец, письменный стол с двумя десятками ящичков, бумагами, аккуратно разложенными и при- давленными прессами, великолепной чер- нильницей и прочими атрибутами письма, – все было чисто, опрятно, прилично. Даже на стенах кабинета висели, как следует, перед столом: календарик и портрет какого-то гос- подина почтенной наружности, со звездой, а над диваном большая картина масляными красками, в золоченой раме, черная до того, что на ней почти ничего нельзя было разо- брать, и освещенная так искусно, что, откуда ни посмотри, всегда увидишь отражение ко- того-нибудь окна.

Если кабинет был совершенно приличен деловому человеку, то сам Иван Кузьмич был до того приличен своему кабинету, что одно- му без другого чего то недоставало, и трудно решить, что было нужнее – кабинет ли Ивану Кузьмичу, Иван ли Кузьмич своему кабинету.

Иван Кузьмич был добрейший человек, довольно мягких правил, весьма готовый, без больших жертвований и сохраняя благовидность, угодить, как говорится, и нашим и вашим; но наружность его решительно не позволяла подозревать этих маленьких слабостей. Он был черноволос и носил спереди небольшой хохолок, или тупей. Лицо, худощавое и благообразное, с маленькими бакенбардами около ушей, было степенно, серьезно и даже важно, именно насколько следовало человеку в его положении. Глаза его не обладали особенной выразительностью, но зато были опущены сверху густыми, черными, весьма подвижными бровями, из которых Иван Кузьмич, как опытный человек, извлекал всевозможную пользу, придавая их движениями все желанные выражения лицу.

Был час второй утра. Иван Кузьмич сидел в креслах, боком к письменному столу, пил кофе из фамильной чашки, курил сигару и читал в «Пчелке» производства и политические новости. На нем был темно-коричневый сюртук, застегнутый доверху; на носу его были золотые очки, посаженные так ловко, что

Ивану Кузьмичу стоило немного важно откинуть назад голову, чтобы читать с их помощью, и склонить ее, чтобы, приподняв брови, хитро и глубокомысленно смотреть поверх них.

В таком положении был Иван Кузьмич, когда вошедший слуга доложил об Иванове. Иван Кузьмич посмотрел на него через очки, сделал вид, как будто задумался, хотя не имел и мысли отказать Иванову, и наконец сказал: «Проси».

С Ивановым Иван Кузьмич был всегда любезен и, сколько мог, прост. Есть люди, перед которыми никто не важничает и не говорит свысока, хотя бы они были и молодые и ниже: чувствуется, что перед ними-то бесполезно и даже неловко. Кроме того, Иван Кузьмич любил Иванова и уважал как дельного человека. Поэтому он его принял, как принимал только равных себе.

– А я сегодня не пошел в присутствие, – сказал он, после обычных приветствий, – голова что-то ужасно болит, так, вот, начиная с этого места вплоть до затылка. Уж кофеем лечусь. Не прикажете ли?

– Благодарствуйте: я не пью, – отвечал Иванов. – А у вас сегодня слушается дело NN?

– Да, знаю! Родственника Петра Петровича, с этой вдовой... как бишь ее? Забыл фамилию! Ну, да она должна его проиграть, я думаю.

– Не знаю. Я, со своей стороны, подал мнение за нее, – сказал Иванов.

– Мнение! Гм! Мнение! А позвольте полюбопытствовать, нет ли его с вами.

– Вот у меня черновая: я нарочно принес вам показать.

Иван Кузьмич поправил очки, закинул голову назад, придал было бровям глубокомысленное выражение, но с первых же слов приподнял их в виде восклицательного знака, да так и оставил.

Иванов между тем закурил сигару и пытался рассмотреть картину, на которой ничего не было видно.

– Гм! – сказал Иван Кузьмич, складывая бумагу и передвинув брови. – Вы рассматриваете вопрос с новой точки зрения. Конечно, по-вашему, вдова права, а взгляните-ка на нее с прежней точки, так и выйдет вопрос нерешенный.

– Мне кажется, она со всех сторон права, – сказал Иванов.

– Нет, не говорите! Да притом же у родственников-то Петра Петровича детей-то что! Да все мал-мала меньше.

– Это к делу нейдет.

– Ну нет, уж вы этого не говорите! Ну да и Петр-то Петрович ведь, знаете, человек эдак с весом, ну да и с гонором человек: не любит, чтобы ему на ногу наступали.

– Кто ж это любит, – заметил Иванов.

– Вы все шутите! А дело щекотливое, верьте мне. Ну вот теперь следствие поднялось в Тарараевой. Дело кляузное! Концов не соберешь; в третий раз переследуют. Ну как туда вас турнуть! Да и Петр-то Петрович человек почтенный, знаете: это его огорчит; а у него приливы крови бывают к голове...

– Послушайте, Иван Кузьмич. Вы хотите, чтобы я говорил серьезно, – извольте! Дела тарараевского я не боюсь, даже нахожу, что это очень любопытное дело. Что же касается до Петра Петровича и его приливов крови, до того, что ему многие кланяются, оттого, что у него есть родня и знакомые, которым он сам

кланяется вдвое ниже, – все это нисколько не изменяет ни дела, ни моего взгляда на него. Приливы крови и родство не юридические факты. Я хотел только показать вам свое мнение, но не изменю его.

И Иванов взялся за шляпу.

– Да! – сказал Иван Кузьмич, переменив тон и поправив очки. – Действительно, с вашей точки зрения, вы справедливы, – совершенно справедливы, хотя с другой точки и можно сделать возражения. Но проклятая головная боль сегодня мне покоя не дает, и мыслей даже никаких нет в голове, – совсем нет! Точно пустой бочонок! От этого и в присутствие не поехал... Так, вот, с этого места вплоть до затылка... Водки не хотите ли? У меня есть так называемая семи-отрад: удивительная!

Иванов отказался, пожал Иван Кузьмичу руку и вышел.

Иван Кузьмич, притворив дверь, покачал вслед ему головой, спросил, дома ли жена, и пошел к ней: он чувствовал необходимость высказаться кому-нибудь.

У Марион сидел князь Островский. Он был

весьма доволен раздачей билетов, потому что это давало ему случай перебивать в двадцати местах в одно утро и очень нескучно убить его. В строгом смысле, он более развозил новости, чем билеты, и собирал более слухов и сплетен, чем денег.

Вероятно, много сообщил он любопытных вещей Марион, довольно равнодушно его слушавшей, прежде нежели рассказ дошел до него; но в настоящее время речь его коснулась близкого нам предмета.

– А-х, забыл вам рассказать уморительную вещь! – говорил Островский. – Был я сегодня у Тамарина. Он только что встал, закусывает и пьет вместо чая зельцерскую воду. «Что, – я говорю, – приятель, верно, вчера шампанского выпил?» «Нет, – говорит, – на ночь скукой объелся». «Признайся, верно, рассердил кто-нибудь», – говорю я. «Да как, – говорит, – не рассердиться: целый вечер видеть перед глазами глупейшую идилию – Имшину с Ивановым; да тут, – говорит, – еще»... – Островский остановился.

– Что такое? – спросила Марион.

– А тут вы подтрунили над его прежней

слабостью... Зато, кажется, и досталось от него Имшиной; да еще он жалел, что она скоро уехала.

– Не говорите, пожалуйста! – сказала Марион. – Тамарин был вчера неизвинителен.

– Ну уж и неизвинителен! Помилуйте! Девочка была от него без ума, с досады вышла замуж за Володю: прекрасно! Но вот проходит каких-нибудь пять лет, Тамарин возвращается и вдруг видит пополневшую барыню, очень довольную своим мужем, который позволяет ей любезничать с каким-нибудь Ивановым... Да это, надеюсь, хоть кого взбесит!

– Да! – сказала Марион. – Действительно, как не страдать ей весь век по Тамарину!

– Да уж лучше страдать весь век по Тамарину, чем утешаться Ивановым. Но послушайте. Этим история не кончилась. Мне хотелось посмотреть на огорченного любезника: ведь Иванов вчера все слышал. Заезжаю к нему, он как будто и ничего, только волосы встрепаны; приятель у него сидит; о чем же начали они меня спрашивать? О прежних отношениях Тамарина к Имшиной!

– Ну вы, я думаю, не поскромничали, – за-

метила Марион.

– О, нет! Конечно, я рассказал им кое-что: но поверьте, далеко не все, что знаю. Да Иванову и говорить нельзя: он и так-то всегда сарказмен, а влюбленный должен быть просто свиреп. Подумает еще, что клевету, скажет: фактов подавай...

– Здравствуйте, князь, – сказал Иван Кузьмич, входя. – Вы, верно, говорите про Иванова: вообразите, каких вещей он мне сейчас насказал! Говорит: и родство Петра Петровича, и связи его – все, говорит, это не юридические факты; ему, говорит, все кланяются оттого, что он сам кланяется вдвое ниже... да и пошел и пошел.

– Ха, ха, ха! Ну да ему сегодня можно извинить: он не в своей тарелке, – сказал Островский.

– А что?

– Да так: его муха укусила!

– То-то я вижу, что, должно быть, муха укусила, – заметил глубокомысленно Иван Кузьмич. – Человек просто в петлю лезет. Видите ли, дело есть одно, – кляузное дело у вдовы одной с родственником Петра Петровича. Ну

вдова-то с некоторой стороны права, хотя с другой точки зрения и представляется затруднение. (Островский поправился на креслах, будто неловко сидел.) Я, признаться, знаете, чтобы и вдову-то не обижать, ну да и Петр Петрович человек знакомый и всегда так любезен со мной; я и в присутствие не поехал; думаю, пусть их там; а Иванов-то, как вы думаете, бряк мнение за вдову... как будто она ему теща какая-нибудь или свояченица.

– Что ж, разве ему за это достанется? – спросила Марион с любопытством.

– Нет, матушка! Кто говорит: достанется! Он был вправе это сделать. Даже с некоторой стороны, то есть с одной стороны, он и справедлив; да мнение! Ведь молодые люди шутят мнением... Я вот тридцать три года служу, да никогда своего мнения не подавал, да, признаться, не люблю, когда и другие подают. Иванов – хороший человек, дельный и честный человек, да беспокойный, беспокойный. Ну что он теперь Петра Петровича вооружил против себя: он шутит Петром Петровичем, ему горя мало! Говорит: справедливость! Ну а вот как пошлют тарараевское дело переследо-

вать: вот ему и справедливость и юридический факт! Да это и... и... и... – Иван Кузьмич замотал головой и не договорил.

Островский этим воспользовался и встал.

– Постойте, князь, куда же вы?

– Нужно; дела есть, – сказал он, торопясь уйти.

– Подождите, – сказала Марион. – Увидите вы сегодня Тамарина?

– Как же! Мы вместе обедаем.

– Скажите ему, чтоб заехал вечером.

– Непременно! А меня что ж не зовете?

– Вам будет скучно со мной и мне с вами едва ли не тоже.

– Вы меня вечно огорчаете; поеду утешаться, – сказал Островский.

– Да чего лучше, князь! Хотите семи-отрадной? Чудная водка; по секрету рецепт достал! Пойдемте ко мне.

– И как нельзя больше кстати. А меня сейчас Григорий Григорьич угостил какой-то белибердой, должно быть, трех горестей: к нему жена с детьми приехала.

И он ушел с Иваном Кузьмичом в его кабинет.

Все, что слышала Марион про Иванова, ее беспокоило. Его расспросы Островского, его вмешательство в дело, которое могло навлечь ему неприятности, в чем убедил ее еще более Иван Кузьмич во время обеда, она приписывала раздражительности влюбленного, оскорбленного вчерашней выходкой Тамарина и дошедшими до него слухами о Вареньке. Совесть Марион упрекала ее. Добрая душа, она считала себя отчасти причиной всего происшедшего: не затрагивай она раздражительного самолюбия Тамарина, может быть, ничего бы и не было. А тут из-за ее прихоти нарушается тихое счастье скромного существа. Иванов, которого она мало знала, но считала за хорошего человека, может повредить себе, и вообще затевается какая-то история, как очень часто, из-за ничего, благодаря праздным толкам они затеваются в небольших городах, и в эту историю будет впутано имя Вареньки, к которому, как доброе существо к добру, она чувствовала невольное расположение. Все это мгновенно представилось Марион, как только она услышала болтовню Островского и рассказ мужа; выходка

Тамарина ей и без того не нравилась, и поэтому она поручила Островскому пригласить Тамарина к себе, чтобы высказать ему свое неудовольствие, как позволяет это себе всякая хорошенькая женщина с мужчиной, который за ней ухаживает.

Но, обдумывая более все это маленькое происшествие, маленькие слухи, маленькие предположения, из которых, как из всего маленького, могли выйти большие неприятности, что в провинциальной жизни, где все очень мелко, обыкновенно так и водится, Марион решила употребить все усилие, чтобы потушить дело в самом начале. Немудрено, что она в этом случае придумала, как умный дипломат, – я сказал уже, что она была хорошенькая женщина, – но ей надобно было иметь дело с самолюбием такого человека, как Тамарин, а тут и дипломатия не поможет. Марион придумывала так долго, сколько может придумывать женщина, т. е. ровно несколько минут с секундами, – и ничего не придумала. Между тем время шло; несколько раз мысль ее обращалась к занимавшему ее предмету и с прежним неуспехом оставляла

его, чтобы тотчас же перенестись совсем на другой. Марион начинала уже сердиться, но, взглянув по привычке на себя в зеркало, улыбнулась и вовсе перестала думать.

Часу в девятом вечера, когда Марион, прижавшись в угол дивана, курила папиросу, ей доложили о Тамарине. Поза ее не была картинка; но она, по примеру героинь светских романов, не переменяла ее, зная, что всякая поза хорошенькой женщины очень хороша; туалет ее был ее обыкновенный туалет, вообще она осталась такова, как была всегда. Тамарин, напротив, был в каком-то апатическом расположении духа; он как будто устал, что, может быть, казалось от желтоватого цвета лица, при огне переходящего в бледность.

Марион приняла его немного холодно.

– Вы меня звали? – спросил Тамарин.

– Да! – отвечала Марион, не подав ему руки. – Я хотела вам сказать, что сердита на вас.

– Что вам за охота застращать меня с первых же слов! Хоть бы приготовили! – заметил Тамарин, весьма равнодушно садясь в кресло.

– Вы не из робких! А все-таки я вам скажу,

что серьезно сердита на вас.

– За что ж немилость! Уж не за Имшину ли?

– И за нее, и за себя. С чего, во-первых, вы взяли, что доставляете мне удовольствие нападками на бедную Вареньку?..

– Я узнаю вашу чувствительность, – отвечал Тамарин. – Когда перед хорошенькой женщиной является другая хорошенькая, она с ней очень мила и любезна, хоть и не прочь немножко ей повредить. Чуть эта женщина унижена, сейчас являются глубокое сострадание, и участие, и сожаление... Это я не о вас собственно говорю...

– Не обо мне говорите, а обо мне думаете, и очень ошибочно, потому что судите по себе. Я ни с кем не соперничаю, а с Варенькой тем менее, да и не из чего. Впрочем, вы мне не верите; да это все равно! – Тамарин наклонил голову в знак согласия. – Во-вторых, ваш поступок с Варенькой неизвинителен. Мстить, и мстить женщине, за то, что она через пять лет переменяла о вас мнение! Куда как хорошо!

– Вы находите, что это было мщение? Я не

знал, что у меня такие южные страсти.

– Да, это мстительность самолюбия, которое до того раздражено, что оскорбляется всем на свете. Как, в самом деле, забыть Тамарина, когда он несколько лет назад удостаивал своим вниманием! Как остаться равнодушной при его появлении и быть любезною с каким-нибудь Ивановым!..

И говоря это, Марион действительно сердилась; лицо ее несколько разгорелось и черные глаза оживились: она была чудно хороша.

– Вы должны быть довольны, – прибавила она. – Иванов все слышал, и ваш разговор, может быть, будет иметь неприятные последствия и для него, и для Вареньки. Радуйтесь!

Тамарин действительно был доволен. Слова «как вы злы» имели для него значение комплимента. Притом же он думал, что женщина, которая сердится, есть уже женщина, которая интересуется.

Он посмотрел на одушевленную Марион и не мог удержаться от улыбки; но он ей придал другое выражение.

– Действительно, я ужасно злой человек и,

кроме того, страшно самолюбив и мстителен, – сказал он. – В самом деле, шутка ли, мне вздумалось скуки ради посмеяться над мечтательницей, у которой во время оно был совсем другой вкус... и – о ужас! – сколько шуму и суеты, какая тревога, какие огорчения! Тамарин эгоист, Тамарин зол, Тамарин мстителен! А Тамарину просто пришла охота мимоходом задеть хлыстиком по муравейнику. Виноват ли он, что все там перетревожилось.

– Да! С тем приключением, – сказала Марион, – что в этом муравейнике он задел женщину, которая ему прежде нравилась, и человека, которому отдают предпочтение!

– Поверьте, если бы я знал, что Иванов и Варенька так встревожатся от моей шутки и что ее припишут коварным замыслам оскорбленного самолюбия, я бы их оставил в покое!

– А если так, то докажите это! Положим, не ваша вина, что благодаря вестовщикам из шутки делают какую-то историю, что, может быть, они приняли ее слишком горячо, вам очень легко все поправить. Варенька вас не приняла – поезжайте к ней завтра, обратите все в шутку и извинитесь...

– Вам этого хочется? – сказал Тamarin.

– Вы мне доставите удовольствие, – сказала Марион, – тем больше, что я тут считаю себя немного виноватой.

– Извольте! – сказал Тamarin. Он встал, поклонился и вышел.

Марион поглядела ему вслед и улыбнулась.

VIII

Иванов возвратился домой часу в четвертом. Он забыл и вчерашнюю выходку Тамарина, и болтовню Островского, и Вареньку. Целое утро он ездил по делам или ими занимался, и в голове его, как у игрока, прошедшего несколько часов за картами, вместо тузов и двоек, вертелась какая-то пестрая смесь своего рода. Кроме того, его очень интересовало вновь открывшееся тарараевское дело, которым Иван Кузьмич хотел запугать его, и дело это со своей запутанностью, сложностью и драматизмом завязки представлялось ему во всей юридической трудности и прельщало его воображение, как прельщает стратега план неизвестного ему сражения, математи-

ка – вычисление пути новой кометы, или женщину – роман какого-нибудь пресловутого французского писателя в двадцати семи томах и с самым страшным заглавием. Однако ж ни тарараевское дело, ни хаос бумаг и просителей не заставили его забыть час обеда. Он позвал слугу, чтобы велеть накрыть на стол.

– Изволили видеть письмо? – сказал слуга.

– Какое письмо?

– Принесли от Имшиных.

Он взял его с письменного стола, подал и вышел.

Иванов повертел письмо в руках, распечатал, нашел кругом исписанный мелким почерком почтовый лист, как только умеют писать одни женщины, взглянул на подпись, пожал плечами и начал читать.

Письмо было от Вареньки. Вот оно:

«Мое письмо удивит вас. Вы сделаете вопрос: к чему писать, когда мы так часто видимся, когда можем все пересказать друг другу? Это правда. Но есть вещи, которые тяжело пересказывать, есть случаи, про которые трудно говорить женщине даже самому близ-

кому человеку, даже своему другу. А я именно об этом должна говорить с вами: вот отчего я к вам пишу.

Вам показался странным вчерашний поступок человека, которого имя мне даже неприятно написать здесь, его насмешки, его намеки на прошедшее? Еще страннее, может быть, было для вас то, что я не остановила его, растерялась и вместо ответа, которого он заслуживал, спешила уйти. Этому вы были причиной. Я знала, что вы тут, что вы все слышите: меня смущала мысль, что вы обо мне подумаете; мне было совестно и досадно, что я прежде ничего не говорила вам. Отчего, спросите вы, именно о вас только я думала в эту минуту? Потому, что вашим мнением я дорожу, потому, что считаю вас добрым, искренним, бескорыстным другом... ошиблась ли я?.. Вот причина, по которой хотела я только одного – как можно скорее прервать это невыносимое положение. Оно отчасти продолжается для меня и теперь. Я буду спокойна только тогда, когда все вам выскажу, хотя, Бог видит, как мне тяжело переносить это полузабытое, это неясное, как неприятный сон,

прошлое. Слушайте же.

Лет пять-шесть назад я еще не была замужем, а жила с матушкой в Неразлучном.

Мне было осмнадцать лет; соседей, особенно молодых, не было. Володю, с которым я росла, я считала за родного, за мальчика, и потому не обращала на него большого внимания. В это время в четырех верстах от нас поселился Тамарин.

Если бы я встретила его не приготовленная, не настроенная доходящими до меня слухами, я бы, может быть, прямо взглянула на него и скоро его разгадала. Но у меня была подруга, которая, не любя его, выставила в каком-то загадочном свете; возле нас жила прехорошенькая баронесса ***, которая, говорят, страстно любила Тамарина и на которую он имел какое-то странное влияние. Он был интересен, ловок, опытен; склад ума его был для меня нов и оригинален – звали его демоном. Баронесса уехала, и он начал ухаживать за мной: чего же еще больше, чтобы заставить полюбить себя молодую, неопытную девочку?.. Да, я полюбила его!.. Уф! Как тяжело мне было написать это слово!..

Теперь, оглядываясь через столько лет на это отжитое чувство, оно мне кажется странным и непонятным... не потому, что я любила Тамирина, но потому, что я любила в нем именно его ложную сторону – то, что теперь заставило бы меня отвернуться от него и пожалеть о нем. Мне в нем нравился не светский человек, одаренный умом резким, оригинальным и анализирующим, не человек богатый способностями, хотя на ничто потративший их, самолюбивый потому, что он сознавал свои преимущества перед другими. Нет! Нравилась мне в нем его игра чувствами, его душевные страдания, которым я верила и которых источник мне был неизвестен. Видела я в нем человека высшей натуры, одаренного какою-то моральною властью; мне нравилось в нем особенно то, чего я не понимала: его загадочность... Она давала просторную канву моему пылкому воображению, и ему было любо вышивать по ней прихотливые узоры! Много доставлял он мне горьких минут, глубоких страданий, и я их принимала как что-то должное, чем я обязана была платить за его любовь: мне сладко было даже

страдать от него... Что вы хотите! Когда мы любим человека, мы любим в нем и его недостатки, которые кажутся нам в каком-то особенном свете. Я была слепа; но я тогда была счастлива!..

Тамарин на зиму переехал сюда; я уговорила матушку сделать то же.

И здесь, живя и встречаясь в обществе, воображению было меньше разгула. Поступки Тамарина со мною, его боязнь общественного мнения заставили меня взглянуть на него иначе, и из-под моего призрака начал проглядывать для меня другой человек: сухой эгоист, бессильный самолюбец. Простая, безыскусственная любовь Володи показалась мне в другом свете, мне хотелось разорвать связь с Тамариным – я вышла замуж.

Что вам сказать больше? Когда я вышла замуж, Тамарин снова явился ко мне, и в этом случае любовь его была, может быть, искреннее всех его прежних чувств; но ослепление уже исчезло... Тамарин уехал. Тихая семейная жизнь в деревне благотворно подействовала на меня. Когда побудешь долго глаз на глаз с природой, от души так легко отпадает все

ложное и искусственное. Потом вас Бог послал в наше уединение. Вы имели на меня большое влияние. Чтобы увидеть всю ложь, всю болезненность, всю неестественность такого человека, как Тамарин, надобно было поставить против него вас, благородного, честного, с вашим простым и здравым взглядом на вещи, с вашей любовью ко всему прекрасному и трудам для его достижения. Говорю я вам прямо и о моем мнении, и о моем чувстве к вам. Мнения моего вы не примете за лесть. Чувства мои такого рода, что я могу о них говорить громко, не краснея ни перед собою, ни перед другими: вы, я знаю, их не перетолкуете.

Теперь вы поймете, отчего я вчера была так не находчива, отчего я так боялась вашего осуждения; но, высказав вам все, я спокойна. Мне не страшны будут выходки Тамарина, и я найду на них ответ, когда вы узнаете наши прежние отношения, в которых он думал найти право надо мною. Я следую вашему правилу – избегать ложных положений, и все вам высказываю. Вас, которого я так уважаю, избираю моим судьей: неужели вы обвините

меня?

В.»

Иванов прочитал письмо, повертел его в руках, опять местами перечитал и положил в портфель. По выражению лица его видно было, что он остался доволен его содержанием, но что вместе с тем оно заключало в себе что-то его смущающее.

Долго Иванов ходил скорыми шагами по комнате; он не слышал, как слуга два раза докладывал ему, что стынет горячее на столе, — наконец пообедал рассеянно, закурил сигару и опять начал ходить. Немного погодя Иванов как будто на что-то решился, спросил шляпу и уехал.

Был вечер. Варенька сидела одна в известной нам комнате, за работой, как и в первый раз, когда мы встретились с ней в этом рассказе. Только она не была так покойна, как прежде. Лицо ее было бледно, и на нем, как от легкого облака в ясный день, лежал какой-то оттенок, который придает невольная дума. Зато при каждом скрипе двери, когда Варенька быстро поворачивала голову, яркий румянец мгновенно разливался на щеках ее и по-

том медленно, медленно с них сбегал. Она продолжала шить бегло, скоро, как будто этой спешностью работы торопила время. Видно было, что какая то беспокойная мысль управляла ее движениями.

С полчаса или час длилось это ожидание; наконец дверь еще раз стукнула; румянец опять вспыхнул на щеках Вареньки, но в этот раз послышалась знакомая походка, и румянец исчез мгновенно: бледная, но с веселой улыбкой встретила Варенька вошедшего Иванова. Они, как и всегда, пожали друг другу руку; но крепче обыкновенного было их рукопожатие.

– Я хотел бы сердиться на вас, – сказал Иванов. – К чему это объяснение, к чему эта исповедь прошлого? Разве недостаточно было бы одного слова вашего, чтобы разъяснить мои сомнения, если бы я их имел? Разве, наконец, я сомневался когда-нибудь в вас? Но, вспомнив вашу доверенность, мне остается только искренне, искренне благодарить за нее.

Варенька подняла на Иванова темно-голубые глаза, зарумянилась и тихо спросила:

– Так вы не обвиняете меня?

– Боже мой! Кто ж не увлекался из нас ложным эффектом, загадочностью... кто не ошибался? – отвечал Иванов.

– Да, я тогда была молода, – вздохнув, сказала Варенька.

– Послушайте: зачем тревожить это прошлое! Оно прошло и слава Богу! Вы из него вынесли спасительный урок. Оставьте его. Стоят ли несколько вздорных слов, сказанных Тамариным, чтобы обращать на них такое внимание. Если бы вы встретили их более хладнокровно, вы бы, конечно, не допустили его и, надеюсь, впредь не допустите повторить что-нибудь подобное.

– О, нет! Теперь, когда вы все знаете, когда я уверена, что вы не обвиняете меня, я спокойна, и меня нисколько не тревожит встреча с Тамариным: но вчера, если бы вы знали, как мне было совестно перед вами. Я не спала целую ночь. Меня мучило сомнение, что вы обо мне подумаете, что вы подумаете об этом прошлом, на которое так низко намекал Тамарин. Я не могла себе простить, что ничего прежде не сказала вам, и успокоилась только тогда, когда все вам написала.

– Я уже вас благодарил за доверенность, – сказал Иванов, – и, поверьте, высоко ценю ее. Но к чему вам подчинять себя чужому мнению? Отчего это недоверие к собственному суду? Разве нам недостаточно его?

– Что ж делать! Мы, женщины, уж так созданы: нам нужна непременно опора или руководитель. Мужчина может нас увлечь в гибель, он же должен поддерживать нас и на прямом пути. Я не думаю, чтобы женщина по собственному произволу могла пасть или возвыситься. Разве вы недовольны, что я обратилась к вам?

Варенька посмотрела на Иванова так мило, так мило, что, верно, каждый из вас, читатель, захотел бы быть на его месте.

Иванов вместо ответа улыбнулся и немного наклонился.

– Да! – продолжала Варенька. – Я вам должна высказаться... Я недаром обратилась к вам. Я вам многим, многим обязана, хотя вы, быть может, и не замечаете этого. Общество честного, бесхитростного и благородного человека невидимо целебно. Наши тихие, откровенные беседы много изменили меня. Я чув-

ствую, я как-то теплее, прямее и проще стала смотреть на вещи, у меня есть сознание, что я лучше стала с тех пор, как узнала вас: как же мне не уважать, как же мне... – Варенька немного остановилась. – Как же мне не чувствовать к вам искренней доверенности и дружбы!

Варенька говорила это с какой-то особенной добротой и задушевностью. Слушая ее, казалось, что она действительно должна была все это высказать. Она, кажется, была бы не права, ей было бы совестно перед собой не сказать Иванову того, что она чувствовала. И на ее прямодушном, откровенном лице, немного зарумянившемся и как-то особенно в эту минуту тихо прекрасном и одушевленном, можно было читать искренность каждого слова, заметить, как оно было прочувствовано в душе и как верно его передали.

Иванов смотрел на Вареньку и с удовольствием, и с грустью. И на его умном и довольно резко очертанием лице показалось мягкое, несвойственное ему выражение, как будто какое-то тоскливое чувство невольно пробило наружу и смутило эти резкие черты.

– Вы слишком многое мне приписываете, – отвечал он. – Не знаю, кто из нас более выиграл от взаимного сближения; и я, в свою очередь, мог бы сказать, чем я вам обязан. Но мне особенно грустно было вас слушать именно теперь. Чем короче и задушевнее будет наше сближение, чем полнее мы поймем друг друга, тем больше будет лишение и тем труднее разлука: мне надобно ехать.

– Куда это? – побледнев, с недоверием, спросила Варенька.

– Мне дают поручение в ***.

– И надолго?

– Не знаю наверное, но думаю, что очень надолго. Я нарочно зашел к вам, чтобы сообщить об этом. В 10 часов меня ждут, чтобы окончательно переговорить о деле. – Иванов посмотрев на часы и, вставая, сказал: – Я почти опоздал.

Он подал и пожал Вареньке руку; но она смотрела на него все как будто не веря.

Иванов пошел и был уже почти у дверей, когда Варенька остановила его.

– Послушайте! – сказала она и остановилась в нерешимости.

Иванов ждал.

Варенька хотела, кажется, сказать: «Нельзя ли вам не ехать?» – но только спросила его: «Так вы поедете?..» Но этот вопрос был так сделан, что он был красноречивее всякой просьбы.

Иванов немного смутился: какая-то борьба, видимо, овладела им.

Было одно мгновение, когда Иванов, казалось, готов был отказаться и от свидания, и от дела и воротиться к Вареньке; он стоял в какой-то непонятной нерешимости и рассеянно ответил:

– Не знаю, можно ли мне остаться.

У Вареньки был еще, казалось, какой-то готовый вопрос; но прежде, нежели она его сказала, Иванов уже вышел.

Варенька осталась одна, бледная, задумчивая. Долго, долго сидела она, не выпуская из рук работы и между тем не работая. В голове у нее толпились смешанные, неожиданные мысли. То она думала, как сделать, чтобы Иванов не ехал, то как ей будет скучно и пусто, когда он уедет. Она остановилась на первой мысли и делала разные предположения,

придумывала разные способы, чтобы удержать Иванова. Но видно, ничего доброго не придумала и не предвидела ее хорошенькая и грустно склоненная головка, потому что она все неподвижно-задумчиво сидела над неконченной работой, и какие то темные думы проходили и отражались на ее бледном челе. В доме была тишина мертвая: все, что было в нем живого, давно уже спало... только в передней и в девичьей чуть светились нагорелые свечи, и камердинер Володи и горничная Вареньки крепко дремали. Наконец когда сани Володи, возвращающегося из клуба, подъехали к дому и зазвенел колокольчик у двери, Варенька очнулась будто из забытья и, все такая же грустная и задумчивая, взяла свечи и вышла в спальню.

IX

Чтобы объяснить внезапное решение Иванова, мы должны отступить на несколько часов назад.

Получив письмо Вареньки, Иванов над ним задумался. Привыкнув прямо смотреть на вещи, не обманывать себя ложными истолкованиями, разбирать часто замаскированное начало и по возможности угадывать его исход, он увидел из письма Вареньки, что эта тихая привязанность, которая начинается обыкновенно привычкой, сходством взгляда и вкуса, крепчает и переходит во что-то скрывающееся под фирмой дружбы; что эта привязанность, высказанная теперь Варенькой, благодаря потрясению, которое невольно дал ей Тамарин, начинает принимать другой оборот и перерождаться в более определенное чувство. Строго по этому случаю взглянул Иванов и на себя и не мог не признаться, что он сам находит большое удовольствие в обществе Вареньки... Откровенность Вареньки, доверенность и дружба, ею высказанные, сладко затронули в нем самые звучные стру-

ны, – и знал он, что едва ли устоит против заманчивой склонности, если она сильнее и определеннее разовьется. Все это предвидел и чувствовал Иванов, и неизбежный вопрос: «Что из этого выйдет?» – невольно представился ему не как расчет холодного эгоизма, который взвешивает проигрыш с выигрышем, но как мысль пловца, которого незаметно прибывает волна в заманчивую пристань и который видит, что есть еще время, хотя с трудом, воротиться в беспокойную, но нужную ему быстрину.

Многие из нас задают себе подобные вопросы, но в ответ на них настроят таких рогатых силлогизмов, что всегда вывод будет в пользу собственного удовольствия. Не таково было решение Иванова. Он нашел, что нужно избежать этого рождающегося чувства, которое может повлечь за собой опасную борьбу, пока еще есть время. Ему тотчас же представилось трудное, запутанное дело, которым пугал его Иван Кузьмич, представляющее широкое поле его жажде труда и пользы. Он колебался недолго: отправился к одному господину, от которого зависело назначение лица,

и предложил свои услуги. Господин этот посмотрел на Иванова с маленьким недоумением, но был весьма рад его предложению. Лучшего чиновника ему нельзя было желать; к тому же, может быть, он, как многие, питал уважение к Петру Петровичу и имел случай убить одним камнем двух птиц: поэтому назначение ему было обещано.

Да не подумают, чтоб я хотел выставить моего героя типом безукоризненной добродетели. Нет, он имел свои недостатки, и, может быть, эти именно недостатки облегчили ему более, чем кому-либо другому, настоящую решимость: Иванов не слишком любил нежные склонности. Обладая теплым и живым сердцем, он боялся его увлечений; он допускал их, но желал, как он выражался, чтобы они пришли потише да поскромнее. Ему было бы тяжело нести чувство, которое могло связывать его мысль и деятельность. Вот отчего выбор для него был нетруден; вот отчего, говоря с Варенькой и увидев всю глубину ее расположения, какой-то укор, какое-то сожаление поднялось в его душе, — ему жаль стало Вареньки и, может быть, и себя; ему в первый

раз блеснул вопрос: не слишком ли много жертвует он потребностями сердца требованиям своих убеждений, не отдаст ли он много теплого чувства за одну мысль? Волнуемый этими вопросами, он спешил уйти от Вареньки; и тогда тише и тише становился в его ушах отзвук нежных слов; недолго ему представлялся выразительный взгляд ее прекрасных, темных, голубых глаз. Кругом его виднее и виднее восставала общественная жизнь, сильнее и сильнее слышались ему житейские вопросы. Когда Иванов пришел домой, он уже решился ехать.

На другой день, часу во втором, Иванов отправился к Ивану Кузьмичу. Его он не застал дома; но слуга сказал, что барыня принимает, и Иванов зашел к ней проститься.

Марион, кажется, не ждала его, но, судя по встрече, была очень довольна его приходом.

– А, м-р. Иванов! Вы редкий гость, – сказала она, – и я тем больше рада вас видеть. Отчего вы так мало показываетесь: бегаете от общества?

– Я действительно меньше бываю в нем, чем нужно и чем бы мне хотелось бывать. Но

в этом случае я бегаю не от общества, а от тьмы маленьких условий, которые оно налаживает и которые кроме скуки отнимают пропасть времени.

Марион чувствовала по себе пустоту этих условий; но она не знала, как избавиться от них; это ее занимало.

– Я вас понимаю, – сказала она, – но не у всех же такая охота и терпение заниматься делами, как у вас; нельзя же быть и без общества: и в нем скучно, а без него умрешь от скуки.

– Разумеется, если нет никакого интереса в жизни, если нет обязанностей или призвания, которым отдаются с охотой. Но вы не думайте, что бы за всем тем мы оставались без общества. Есть несколько человек одинакового, в этом случае, мнения, которые рады встретиться друг с другом, и встречаются часто и охотно, просто, без претензий: вот общество, в котором отдыхаешь.

– Положим, так. Но это общество мужское; а женщины?

– Это другой вопрос. Вот отчего и недостаточен наш круг, от этого иногда и есть необ-

ходимость выезжать в свет, особенно если нет одного или нескольких коротко знакомых семейств.

– Теперь я понимаю, отчего вы мало выезжаете, – улыбаясь, заметила Марион, – у вас нет недостатка в подобном семействе и остальным вашим знакомым приходится пенять на монополию Вареньки Имшиной.

И Марион была довольна оборотом, который принял разговор: ей давно хотелось навести речь на Вареньку.

– Я с ней познакомился летом, в деревне, – сказал, Иванов, – а вы знаете, что нигде нельзя так скоро сойтись. Это преимущество деревенской жизни; я его сохранил и здесь.

– И я уверена, что сохранили с удовольствием: я ее очень люблю. Давно вы ее видели?

– Я к ней заходил вчера вечером, чтобы сказать, что я еду. Я и к вам пришел проститься.

– Как! Куда же вы уезжаете?..

– Довольно далеко отсюда. Меня посылают по делу.

Марион сейчас припомнился разговор ее

мужа. Она вообразила, что Иванов в минуту огорчения пошел против Петра Петровича и что это причина его отъезда. Неудивительно, что она делала подобные предположения: она так долго жила в провинции, где все объясняют по своему. Марион стало жалко Иванова.

– Послушайте, мр. Иванов, – сказала она, – я вам сделаю, может быть, нескромный вопрос, но сделаю его из участия к вам: скажите мне, что за причина вашего отъезда?

Иванову странен показался этот вопрос.

– Тут нет ничего нескромного или тайного, – отвечал он. – Дело, по которому я еду, весьма серьезно; оно было запутано людьми неблагонамеренными, и я просил, чтобы меня назначили, в надежде открыть истину.

Марион посмотрела на Иванова с недоверием. Сначала ей показалось необъяснимо, какое дело человеку принимать на себя труд, для того чтобы открыть истину в предмете, совершенно его не тревожившем. Потом ей сейчас мелькнула другая идея, что Иванов, рассорившись с Варенькой, хочет уехать от нее. Ей была тяжела мысль, что она, может быть, была причиною ссоры, и она решилась

во что бы ни стало объяснить все Иванову.

– Так вы сами просились? – спросила она. По тону, которым был сделан вопрос, Иванов видел, что он делан не для того, чтобы только спросить что-нибудь: его очень заинтересовало, почему Марион принимает в нем такое участие.

– Да! – отвечал он. – Почему же вы не допускаете этого?

– Вы, как я слышала, человек прямой, мр. Иванов, и я с вами буду говорить прямо, в уверенности, что вы мне так же ответите. Я думаю, что я знаю настоящую причину вашего отъезда. Вы мне не хотите ее сказать, – эта деликатность понятна. Но эта причина неосновательна; вы увлечены недоразумением, ошибкой, и я бы хотела вывести вас из заблуждения, потому что принимаю в этом живое участие.

Иванова очень удивили и догадки Марион, и самое участие; он подозревал, что тут что-то кроется, и, в свою очередь, тоже хотел все разъяснить.

– Чтобы говорить откровенно, – сказал он, – так не надобно играть в загадки. Я вижу,

что вы почему-то принимаете участие в моем отъезде, и много за это вам благодарен; по-чтоб скорее дойти до цели, я прошу вас называть вещи прямо, а не намекать на них. Это гораздо проще и лучше. Верьте, что прямая дорога самая короткая: к чему делать дело вполонину!

Марион немного затруднилась. Она знала, что в свете можно все сказать, но умеючи. Но ей понравился вызов Иванова: она видела, что с ним именно надо говорить прямо, потому что он не перетолкует ничего в дурную сторону.

– Хорошо! – сказала Марион. – В таком случае признайтесь, что вы уезжаете не собственно для дела, а просто от Вареньки?

Иванов не мог постичь, чтобы женская пронизательность могла идти так далеко.

– Это не совсем так, – отвечал он, подумавши, – но половина причины отъезда действительно Варвара Александровна.

– И все это началось по поводу разговора у Р**, который вы слышали?

Глаза Иванова значительно увеличились в орбите.

– Да! Я не хочу лгать: этот разговор имел влияние, – отвечал Иванов.

– Я вас не спрашиваю, – продолжала Марион, – потому что это было бы слишком нескромно; но я знаю, вы любите Вареньку...

– В таком случае, – отвечал совершенно растерявшийся Иванов, – я должен признать, что вы знаете более меня, потому что я, право, сам не знаю, люблю ли ее...

Марион улыбнулась самодовольно.

– Да, – сказала она, – вы ее любите, хотя не признаетесь в этом даже самому себе. В таком случае, я должна вам сказать, что причина вашего отъезда неосновательна. Варенька несколько не виновата. Тут больше всех виноваты вы и я.

Иванов решительно уже ничего не понимал.

– Кто ж обвиняет Варвару Александровну? – сказал он. – Но я решительно не понимаю, почему мы с вами виноваты!

– Оттого, что мы были причиной разговора Тамарина с Варенькой: я – потому, что смеялась над Тамариным и задела его самолюбие; вы – потому, что подали мне этот случай и

возбудили его ревность.

– Я? – спросил с удивлением Иванов. – Г. Тамарин меня считает соперником, и короткость m-те Имшиной со мной возбуждает его зависть! Вот уж этого-то я никак не ожидал! – прибавил он.

– А между тем это так, и вот настоящая причина его неизвинительной выходки. Признавая себя виноватой в ней, я хочу поправить ее последствия. Вам, может быть, дурно пересказали прежние отношения Вареньки к Тамарину, и они огорчили вас. Но вы несправедливы: Варенька ни в чем не виновата; вы не должны на нее сердиться и невесть для чего уезжать от нее.

Иванов увидел свет.

– Вы ошибаетесь, – сказал он. – Прошлое Варвары Александровны мне хорошо известно, потому что она сама захотела мне все рассказать. На нее я нисколько не сержусь и не имею ни права, ни причины сердиться: она ни в чем не виновата.

– Так зачем же... – И Марион остановилась. – Нет! – сказала она. – Я ошиблась и невольно вовлекла вас в откровенность; я не

имею права спрашивать более.

– Вы были откровенны со мной и выказали ваше участие; вы имеете право и на мою откровенность, – сказал Иванов. – Разговор Тамирина действительно имел на меня влияние: он заставил меня дать себе отчет в моих чувствах к Варваре Александровне. Я вам сказал уже, что не знаю, люблю ли ее; но я знаю, что могу любить. Что ж из этого выйдет? Любовь, ставящая нас в ложные отношения! Я враг ложных дорог и положений: пока есть время, я решился ехать. С другой стороны, дело, которое мне поручают, действительно меня интересует: тут я могу дать себе волю служить своему призванию и убеждениям; тут я, может быть, буду полезен. Вот отчего я еду.

Иванов говорил это просто, не драпируя себя героем. Видно было, что он говорил, что чувствовал.

Марион посмотрела на него и невольно сказала:

– Вы благородный человек! – И потом, вздохнув, прибавила: – Но мне жаль бедную Вареньку!

Иванову, кажется, это направление разго-

вора не нравилось, и он поспешил дать ему другой оборот.

– Так я возбуждаю зависть? – сказал он смеясь. – Я кажусь г. Тамарину счастливым поклонником m-me Имшиной; он вмешивается в дело, воображает, что расстраивает наше тихое счастье, и по этому случаю, вероятно, считает себя орудием судьбы, которая бросает его как молот на главу невинных жертв...

Иванов нечаянно, но верно очертил Тамарина, именно таким, как он казал себя перед Марион, и ей стала понятна и смешна искусственная интересность Тамарина.

– В настоящую минуту он рисуется перед Варенькой, – сказала Марион, – я его послала к ней извиниться.

– Я думаю, что Тамарин дурно исполнит ваше желание. Он так самолюбив, что, верно, никогда в жизни не признавался в ошибке, – и не из упрямства, а потому, что он сам уверен, что все, что он сделает, должно быть так сделано. Однако ж мне бы хотелось убедить его, что хоть раз в жизни он ошибся: именно в своем предположении обо мне.

Затем, обменявшись еще несколькими

словами с Марион, Иванов поблагодарил ее за участие, ею высказанное, простился и уехал. И прощание их было тепло и радушно: от одного откровенного разговора они будто стали давно и близко знакомы друг с другом, – и Марион было жаль, что уезжает Иванов.

Х

В то время, как происходила описанная нами сцена, встреча другого рода была в доме Имшиных.

В урочный час визитов Тамарин довольно лениво, почти нехотя отправился к Вареньке. Ему предстояла не очень завидная роль извинять свой поступок и, может быть, слушать упреки; но он не смущался этим: он был так уверен в своем превосходстве над Варенькой, что вполне надеялся дать такой оборот объяснению, какой ему вздумается.

Тамарин, сказал я, собирался нехотя просто потому, что ему лень было ехать.

В таком расположении духа, мало, впрочем, думая о встрече, Тамарин спокойно вошел в гостиную Имшиных.

Варенька, по обыкновению, сидела одна: муж ее куда-то уехал. Она никого не ждала к себе, но всего менее ждала Тамарина, когда, услышав шаги, обратилась к двери и увидела его как и всегда холодную и равнодушную фигуру. Варенька была немного бледна и очень интересна; приход Тамарина не изменил ни того, ни другого; напротив, она его встретила так спокойно, как будто ждала его с пустым визитом.

– Видите ли, как я неотступно желаю иметь удовольствие вас видеть, m-me Имшин, – сказал Тамарин. – Вы не хотели пустить меня в первый раз, я пробую счастье во второй.

Варенька очень мило ответила на поклон Тамарина, просила его сесть и стала что-то искать в рабочей корзине: она хотела, чтобы Тамарин сам начал разговор.

– Вы на меня сердитесь? – сказал Тамарин.

– За что? – с удивлением спросила Варенька.

– Мне казалось, что вам не понравился мой разговор прошедшего вечера.

– А вы хотели им понравиться?

– Я не до такой степени неловок, чтобы избирать подобные средства, – сказал Тамарин. – Но есть положения, в которых поддаешься невольному чувству. Я был не прав перед вами и приехал в этом сознаться, и вместе с тем, однако ж, мне бы хотелось объяснить вам причину этого, и, я уверен, вы бы не строго обвинили меня.

– Объясниться?! Перестаньте, мр. Тамарин: это на вас не похоже. Причины – я их очень хорошо знаю: вам просто было досадно, что я встретила вас гораздо равнодушнее, нежели вы ожидали. Признайтесь, вы, я думаю, очень жалели, что у вас не осталось от прошлого ничего, что бы вы могли с презрением бросить перед всеми и сказать: смотрите, как я мало дорожу им; у вас только и было, что несколько намеков и насмешек, которыми вы могли заплатить бывшей деревенской девочке за ее прежние чувства, за то, что ее пылкая голова сделала из вас какого-то героя и слепо и смешно верила в ваши достоинства. Странное средство заставить – не скажу: любить, но уважать себя.

Варенька, говоря это, несколько одушеви-

лась, и на ее бледных щеках заиграл легкий румянец.

Тамарин слушал так равнодушно, как будто дело шло не о нем.

– Вы слишком строги, – отвечал он, – и много приписываете моим словам. Но потрудитесь поставить себя на мое место и тогда осуждайте меня. Я не говорю, что я сохранил к вам прежние чувства; но как хотите, все остается какое-то влечение к той, которая прежде добровольно признавала над собой paine влияние, и кажется, что не может она совершенно отречься от него. И вдруг, когда видишь, что по одной прихоти сердца не только отбросили, но смотрят с каким-то унижающим равнодушием на это влияние, – мало того что, проходя без внимания мимо того, которого прежде так высоко ценили, в его же глазах поклоняются и удивляются невесть кому... О! Тогда очень естественно – придет на язык желчное слово!

– Все это, может быть, очень справедливо с вашей точки зрения: я и не спорю. Разве я обвиняла нас?.. Но одного я тут не поняла. Объясните, пожалуйста, кто этот невесть кто, ко-

торому я поклоняюсь и удивляюсь?

– Я нескромных замечаний не объясняю, – сказал Тамарин, – и предоставляю вам самим угадать.

– Один человек, с которым я ближе других знакома, – это Иванов. Если вы говорите про него, – сказала Варенька, – так этот невесть кто может и очень может заменить кого бы то ни было. Я ему не поклоняюсь и не удивляюсь, но искренно уважаю его, и ваше самолюбие может быть покойно: чувства мои к нему совсем другого рода, чем к вам.

Тамарин понял эпиграмму, и, несмотря на его желание быть равнодушным, желчь зашевелилась в нем.

– После ваших слов, – сказал Тамарин – я сам начинаю питать к г. Иванову глубокое уважение, особенно за его умение внушать такие чувства...

– Этих чувств вы никак не поймете, – отвечала Варенька, – они не в вашей натуре.

– Тем интереснее было бы их узнать, – сказал он, улыбаясь, – учиться никогда не поздно.

– Вы хотите их знать, – сказала Варенька, –

извольте. В вас я любила какой-то призрак, который создала моя семнадцатилетняя пылкая и неопытная голова; вы сами это чувствовали и как-то искусственно поддерживали его; все наши отношения были ложны, и от этого, оба свободные, мы скрывали, мы инстинктивно стыдились своих чувств. Отношения и чувства мои к Иванову так просты, так естественны и чисты, что мы не имеем нужды их таить, и я, жена другого, могу, не краснея ни перед собой, ни перед мужем, сказать, что люблю Иванова как лучшего друга...

Тамарин встал, поклонился и, улыбнувшись, сказал:

– С чем и имею честь поздравить вас и его.

Но, прежде нежели он вышел, он встретил взгляд Вареньки, и от этого взгляда, может быть, после многих лет самоуверенного спокойствия, он в первый раз почувствовал себя как-то неловко.

Тамарин возвращался от Имшиных в неприятном расположении духа. Он не мог еще дать отчет в своем чувстве; но какое-то смутное неудовольствие несносно овладевало им. Не в первый раз, конечно, не сбыва-

лись его намерения и ожидания; но никогда еще он не выдерживал такой неудачи; прежде он переносил их хладнокровно и с уверенностью в отыгрыше, как отступающий полководец, который уверен в своих силах, теперь этой неудачной встречей в нем была потрясена его уверенность в самом себе. Он не сознавал этого вполне; но самая безотчетная неприятность происходила от этого инстинктивного сознания.

Браня себя за то, что был у Вареньки, Тамарин естественно вспомнил Марион, которая была этому причиной, и тогда его неудовольствие, найдя исход, вдруг все обратилось на нее. И вспомнились тогда Тамарину вся бессельность и бесплодность его ухаживаний за Марион, ее умение поставить себя с ним в короткие, но холодные отношения, ее такт, с которым она постоянно сохраняла над ним какое-то превосходство. Самолюбие Тамарина, только лишь оскорбленное Варенькой, еще сильнее болело в нем от этой неудачи – и он спешил к Марион, как будто что-то звало и тянуло его туда, между тем как желчь и злость шевелились у него на душе.

Между тем Марион была совершенно в противоположном настроении духа от свидания с Ивановым. Она в первый раз близко увидела прямую, дельную и полную благородных побуждений натуру этого свежего душой и чувствами человека, и встреча с ним как-то тепло и благотворно на нее подействовала. Пристальнее и глубже взглянула Марион на свою жизнь, и она показалась ей еще пустее и бесцветнее. И тогда мечта расправила крылья и понесла ее к другой жизни, показала ей в ясном и тихом свете новую жизнь в ином обществе. И думала Марион, как бы хорошо было, отвергнув эти мелкие светские условия, удалясь от пестрого и пустого круга, составить себе другой кружок, в котором бы жизнь души и ума питалась и отдыхала, в котором можно бы было говорить, не заботясь о пересудах, слушать и не слышать мелких изворотов в мелких толках и претензиях, – слушать и услышать живое и теплое слово, искренний и прямой ответ на всякий задушевный вопрос...

В это время вошел Тамарин. И, надо признаться, он не мог прийти более некстати.

– А, это вы? – сказала Марион, нехотя отставая от своей мечты.

– Да, это я, – отвечал Тамарин. – Я пришел вам сказать, что исполнил ваше желание и благодаря вам провел скучнейшую четверть часа в жизни.

– Вы, кажется, не находили этого прежде в беседах с Варенькой, – заметила Марион, – значит, обязаны перемене себе, а не мне.

– Если бы не вы, мне бы не пришлось в голову идти к Имшиной затем, чтобы слушать ее объяснения в нежных чувствах к Иванову.

– Я понимаю, что он стоит их, – сказала Марион.

– Давно ли вы разделяете вкус Варвары Александровны? – спросил Тамарин.

– С тех пор, как ближе узнала Иванова: он сейчас был у меня.

– Я замечаяю, – сказал Тамарин очень серьезно, – что в городе N Иванов становится чем-то вроде поветрия; это сирокко, который сушит женские сердца, как ромашку в аптеке.

– Вот видите ли, есть разные способы нравиться, – отвечала Марион. – Самый простой – это часто встречаться, уметь занять и раз-

влекать, быть всегда разнообразным и угодливым, не выказывая претензий и излишней предупредительности... Ах, кстати: я вас забыла поблагодарить за визит к Имшиной.

– Не стоит благодарности, – отвечал Тамарин.

– Да! Нужно, словом, заставить привыкнуть к себе... сделаться необходимым... Вы, кажется, говорили, что это называется добиваться любви?..

Тамарин поклонился.

– Есть еще и другие способы, – продолжала Марион, – вы их много что-то насчитали, и они вам все хорошо известны. Но вы забыли один, и самый простой: это быть тем, что мы есть, и не добиваться ничего, – и это прекрасный способ. Когда всякий день видишь одного в своей заученной роли, другого – вечно драпирующегося в какое-нибудь интересное чувство, – всех, точно актеров, на подмостках, из которых каждый силится обратить на себя внимание, с бездной претензий на успех: знаете ли, как после этого обрадуешься, когда увидишь просто хорошего, безыскусственного человека, который не навязывает вам сво-

их чувств и убеждений, не бросает пыли в глаза, не ищет ни удивления, ни поклонения, а является таким, как есть, и если нравится, так нравится истинным своим достоинством. Вот секрет Иванова, и он, право, недурен.

– Извините за сравнение, m-me Б, – сказал Тамарин, – но вы сегодня поучительны, как прописи.

– А вы становитесь скучны, как они, – с досадой отвечала Марион.

– Во всяком случае, вы согласитесь, что я разнообразен, – вставая, сказал Тамарин, – до сих пор я не доставлял вам этого развлечения; я хотел допустить его как редкость.

Затем он поклонился и вышел. И после него Марион с какой-то отрадой и наслаждением опять предалась своей мечте и сладкой задумчивости, опять перенеслась в созданный ее воображением круг. Ей это было так извинительно! Она видела и сознавала пустоту светской жизни, но не знала выхода из нее. После разговора с Ивановым ей открылся исход, и тогда много еще блесков светской жизни опало в ее глазах; несносен и скучен своей душевной скудостью показался ей Тамарин, –

этот блестящий в свое время представитель светской молодежи, и вот отчего в порыве свежего впечатления она так дурно приняла его, – вот отчего она с таким удовольствием по его уходу снова отдалась своим мечтам. Сбудутся ли они или разлетятся, как и все мечты? И если сбудутся, то не покажется ли ей действительность далеко ниже их: не покажется ли она ей не покрытая блестками, жестка и тяжела?

Не будет ли ей странно принимать у себя бесцеремонных людей, позволяющих себе приходить вечером в сюртуках и вместо любезностей говорить иногда серьезно? Не будет ли тяжело ее самолюбию отдалиться от лучшего светского круга, в котором она первенствовала и который отдалится сам от нее и будет находить ее странною? Знает ли она, сколько надобно твердости и силы, что бы оторваться от этих маленьких условий и требований, которые ей кажутся теперь такими пустыми и скучными, и к которым между тем она так привыкла... И уверена ли ты, Марион, в своих силах, и уверена ли ты, что краска ложного стыда не бросится тебе в лицо и не

смутится твое самолюбие от одного пустого вопроса, когда прежняя твоя подруга, светская барыня, спросит тебя: «С кем это я вас встретила вечером?» – и ты на ответ должна будешь назвать какого-нибудь неизвестного свету Иванова, и не найдешь ничего для объяснения его положения, как сказав только то, что он хороший человек?..

Время одно может решить эти вопросы, и я не берусь раскрывать их перед читателем. Знаю только, что в настоящие минуты они не приходили в хорошенькую голову Марион: безотчетно и сладко предавалась она розовым мечтам, и вызвало ее из них не строгое раздумье, а голос Ивана Кузьмича.

– Машенька! Машенька! – кричал он из залы. – Слышала ты, Иванов-то на следствие едет? Да добро бы посылали, а то сам вызвался – просто-таки сам. А? Как это тебе покажется? Да его, в самом деле, какая-то муха укусила; или, лучше сказать, у него просто какая-то муха в носу сидит и не дает ему покоя... да! Матушка! – сказал он, взглянув на Марион и всплеснув руками. – Что ты это делаешь со мной: четыре часа, а ты еще не одета! Разве

ты забыла, что у Анны Семеновны маленький сынок, Шушу именинник! А ты, чай, и поздравлять не посылала? Хорошо, что я сам заехал. Ты знаешь, что Шунчик ее любимец! Она нас звала обедать, и всего-то будут мы, Григорий Григорьич с женой, да самые короткие. И пожалуй, еще Григорья-то Григорьяча мы, по твоей милости, ждать заставим...

– Иду, иду! – сказала Марион, нехотя вставая.

XI

Федор Федорыч поутру в этот день узнал о скором отъезде Иванова, и ему стало грустно и досадно. Человек бездействующий, и бездействующий сознательно, он умел сделать себе занимательным свое безжизненное существование: он жил чужой жизнью. Все новое и замечательное в моральном мире сильно привлекало его внимание; он жадно слушал каждый звук жизни, он наблюдал и анализировал каждое ее проявление, и во всем он был только посторонний зритель. Одаренный от природы умом проницатель-

ным и ясным, он развил его еще более привычкой постоянной мысли, и мысль в нем росла насчет деятельности и, поддержанная физической ленью, поглотила всю его практическую жизнь. Бог знает, для кого и для чего копил он огромный запас наблюдательности, не думая его никому передавать, еще менее думая самому сделать из него применение. Наблюдательность сделалась его страстью. Его интересовал всякий оригинальный характер, всякая прямая или уродливая натура. Отличив кого-нибудь из знакомых какой-либо стороной ума или характера, выходящего из обыкновенного уровня, он следил за ним, как натуралист за неизвестным ему животным или насекомым, и наблюдал до тех пор, пока не разгадывал его. Чем богаче и разнообразнее была встретившаяся ему натура, тем сильнее влекла она его к себе, тем с большей любовью он к ней привязывался. Но, раз поняв совершенно человека, он оставлял его как прочитанную книгу. Он и книги читал как-то особенно: если в них попадался ему какой-нибудь характер, то, разобрав и поняв его таким, как хотел его изобразить ав-

тор, он видел в нем лицо живое, уже близко ему знакомое. Тогда он следил за ним во всех выведенных на сцену положениях и часто вдруг останавливался и говорил: «Не может быть, чтобы такой-то сделал или сказал это: он должен был вот что сделать», и затем он умственно переделывал сцену; но если замечал дальнейшее отклонение автора, то говорил: «Э, приятель, не туда пошел!» – и затем бросал книгу, как бы интересна ни была она.

Понятно, отчего в свое время Тамарин много интересовал Федора Федорыча: но его пора прошла и, как новое и современное явление, все внимание его привлек Иванов. Вот почему отъезд его так огорчил Федора Федорыча. Но прежде нежели ему должно было расстаться со своим любимым и богатым объектом, он хотел доставить себе последнее удовольствие. Предлог он отыскивал недолго и тотчас же отправил записки к Иванову и Тамарину следующего содержания:

«У меня сегодня именинница тетенька: приезжайте обедать и поздравить меня».

Затем он послал за лучшим в городе поваром, велел ему по собственному усмотрению

приготовить маленький обед, достал доброго вина и сел отдыхать после совершенного труда, ожидая с удовольствием условленного часа.

Домашний быт Федор Федорыча очень верно отражал его лень и беззаботность и вместе с тем любовь к удобству. Первая комната, совершенно пустая, была украшена пятью стульями, склонявшимися к полу под весьма прихотливыми углами, и столом, который при удобном случае очень охотно переваливался с ноги на ногу.

В крайней, в углу, одиноко стояла кровать со столом, исправляющим должность туалетного, потому что на нем было разбросано несколько хорошеньких, но в большом беспорядке, вещей из туалетного несессера. В средней комнате опять стол длинный, запыленный, заваленный кучей книг сверху, и с пустой чернильницей и засохшими перьями посередине; но у противоположной стены этой комнаты заметно отделялся любимый угол хозяина. Там был камин, не для украшения, как это делается во многих домах, но камин, способный топиться, чем Федор Федорыч

очень часто и с удовольствием пользовался. Около камина стояли два весьма покойных кресла, такой же диван и маленькие столики. Тут постоянно сидел – во все время, когда не лежал, – Федор Федорыч, и тут, у светлого и теплого огонька, мы застаем его поджидающим гостей.

В известный час, Иванов и Тамарин приехали почти вместе: Иванов немного раньше, Тамарин немного позже. Оба они были удивлены такой тесной и нечаянной встречей; но Иванов не обратил на нес особенного внимания, а Тамарин, кажется, догадался и усмехнулся.

– Федор Федорыч! – сказал он, входя. – Есть у вашего слуги оракул?

– Нет: он чтениями не развлекается, – отвечал Федор Федорыч. – На что он вам?

– В нем отмечены черные дни, – сказал Тамарин. – Мне хотелось бы посмотреть, есть ли в нем нынешний?

– А что, разве с вами были какие неудачи?

– Да, я сегодня получил от дядюшки неприятное письмо. Кстати, поздравляю вас с именинами тетушки.

– Черные дни кончатся до обеда, – сказал Федор Федорыч. – Давайте закусывать.

Вскоре затем они сели за стол.

Стол, благодаря сметливости слуги, подложившего под его ноги бумажки, стоял весьма исправно, а при помощи жившей наверху барыни, знакомой с Федором Федорычем, сервирован очень хорошо; обед изготовлен был прекрасно, и все бы шло как нельзя лучше, если б Тамарин, как будто нарочно, не был упрямо молчалив. Но хороший обед и вино всегда действуют благотворно, и когда подали замороженное шампанское, Тамарин был уже в гораздо лучшем расположении духа.

– У вас славный повар, – сказал он. – Желаю вашей тетушке почаще быть именинницей.

– А я желаю вашему дядюшке перестать совсем к вам писать, – отвечал Федор Федорыч, – а между тем мы хорошо сделаем, если пожелаем доброго пути отъезжающему.

– Вы разве едете? – спросил Тамарин, который еще ничего не слышал об этом.

Иванов отвечал утвердительно и коротко рассказал ему, куда и зачем он едет.

Этот отъезд, кажется, заинтересовал Тамарина и окончательно рассеял его молчаливость. Тамарин и Иванов в первый раз сходились близко и были поставлены в такое положение, что должны были говорить друг с другом. Оба они выиграли во мнении один другого от этого сближения. Конечно, они не чувствовали друг к другу особенного влечения, но каждый мог отдать, и отдавал, справедливость другому. Не разделяя взгляда Тамарина на вещи и сознавая всю ложность его убеждения, Иванов видел в нем умного и далеко недюжинного человека. Тамарин, со своей стороны, сознался, что он слишком свысока смотрел на Иванова и что, не уронив собственного достоинства, можно иметь такого соперника, и, раз допустив эту мысль, Тамарину хотелось поближе узнать его.

Наши собеседники, встав из-за стола, уселись вокруг камина.

Ранние зимние сумерки спускались на землю; свечей не было в комнате. Красно-синеватый огонь в камине трещал, извиваясь по сухим дровам, и дрожал, и сводил, и наводил длинные тени по противоположным сте-

нам и блестящим окнам. Близ камина, за чертой сильного жара, но под ярким освещением сидели два гостя. Отчетливо от яркого огня обрисовывался резкий и умный профиль Иванова, и как будто изменялись и переливались красивые и тонкие черты лица Тамарина. А немного сзади них, усевшись с ногами в угол дивана, погруженная в полумрак и полусвет, рисовалась длинная фигура Федора Федорыча, то вдруг ясно и резко выдавалась она, облитая светом, то опять, неопределенная и темная, тонула во мраке.

Никогда человек не бывает так способен к откровенной и простодушной беседе, как после хорошего и легкого обеда. Физическое довольство и спокойствие делают его добрее, и ему становится как-то лень скрытничать и притворяться в это время.

Но бывают другие минуты, когда не говорится о пустяках, когда не болтается и не хочется заниматься мелочью и вздором, и, напротив, с души поднимаются самые дорогие, самые близкие ей вопросы, – они требуют высказаться, хочется поделиться и обменяться ими, хочется показать их как лучшую карти-

ну небольшому кругу знатоков, чтобы узнать ей настоящую цену. В настоящее время это была именно такая минута. Сумерки, так всегда настраивающие к тихой, задушевной беседе, неопределенность и самая картинность освещения, вызывающая что то серьезное, наконец, чувство, что находишься с людьми, которым под силу всякая мысль, которые не поверят ей на слово и не преклонятся безусловно перед ней, а взвесят здраво и обменяются равносильной мыслью, – все это располагало к чему-то более глубокому, более достойному самого себя.

Несколько времени все сидели молча, каждый о чем-то тихо задумавшись. Только дым сигар и папирос тонкими синеватыми и изгибающимися струями тянулся в камин да душистый желтый чай легко испарялся из стаканов, сквозя в них как чистый янтарь и переливаясь от огня золотистыми красками. Тамарин первый прервал молчание.

– Я бы на вашем месте, мр. Иванов, не охотно поехал отсюда, – сказал он.

– Отчего же?

– Не далее как сегодня утром я слышал о

вас такие отзывы двух прехорошеньких женщин, что ради них стоило бы здесь остаться.

– Хорошие отзывы мало обещают, мр. Тамарин, да если бы и действительно обещали какой-нибудь успех, так это бы несколько не остановило меня.

– У всякого свой взгляд, – сказал Тамарин, – но надо быть очень пресыщенным этими успехами, чтобы легко от них отказываться.

– Да, если они составляют цель жизни, – отвечал Иванов, – в мою они не входят.

Тамарина это замечание несколько укололо.

– Трудно, однако ж, найти вещь лестнее и приятнее, – заметил Тамарин, – и уж конечно, честолюбие их не стоит.

– Вы сравниваете с ними такую монету, перед которой они действительно стоят очень высоко. Я совершенно согласен с вами, что эти успехи и лестны, и приятны; но они слишком дорого обойдутся, если отдать им всего себя.

– Я понимаю, – сказал Тамарин, – что вы ставите выше их деятельность практическую, ищете другого, более обширного поля для сво-

их свежих сил и способностей... кто из нас не искал этого! Когда я был молод, и я мечтал об этой благородной, блистательной деятельности. Да нелегко найти ее... Найдите мне ее по моим силам и способностям... А когда на их богатый запас придется мелкий труд с грошовой пользой, тогда... тогда успокоишь золотые мечты и запросы самолюбия и отдашь жизни другого рода, и будешь искать и довольствоваться теми успехами, которые вы так дешево цените.

Тамарин замолчал и принялся раскуривать потухшую папиросу.

– Да! – сказал Иванов. – Я с вами согласен: запросы молодости и самолюбия велики; а им часто выпадает на долю узкая, невидная тропка, которую они считают слишком мелкою, чтобы идти по ней: что ж делать! Не всякому достается широкая дорога труда, увенчанная лаврами. И, конечно, гораздо легче и приятнее обратить на себя внимание, ловко протанцевав польку на балу, нежели всю жизнь пробиваться трудовой дорогой к далекой пользе.

– И часто для того, чтобы наткнуться в ней

на какой-нибудь камень и разбить об него последние силы? Ну уж, слуга покорный! – смеясь, сказал Тамарин. – Я, может быть, слишком устарел и стал материален, но лучше протанцую свои силы на балу, нежели разобью их на какой-нибудь неблагодарной работе.

– Я, может быть, слишком молод и мечтателен, – улыбнувшись, сказал Иванов, – но я думаю, что когда будет не под силу и не под стать танцевать более, тогда должно наступить тяжелое раздумье для танцующего весь век человека.

– Тогда остаются коммерческие игры с почтенными людьми, – равнодушно отвечал Тамарин.

– А всего лучше, сложив руки, смотреть на чужие хлопоты, – послышалось позади них, и вслед за тем, нагнувшись к стакану, выдалась из тени и ярко осветилась длинная и флегматическая фигура Федора Федорыча.

Тамарин и Иванов обернулись к нему и оба улыбнулись.

Вдруг в это время послышались в первых комнатах чьи-то шаги и голоса, и человека

четыре или пять приятелей Иванова вошли в гостиную.

– Здравствуйте, Федор Федорыч! Мы собрались к Иванову провожать его, но узнали, что он у вас, и приехали за ним. Вы извините нас, – сказал один из пришедших.

– Охотно извиняю и очень рад, что вам пришла мысль явиться сюда, – сказал Федор Федорыч, радушно здороваясь с ними. – Но Иванова я так скоро не отпущу. Мы здесь пожелаем ему счастливого пути и вместе разопьем прощальный бокал. – И он велел подать вина.

Приезжие гости уселись около камина, и затем пошла оживленная и веселая беседа.

Говорили об отъезде Иванова; но никто не останавливал его, не предлагал тех иногда дельных, но всегда охлаждающих замечаний, которыми многие так охотно, как холодной водой на огонь, угощают в известных случаях, в виде добрых советов. Напротив, нашлось много теплых и ободряющих слов, поддерживающих Иванова в его добром намерении. Потом разговор перешел к другим предметам: кто говорил о своем начатом труде, другой о

своих намерениях и надеждах. Видно было, что это не был так называемый кружок, навязывающий всем свои убеждения, замыкающий всех в узкую и тесную раму одного исключительного взгляда. Нет, это был круг людей, добровольно сошедшихся, каждый со своим взглядом, каждый со своими убеждениями и занятиями, но всех соединенных взаимной симпатией, влечением доброго и честного к честному и доброму. В разговоре их не было брошено ни одного женского имени, ничья сердечная склонность не выставлялась тут напоказ, осмеянная наперед самим собой, чтобы ее не осмеяли другие. Зато все живое и благородное в жизни было тепло и с участием ими принято; на все доброе нашлось у них ответное слово; всякое зло нашло в каждом из них личного врага. И видно было, что не умствовали они, а жили и трудились, — жили дельной практической жизнью, а не бесплодными воззрениями. Отодвинувшись в угол, Тамарин долго их молча слушал. Никто на него не обращал внимания, не стеснялся им. На свободе вслушивался он в их речи и увидел себя в каком-то чуждом мире.

Все, что так живо их интересовало, было далеко от него. Их идеи, их взгляды были ему новы и странны. Должен он был сознаться, что многое, мимо чего равнодушно не раз проходил он, возбуждало их живое участие, было выставлено ими в ясном и резком свете. И увидел Тамарин, что широкая и непроходимая полоса отделяла его от этой молодежи, что светлее и далеко глубже их взгляд, что прямо, как отважные пловцы, врезались они в жизнь и приняли ее без прикрас и обольщений, с ее тяжелой, холодной волной, с ее светлыми брызгами. Долго слушал их Тамарин, и речи их казались ему какого-то другого склада и другого звука, и видел он себя посторонним и не нужным в этом свежем, молодом кругу... Взял тихонько Тамарин свою шляпу и вышел никем не замеченный.

Шумный и оживленный разговор продолжался еще некоторое время. Подано было вино, и все дружно сдвинули свои бокалы с бокалом Иванова и от души пожелали ему всего доброго. Наконец пора было ехать.

Приятели Иванова отправились к нему на квартиру, простившись с Федором Федоры-

чем; Иванов поотстал от них и последний подошел к нему.

– Ну, прощайте, Федор Федорыч, – сказал Иванов, оставшись один.

– Прощайте, прощайте! – говорил Федор Федорыч, крепко пожимая Иванову руки.

И на его лице, обыкновенно равнодушном, явилось какое-то мягкое выражение. Он, казалось, что-то хотел сказать и не решался.

Иванов был уже в дверях, когда Федор Федорыч удержал его.

– Постойте-ка, постойте, – сказал он, – хочется мне вам сказать одну вещь. Вот видите, я не люблю советов давать и высказываться много не люблю, но хотел бы я вам замечание одно сказать. Вот видите ли, все, что вы там говорили о добре и пользе, все это хорошо, очень хорошо, и дай вам Бог, чтоб все это сбылось, и дай вам Бог сил на все это, но знаете ли, странное у вас самолюбие: вы его все в других кладете; а не грех и о себе подумать. Вы вот точно смотрите в окошко да думаете, как бы вот помочь соседу, у которого печка не топлена, а свою-то дверь забываете притворить. Догадываюсь я, например, что вы бои-

тесь немного в сердечных делах запутаться: как, в самом деле, отдаться какому-нибудь чувству, когда вы себе на голову столько чужих забот набрали! Оно прекрасно! Хорошо чужому человеку в беде помочь, бедному руку подать, да свою-то избу зачем без нужды студить? Смотрите, чтобы после холодно не стало... Ну, однако ж, я заболтался. Прощайте, прощайте!

– Спасибо вам! – сказал Иванов, крепко пожав его руку.

Федор Федорыч проводил его и возвратился, задумавшись, к своему камину.

«Самолюбие! – думал он. – И у этого огромное самолюбие!»

Потом Федор Федорыч подумал, что и у него есть свое самолюбие, которое состоит в том, чтобы подмечать и наблюдать сколько-нибудь сильные или оригинальные личности, но что и его самолюбие не всегда удовлетворяется и ему часто приходится смотреть на давно знакомые, давно насквозь высмотренные лица, в которых столько же разнообразия, как во всех бубновых валетах из различных колод.

И затем Федор Федорыч отправился в клуб.

Было темно и холодно, когда Тамарин возвратился домой. И его, в угольной, удобной комнате, поджидал ярко топившийся камин, к которому, переодевшись, подсел Тамарин, но у камина поджидали его темные и безвыходные мысли.

Наступил для Тамарина тот день, когда, по выражению Иванова, видит весь свой век танцевавший господни, что ему не под стать и не под силу танцевать более, и приходит для него час тяжелого раздумья. Легко было ему с наружным равнодушием ответить, что тогда остается играть в карты с почтенными людьми; но знал он очень хорошо, что не всякое самолюбие усидится спокойно за карточным столом.

Весь век Тамарин жил одной жизнью часто насильственных ощущений и чувств. Любо ему было в свое время рядиться в картинные положения и чувства, когда наряд этот был в моде и ему к лицу, когда и сам он и другие верили в натуральность этого наряда. Любо ему было играть ощущениями, когда самолюбие его выигрывало в эту игру. Но когда за-

метил он, что устарел и становится обыденным его прежний наряд, что не много чести, по предсказанию Федора Федорыча, играть заметную роль в глазах молоденьких девочек, – тогда другими глазами взглянул он на себя и на прошлое.

Сила и новое столкновение обстоятельств иногда круто поворачивают человека и ставят его на такую точку, что с иной стороны приходится ему посмотреть на давно знакомые и хорошо, казалось, осмотренные предметы. И вдруг под углом этого взгляда иногда открываются ему такие вещи, существование которых он и не подозревал доселе. Это как будто боковой луч, нечаянно упавший в темный и забытый угол и вдруг ярко осветивший в нем какую-то невиданную картину, нежданно восставшую перед изумленными очами, – иногда грустную и безвыходно-суровую картину. Хотелось бы отвести от нее глаза, хотелось бы не видеть и забыть, что видел ее, а она стоит перед очами и влечет их к себе всей силой новизны и истины, и с трепетом останавливается перед ней испуганное, но пораженное ею изображение.

Так было и с Тамириным. В первый раз в этот день самолюбие его было сильно и глубоко задето. В первый раз он увидел, что устарел со своими понятиями, суждениями и чувствами, что прошло его время и что люди с другими правилами идут перед ним совсем другою дорогою... Понял Тамарин, что странен он будет в ряду этой молодежи, в своем устарелом наряде, что не выдержать борьбы со свежими силами его истощенной силе и что пришла ему пора отойти в сторону и дать другим дорогу. Тогда взглянул он на свое прошлое и стал поверять все вынесенное им из своего пережитого, все, чем ему остается жить остальную жизнь.

Грустно сознаться, что прошла наша молодость, наша лучшая пора; грустно подводить итоги всему прожитому и истраченному, так весело прожитому и так щедро потраченному; и грустно и боязно, пройдя этот путь молодости, остановиться и приниматься пересматривать вынесенные из пройденного пути пожитки, собираться жить новым, собой нажитым добром. А что же должно чувствовать тогда, когда увидишь, что даром потрачены

лучшее время и свежие силы и что не осталось от молодости ничего более, ничего кроме усталости!

Дельного Тамарин ничего не сделал, — он это знал, следовательно, тут ему и вспоминать было нечего... Жил он жизнью чувств, и стал он перебирать свои чувства.

Долго, задумавшись, сидел Тамарин, и пестрая вереница воспоминаний проходила перед ним. Но нерадостны были эти воспоминания. Другими, более строгими глазами смотрел он на них, и их ложные краски бледнели и спадали перед этим взглядом. И увидел он длинную цепь искусственных положений, обманов и насильственно и ложно возбужденных чувств. И от всех этих воспоминаний не осталось ни одного, от которого бы забилось его сердце, ни одного теплого, задушевного, над которым он мог бы сладко задуматься, которым мог бы согреть свое охолодевшее чувство! А было бы что сохранить! Было бы что сберечь и затаить глубоко на сердце! Но холодно и без участия проходил он в свое время мимо этих чувств и гордо смотрел на них с высоты своего самолюбия.

И вот пройдена молодость, подведен итог прошлому, и осталось от него ничто. И вот что он может показать другому поколению, – вот подножие его самолюбия. А перед ним еще полжизни, которую должен он прожить этим ничем. И тогда перед Тамариным, так охотно рядившимся и веровавшим в свои прежние страдания, явилось страдание истинное, страдание самолюбия, которому не на что опереться, обидное сознание в бессилии того, кто так много заставлял ожидать и обещал выполнить... Горькое, безвыходное страдание! И нарядиться-то нельзя в него, и нельзя его выставить напоказ и живописно драпироваться им!.. Страдание, которое, как прореху на модном платье, надо прятать от постороннего глаза, потому что оно в состоянии возбудить не участие, а только обидное сожаление!..

Горько и невыносимо досадно было Тамарину. Хотел было он сам, в порыве досады, унижая свое самолюбие, убедить себя, что не мог он жить иначе, что не было ему дано сил на что-либо большее; но нет! Самое сознание настоящего положения, самая сила страдания

говорили ему противное. Он не мог не анализировать свое прошлое и строго судить самого себя. Страшные, безвыходно тяжелые минуты переживал он. Было особенно одно мгновение – кризис страдания, когда все черные мысли разрослись до самого грозного размера. В это мгновение взгляд Тамарина упал на ящик с пистолетами, стоявший на столе, и приковался к нему. Но потом он оторвал от него глаза, провел рукою по бледному лбу, как будто желая смахнуть с него черные мысли... Много желчных и метко-злых слов пришло ему тогда на ум. Их только одни вынес он как результат всего прожитого. На свой собственный счет вырастил он и скопил их запас, и им обрадовался Тамарин, и, вооружившись ими, он остался жить...

Если вам случится встретить в обществе человека, никогда добродушно ничему не улыбающегося, – человека, который всякий успех, всякое полезное дело принимает холодно, который во всем старается подметить одну слабую сторону и беспощадно и метко смеется над нею, – человека, от которого не укроется смешное и который с наслаждением

показывает его всем, злого языка которого боятся все нетвердо уверенные в себе, – всмотритесь в него: это переживший свое время Тамарин. Это Тамарин, которого мучит всякий дельный успех, потому что он напоминает ему его ничтожество. Это отживший Тамарин, которого нечего бояться, но о котором стоит пожалеть!

XII

Часу в девятом вечера большие открытые сани остановились у подъезда Имшиных. Иванов вышел из них и нашел Володю, Вареньку и детей всех за круглым чайным столом. Взглянув на дорожное платье Иванова, Варенька невольно побледнела: она не знала, что Иванов так скоро уезжает.

– Вы уже едете? – спросила она его.

– Да! – отвечал Иванов. – Я заехал к вам проститься.

И затем, в последний раз, он подсел к знакомому столу, за которым так часто и так от-рад-но беседовал с Варенькой. По-прежнему она угостила его чаем, но не по-прежнему шла их беседа.

Беседа, лучше сказать, вовсе не шла. Говорил большею частью Володя, да Иванов изредка старался поддерживать разговор. Варенька молчала. Было что то тяжелое и грустное тогда в этом кружке. Пустые слова и вопросы Володи как-то звучали одиноко и глухо. Не знаю, зачем и для кого говорил он их. У Вареньки и Иванова было много скопившегося на душе. Бог знает, были ли это теплые слова дружбы, запоздалые ли сожаления, или накопившиеся слезы. Они сами не сознавали этого, они были рады каждый, что не имели случая и времени высказаться друг другу. Им, может быть, было бы это еще тяжелее; но и теперь им было невыносимо, бессознательно тяжело... Их угрюмое молчание походило на затишье перед грозой. В воздухе темно и душно, нет ни солнца, ни туч, одна какая-то желтая знойная мгла, и все смолкнет, и все будто со страхом ждет чего-то неизвестного... вот, может быть, пахнет свежий ветерок и все разгонит, – может, вот сию минуту блеснет молния и страшный удар разразится над головою.

Иванов не мог долго выдержать этого по-

ложения.

– Пора! – сказал он, вставая.

И все за ним встали.

Иванов облобызался с Володей и поблагодарил его, потом подошел к Вареньке, но ничего не сказал ей, он только горячо поцеловал и крепко пожал ее руку, да потом одно, только одно мгновение, они как-то странно посмотрели друг на друга, и Иванов поспешно вышел.

Почтовая тройка двинулась, и поехал Иванов по длинным, изогнутым улицам, мимо знакомых ему домов справа и слева, смотревших на него своими разнохарактерными физиономиями. Вскоре сани спустились с горы, выехали на реку, и развязанный колокольчик зазвенел под дугой. Его однообразный, заунывный и глухой от мороза лепет, темная и пасмурная ночь, живая грусть – все скопилось вместе и навеяло Иванову горькие мысли... Долго ехал Иванов в горьком и тяжком раздумье, под заунывный, однообразный звон колокольчика, под грустный настрой печальных дум; долго он ехал в темную холодную ночь, и черные мысли, как ночные пти-

цы, вместо сна, носились над головой его... Но вот встал из-за горы полный, бледнолицый месяц. Как белая, изгибистая лента выдвинулась своей ровной матовой поверхностью покрытая пушистым снегом река, по которой шла зимняя дорога. Справа темными, неосвященными обрывами стояли горы, и их голые отвесные бока были резко обнажены. С другой стороны стлался, насколько глаз охватит, низкий луговой берег. Однообразно и холодно раскинулась его освещенная луной равнина, с переливами света и тени, как заунывная музыка с легкими и монотонными вариациями. То блестела она и искрилась бледными огнями, то разрезывалась по перекату прозрачно желтой тенью. Местами, когда подходила дорога к ее некрутому берегу, тощий, обнаженный кустарник торчал наклонно своими голыми, худыми, будто иззябшими прутьями. Местами, когда дорога переваливалась к крутояру, на нем, по изгибу гор, мрачно и хмуро высился сосновый лес. Но его свинцово-темная зелень, будто посинелая от стужи, была еще холоднее, еще суровее среди зимнего ландшафта, нежели голые сучья кустов.

Взглянул Иванов на эту холодно-ясную, обнаженную от всех поэтически прекрасных вешних убранств природу, и что-то родственное душе его увидел он в ней. И он также принял жизнь, как она есть, не с одними ее душистыми цветами и яркой зеленью, – и он принял ее такую, как эта безыскусственная обнаженная природа, и любо стало ему смотреть в глаза этому созвучному с его мыслями, унылому виду. И нашел он в нем какое-то суровое наслаждение. Казалось, силы его росли и крепились наперекор морозу, и слышал он, что горячая кровь играет в груди его. Стряхнул Иванов тяжелые думы, крикнул ямщику: «Пошел!» – и, надвинув меховую шапку, помчался по гладкой дороге.

И тут мы остановимся и простимся, читатель, с нашими действующими лицами, которыми я, может быть, слишком долго утомлял твое внимание. Простимся и с Тамариным, одиноко сидящим со своей дорого купленной хандрой, и с новым знакомцем Ивановым, который выбрал трудный путь, и с Федором Федорычем, который не трудился выбирать себе никакого пути. Прости и ты, моя хорошень-

кая Марион, которую я оставил задумавшейся на распутье двух дорог, – и вы все, разнохарактерные, полуочерченные лица, которые мельком являлись и проходили по нашей сцене...

Но, как отъезжающий, который, навсегда покидая знакомый ему город, в последние уже оборачивается к нему, и в то время, когда он уже тонет вдали, старается еще раз взглянуть на один близкий, родной ему дом, еще раз посмотреть, не увидит ли он кого у знакомого ему окна, – так я еще раз возвращаюсь на минуту, чтобы в последние взглянуть на Вареньку.

Проводив Иванова до прихожей, Володя поспешно отправился в кабинет, переоделся и вошел к жене проститься. Он нашел ее бледной, задумчиво сидящей, пригорюнившись у стола.

– Ну, вот ты какая, Варенька! – сказал он. – Вот уж ты и опечалилась. Эдакая ты привязчивая! Чуть поближе с кем познакомилась, уж и любишь как родного. Ну, что тебе Иванов? Конечно, он хороший человек, да не родня какая-нибудь. Ну, полно, дурочка моя! –

сказал он, нежно взяв ее двумя пальцами за подбородок и потормошив за него. – Ну, полно, – сказал он, – не грусти, я сегодня пораньше из клуба вернусь.

Затем он ее поцеловал – на счастье – и вышел.

Когда Варенька осталась одна, она осмотрелась и почувствовала какую-то страшную мертвящую пустоту.

Страшно стало бедной Вареньке! Не грустно, а как-то безотрадно, болезненно заняло ее сердце; какой-то неопределенно мертвящий страх сошел на него и наложил свою холодную руку.

Ею овладело какое-то беспокойство; боязно ей стало оставаться одной в этой комнате, где она так часто сидела в длинный зимний вечер, поджидая Иванова. Бледная встала Варенька и спешила выйти; точно тут была какая-то грозящая, неотвязно стоявшая перед нею мысль, от которой она хотела спастись, убежать. И она поспешно отворила дверь и вошла в смежную комнату. Это была ее спальня. Темные зеленые обои при слабом освещении придавали ей какой-то унылый

вид. Левая сторона комнаты вся тонула в полумраке, и только неясно и живописно оттенялись в нем тяжелые штофные занавеси. Но направо, в углу, светился огонь. Перед широким резным киотом горела лампада. Его мерцающий и вздрагивающий свет, отражая на потолке три будтодвигающиеся тени цепочек, скупоразливался и терялся в комнате, но ярко горел на золотых окладах, из которых таинственно смотрели святые лики. А кругом была тишина, тишина.

И было что-то величественно-спокойное и вместе скромное в этом слабо освещенном уголке, тихо и одиноко стоявшем, с его вечно мерцающей серебряной лампадкой. Было в нем что-то неодолимо влекущее и успокаивающее, нежданное, точно светлая мысль надежды, которая вдруг вспыхнет в голове, загроможденной грустными и черными думами. И взглянув на этот уголок, Варенька бросилась к нему, как странник бросается к родному берегу, как утопающий к добродушно и сострадательно протянутой к нему руке. Она пала ниц перед киотом и горько, горько заплакала.

Это была ее молитва, – самая искренняя, самая горячая, самая доступная небесам молитва... В этой молитве не было ни слов, ни просьб, ни желаний, ни мыслей. Она только плакала, она будто хотела только выплакать в слезах всю свою душу и положить ее, так как она есть, на суд Творца, к Его подножию. И долго, недвижимая, лежала Варенька; только плечи ее вздрагивали от глухих рыданий, только густые темно-русые волосы ее скатились с головы и волной вокруг лица упали на пол. Мало помалу рыдания ее становились тише и тише. Безмолвие, ими нарушенное, нисходило и нисходило. И наконец все смолкло, и стала опять святая недвижимая тишина во всем своем таинственном величии. Как будто необходима была она, чтобы молитва, ничем не сдержанная, могла свободно возноситься. И молитва Вареньки неслась выше и выше, и донеслась она до далеких небес...

Вдруг послышался шорох, и над ухом Вареньки заговорил неясный детский голос.

– Мама, мама, перекрести нас, – сказал кто-то.

Варенька очнулась, встала и горячо при-

жала к взволнованной и еще высоко вздымающейся груди курчавые, полусонные головки двух детей своих.